

# КОСТРОМЛ

ПРОЗА и ПОЭЗИЯ  
ЛИТЕРАТУРОВЕДЕНИЕ  
САТИРА и ЮМОР



Писательская организация, 1999 г.



Автопортрет из Ушаковского альбома, 1829 г.

Я подпишаю сим объявляю  
что я никакой масонской ложи а  
ни в тайному оном обществу и  
внутри Империи, ни в ее не принадлежу и  
принадлежу и обществам других  
ников и группировок и никаких  
других обществ и оных не  
имею

*Пушкин подписал это письмо*

Я, нижеподписавшийся, сим объявляю, что ни к  
какой масонской ложе и никакому тайному обществу  
ни внутри Империи, ни вне ее не принадлежу и  
обязываюсь впредь оным не принадлежать и никаких  
сношений с ними не иметь.

Титулярный советник Пушкин





Пейзажи и натюрморты в оформлении издания —  
по графическим композициям художника Александра Мариева.  
Портрет А.С.Пушкина — репродукция с акварели П.Соколова

На титуле использован орнамент  
из альманаха «Северные цветы» на 1832 год.

---

## Литературно-художественное издание

**Редакционная коллегия:** М.Ф.Базанков, А.В.Беляев,  
Б.И.Бочкарев, О.Н.Гуссаковская, Е.А.Разумов, Н.В.Снегова.  
**В.И.Шапошников**

Составитель, автор предисловия, ответственный  
и художественный редактор — М.Ф.Базанков

© Писательская организация



## ТАЙНА ПРОСТОГО ЗВУЧАНИЯ

... и все-таки однажды незамутненный человек вышагивает из толпы, чтобы возвратиться к Пушкину через пространство пустого слова. Он вспоминает сердцем неутраченную первую любовь и обретает живое расположение души ко всему родному. «Бессмертен тот, чья муга до конца добру и красоте не изменяла...»

Поэт по лире вдохновенной  
Рукой рассеянной бряцал.  
Он пел — а хладный и надменный  
Кругом народ непосвященный  
Ему бессмысленно внимал...

Посреди светской суматошной жизни являлось к нему вдохновение такого высокого свойства, что стало оно пророческим и чрезвычайным явлением русского духа. Ни один из самых известных мировых классиков не занимает такого места в духовной жизни своего народа, как этот гений, говорящий с толпой и чиновной чернью. Он говорит со всеми о многих и о себе. Главный пафос поэзии Александра Сергеевича Пушкина, его литературного наследия и жизненной судьбы — образец мужественного непокорства обстоятельствам и утверждения гражданского достоинства творческой личности. Многие, возвращаясь к его нерукотворному памятнику, чувствуют и осознают особую дистанцию: когда мы идем в его мир как читатели, нам легко и свободно, не возникает причин страшиться и робеть в близости гения, но как только начинаем что-то говорить о нем в неизбежном стремлении к пониманию, расстояние между ним и читателем резко возрастает.

Не чувствуя себя в праве легко и свободно говорить о первом из всех корифеев литературы, осознаю себя лишь читателем, которому легко дышится в мире поэзии на все времена, в пространстве исторической прозы, литературных статей, эпистолярного наследия. Пушкин сам себя признавал «поэтом действительности». Но он же и драматург, романист, критик и теоретик литературы, вдумчивый историк. В «Письме к издателю» (1836 г.) Александр Сергеевич повторял свою мысль: поэзия не всегда ли есть наслаждение малого числа избранных, между тем как повести и романы читаются всеми и везде. Он же обращал внимание на существенную черту романа — на всестороннее изображение жизни и характера человека в противоречиях его внутреннего мира, в связях с конкретной исторической средой. И настойчиво боролся против пренебрежительного отношения к «презренной прозе». Едва прикасаясь к этому наставительному наследию, повторю сказанное другими: Пушкин навсегда останется великим учителем искусства слова. «Верность ума, чувства, точность выражения, вкус, ясность и стройность...» считал гениальный учитель признаком истинно художественного произведения. В нем не должно быть «ничего запутанного, темного... лишнего, неестественного в описаниях, напряженного в чувствах... Что касается до слога, то чем он проще, тем он будет лучше. Главное: истина, искренность». Л.Н.Толстой в связи с этим говорил: «Чем ярче вдохновение, тем больше должно быть кропотливой работы для его исполнения. Мы читаем у Пушкина стихи такие гладкие, такие простые, и нам кажется, что у него так и вылилось это в такую форму. А нам не видно, сколько он употребил труда для того, чтобы вышло так просто и гладко» (взглядите на черновики Пушкина. — М.Б.). По отзыву Вяземского, в Пушкине «глубоко таилась охранительная и спасительная нравственная сила». Выражалась она и в уважении «постоянного труда, без коего нет истинно великого». Пушкин в наше время еще значительнее во всех отношениях, мудрее того, каким знали его предшественники в прошлом веке. Нынче он предстает в беспримерном объеме своего национального и мирового значения. Отдадим дань благодарной памяти и почтения Александру Сергеевичу предлагаемым изданием альманаха «Кострома», в котором представлены сочинения скромных последователей, в меру сил работающих на поле российской словесности. Погибший в самом расцвете жизненных и творческих сил, он навсегда остается мудрейшим для всех — даже для корифеев заложенной им великой литературы. В истории этой литературы многое начинается с Пушкина. Он первый возвел ее в достоинство национального дела, между тем как прежде она была, по удачному заглавию одного из старинных журналов, «приятным и полезным препровождением времени для тесного круга дилетантов». Он раньше и глубже всех своих современников понял огромную роль литературы в выражении русской общественной мысли, считал ее фактором духовного развития нации, просвещения и настойчиво защищал идею национальной самобытности, народности. Сказанное лишь легким прикосновением к урокам Пушкина наводит на печальную мысль о том, сколько неестественного и лукавого творится ныне в нашей словесности. Нельзя не тревожиться об этом, понимая, с какой целью рассеивается неестественность, безнравственность, смакование человеческих пороков, с какой целью подогревается различными премиями все чуждое национальным основам духовности и культуры.

\* \* \*

Пушкинский год. Двести лет со дня рождения Александра Сергеевича на исходе двадцатого века. Россия на этом исходе уже другая, не соизмеримая с пушкинской эпохой не только государственным устройством, мировым положением, но и духовно, нравственно. Другая она и по самочувствию коренного населения, по состоянию жизненного пространства. С каждым годом появляется все больше желающих давать рецепты обустройства, вхождения в цивилизованный мир, будто бы Отечество не имело своего вечного пути. Сейчас много сделано силами внешними и чуждыми России для того, чтобы мы реже и реже возвращались к духовному богатству национальных гениев, небрежно и хамовато «прогуливались с Пушкиным», забывали свои дороги к его родникам простоты, благородства, свободы, ума, меры и вкуса, чтобы застала народная тропа бурьянами лжи, притворства, суеты и наживы, «пиров во время чумы».

В течение двадцатого века столько было суховеев, ураганов и бурь, столько было изобретено способов издевательства над человеческой сущностью, способов отторжения народа от национальной самобытности, культуры, языка — все делалось для того, чтобы мы оказались без фундамента морали, духовности. Например, радио «Свобода», представляющее отнюдь не наши интересы, 3 декабря 1989 года заявило, что надо «изменить духовный строй русского человека, приблизить его к западному складу сознания», необходимо его «выбить из традиции». Усилия и «местных доброжелателей этой страны» тоже направлены на разрушение души, на отрыв от нравственных ориентиров, от исторической памяти, от чувства уверенности, самоуважения, достоинства.

Неужели кому-то еще не видны приемы широкомасштабной агрессии против государственных, духовных, культурных основ России? Неужели не понятно, к чему ведет опустошение русской деревни — хранительницы национальных истоков морали и культуры? А ломка высшей школы, а обездоливание учителей и учеников?

Другой стала нынче Россия, Александр Сергеевич. Клеветникам ее следовало бы адресовать новые стихи по мотивам написанных 16 августа 1831 года (поворотов — речей в палатах депутатов типа Лайфиста, Могена и других — нынче предостаточно). О чем они шумят? Зачем анафемой грозят России? Скажите им опять:

...Бессмысленно прельщает вас  
Борьбы отчаянной отвага —  
И ненавидите вы нас...  
За что ж? ответствуйте: за то ли,  
Что на развалинах пылающей Москвы  
Мы не признали наглой воли  
Того, под кем дрожали вы?  
За то ль, что в бездну повалили  
Мы тяготеющий над царствами кумир  
И нашей кровью искупили  
Европы вольность, честь и мир?..

Другие времена, но и другие аппетиты к нашим просторам проявились. Разные доброжелатели проблему взаимоотношений славянских народов по своим рецептам разрешать устремлены. Идеолог космополитического направления Бжезинский, предсказывая, что

Россия «будет раздробленной и под опекой», заявил: «После разрушения коммунизма единственным врагом Америки осталось русское православие». А социологи на основе исследований делают вывод, что за 70 лет советской власти в Москве была взращена уникальная левая, модернистская субкультура, антихристианская по сущности и по своей политической направленности. И она взяла верх, и нет сейчас реальной силы, которая могла бы ей противостоять. (А.Ципко, «ЛР» , №42 от 16.10.98 г.)

Под давлением обстоятельств нашего времени невольно вспоминаются слова одного из героев романа Ф.Достоевского «Идиот»: «...либерал дошел до того, что отрицает самую Россию, то есть ненавидит и бьет свою мать....он ненавидит народные обычай, русскую историю, все... свою ненависть к России принимает за самый плодотворный либерализм». Не потому ли, словно освобождаясь от замороженности души и замороченности сознания, люди и даже новые деятели «от народа» все чаще говорят о надежде на то, что навязанная «moda» недолговечна, скоро станет противной, отвратительной, что внутренние, духовные, унаследованные из славянской древности качества в людях в какой-то момент восстанут. И в первую очередь это произойдет там, где еще не утрачены честь и совесть, чувство родного языка, о защите которого вдруг заговорили даже политики. Уже и Александр Солженицын, вернувшийся «помогать России», предсказывает, что американщина, какой напаивается сегодня наш язык, в конце концов склынет. Разве только в языковое общение вторгается чужестранное?

Разве не тревожили наше сознание современные поэты «Видениями на холме», не уговаривали: «Россия, Русь! Храни себя, храни! Смотри, опять в леса твои и долы Со всех сторон нагрянули они, Иных времен татары и монголы?» Разве не было трагических упреков-посланий, жестких приветов столице и с костромской нынешней стороны? «К себе меня ты не зови: Давно уж мы живем иначе — Я на слезах, ты на крови».

Трудно живем. Бедствуют люди. Но не утратили еще стыда и совести. Только ропщут, что власть взята теми, кто озабочен не судьбой нации, страны, не коренными интересами России, не развитием национальной литературы и культуры, не сбережением духовных и нравственных ориентиров, обычных человеческих прав, а совсем другим — приватизацией, повторяющимся обкрадыванием и обманыванием народа. А мы все еще говорим о том, что наши традиции впитали в себя черты православного сознания, выстроены по основным заповедям христианства. Такому сознанию характерно главное — духовных качеств над материальными благами, нравственных категорий над рациональными и политическими.

Трудно, не по своим устоям-рецептам живем, словно пляшем под чужую дудку, и терпеливо, даже равнодушно, остаемся в свидетелях детской поспешности к разрекламированным благам с чужого плеча. В таких ли условиях печалиться о судьбе родного языка, русской литературы? В таких ли условиях проводить творческие совещания, уроки словесности в школах?

Но язык сохраняет нацию. А подлинная русская литература, которая создается независимо от рыночной «благодати», сохраняется книгами при мизерных местных тиражах, сохраняется и в региональной разобщенности творческих работников по всей России.

Интеллектуальное богатство провинции — российской периферии — не востребовано государством, словно нет нужды в народных духовных ценностях. И кажется, нет единого культурного пространства, если нет единой культурной политики, нет анализа вышедших книг, хотя бесконечны столичные тусовки «эстрадников»-сатириков, юмористов, выдающих себя за великих писателей нашего времени, оттесняющих на задворки истории, с корабля современности самого Александра Сергеевича Пушкина. Раньше говорилось: современники не угадывают гениев. А в реформенной стране развелось гениальностей — не пересчитать, не упомянуть, если судить по всяческим премиям, учреждаемым с Запада и здесь, в столичных «фондах дележа».

Власть и культура в пору насильного втаскивания в рынок говорят на разных языках. Лукавые лозунги-успокоения «прежде надо накормить народ, а потом думать о духовном» ведут действительность к торгашескому бескультурью и жестокости. Вспомним, классическая литература помогала преодолевать некрасивость жизни. Известные писатели всего мира утверждают: самым ценным достоянием любой страны являются ее литературные идеалы. В русском восприятии литература, искусство — не игра, придуманная для поспешных забав, не развлечение и болтовня, не услаждение власти и капитали имущих. Не являются они украшением жизни особо избранных. Вслушиваясь в литературный текст, читая, созерцая произведение, русский ждет, что откроется ему нечто важное, может быть, самое важное о сущности жизни и мира, о глубинах сердца, о законах личного и общественного бытия и даст душевную опору для веры и надежды. Не потому ли в поспешных заботах о скором переустройстве определенные силы в первую очередь ополчились на русскую литературу, заглушили ее экранной трескотней о вхождении в свободный от морали и нравственности, цивилизованный мир, о вхождении туда без собственного лица, характера, мнения, чувства, языка, без памяти, родины, любви «к родному пепелищу... к отеческим гробам»?

Культуру ориентирует книга, с нее она начинается. Но книга должна быть правдивой. («Одна неправда нам в убыток...») Пестрых и бессовестно-развлекательных книг за короткий срок прихлынуло до самых дальних поселений несколько обвалов. Всю Россию захлестнули издания грязной эстетики. Нашли на наших городских просторах рынок сбыта халтуры последователи таковой — изощренной в пошлости, жестокости, пакостях. Признаком современного стиля вдруг стала матерная, жаргонная, сленговая, хулительная лексика. Героями оказались наркоманы, бомжи, сутенеры, злые торговки телом да полудурки. Сочинения хулительной лексики, живописующие сугубую телесность, звериное искривление человеческой породы, заполонили не только самые дальние районы, но и неуставшееся юношеское сознание, травмировали в союзе с телекраном детскую психику...

В такое время живем. Власть сначала занималась самообеспечением, укреплением в креслах, а теперь готовится к новым выборам, увлечена дележом и разборками — никак не спохватится, что есть общественные достоинства, преобладают у людей другие интересы, есть и другие формы бытия, что нельзя во всем отдаваться чужестранным пророкам и бесам, оседлавшим Россию.

Наша провинциальная действительность повседневно убеждает, что люди не отчаялись, не растеряли способностей созидания и

по-прежнему испытывают радость творчества. Она выше богатств «новых русских», делающих свои барышни сомнительными коммерческими операциями и на ущемлении добросовестных трудов... Надеюсь, многие это начинают понимать, чувствовать и осознавать. Сегодня очевидно возвращение к истокам, к национальным традициям и святыням. Нет, не заастают народные тропы... И к Пушкину тропа никогда не заастет. Мы возвращаемся к нему не только в юбилейный Пушкинский год. Возвращаемся с повинной, осознавая заполненность поля российской словесности сорняками и суррогатами, понимая, что у широко распространенной литературы для чтива в перестроичном времени нет ничего общего с Пушкиным. По словам И.Бунина, можно ли представить себе что-нибудь более противоположное, чем она, такая литература, — и Пушкин. Но ведь вот созданы рыночные условия только для таких книг, создана аморальная атмосфера востребованности «товара».

\* \* \*

Идем к Вам на поклон, Александр Сергеевич! В меру сил и способностей каждодневно противостоям разрушительной пошлости, оберегаем русский язык, стараемся в долженствовании «повиноваться принятым обычаям в словесности своего народа», которая всегда имеет «особенную физиономию». И освежаем свое восприятие, свои мысли и чувства незабвенным наследием. Вспоминаем и думаем «о Пушкине и о былой пушкинской эпохе, России, и о себе, о своем прошлом», о своих малых реках и застраивающих полях, о тех деревнях, которых уж нет... Как же не вспоминать своего, родного, сокровенного? Как же не дорожить всем тем, что слышано, видано, воспринято с младенчества и не выветривается никогда. «У лукоморья дуб зеленый; Златая цепь на дубе том...», «Цветок засохший, безуханный, Забытый в книге вижу я...», «Мороз и солнце; день чудесный!..» Всего не повторить в один час, в один день, в один год.

Поэзия Пушкина, как все гениальные творения, оказалась выше практических забот начала девятнадцатого века, в последующие времена решает возрастающие нравственно-этические задачи, волнуя и воспитывая, увлекая и облагораживая другие поколения. Гений с нами всегда лишь той частью своей поэзии, своих созданий, которую нам удается постигнуть, возрастая духовно и нравственно при каждом прочтении-общении, если мы оказались подготовленными открывать новое мыслями и чувствами.

В состоянии откровенности и жажды духа мы остро нуждаемся в уроках чести, совести, достоинства. Нам всегда нужен человек с веселым именем — Пушкин, остающийся вечно живым, приходящий к нам «во дни сомнений... тягостных раздумий» из пространства другого измерения. Мы знаем в содрогании: после выстрела за Комендантской дачей 27 января 1837 года Пушкин, оставшись с Шольцем, спросил: «Что вы думаете о моей ране; я чувствовал при выстреле сильный удар в бок, и горячо стрельнуло в поясницу. Дорогоюшло много крови. Скажите откровенно, как вы находите рану?» — «Не могу вам скрыть, она опасна». — «Скажите мне, смертельная?» — «Считаю долгом не скрывать и того. Но услышим мнение Арендта и

Саломона, за коими послано». — «Благодарю вас, вы поступили по отношению ко мне как честный человек», — сказал Пушкин... Он немного погодя спросил: «Разве вы думаете, что я часу не проживу?» — «О нет!» — возразил Шольц.

... За несколько часов до смерти, испытывая невыносимые страдания, Александр Сергеевич спросил, кто находится в его доме.

— Много людей принимает в тебе участие, — сказал ему друг доктор Даль, — зала и передняя полны.

— Ну спасибо, — отвечал Пушкин. — Мне было бы приятно видеть их всех, — добавил он, обращаясь к своему секунданту Данзасу, — но у меня нет силы говорить с ними.

Дом, где умирал Пушкин, атаковала публика, и друзьям пришлось обращаться в Преображенский полк с просьбой поставить у ворот часовых, чтобы соблюдать хоть какой-нибудь порядок.

Когда Александр Сергеевич скончался, на два дня квартира стала «мавзолеем»: двадцать тысяч человек в глубокой скорби прошло за день. Один из безвестных, но искренне скорбящих почитателей, кому-то отвечая, сказал:

— Пушкин меня не знал, и я его не видел никогда, но мне грустно за славу России.

Скорбное шествие народа, людей разных сословий, это проявление горя и гнева, по свидетельству очевидца, казались странными не только царским агентам, но даже иностранным послам.

А потом, позднее... Гроб с телом поэта вывозят тайно ночью, тайно отправляют из Петербурга в Михайловское в сопровождении жандарма. Одному из ближайших друзей императора — графу Орлову — незнакомец вручил анонимное письмо. В нем было сказано, что никакое самое строгое наказание Дантеса «не может удовлетворить русских за умыщенное, обдуманное убийство Пушкина». Незвестный автор указывал на угрожающее политическое положение в стране, на «открытое покровительство и предпочтение иностранцам, которое день ото дня делается нестерпимее. Мы горько поплашимся за оскорбление народное и вскоре».

Когда стало известно, что Пушкин скончался, Лермонтова видели у гроба: сохранились свидетельства современников. Возвратившись домой, он пишет элегию — «Смерть поэта». Покровители Дантеса не унимались. Тогда Лермонтов добавил к стихотворению еще строфу. В ней сказано: гения убили палачи свободы и славы. Элегия, написанная на смерть поэта, один из самых значительных памятников. И сам Пушкин воздвиг памятник нерукотворный — с гениальным предвидением сказал на века:

И славен буду я, доколь в подлунном мире  
Жив будет хоть один пинт.

Эти строки и взяты эпиграфом к изданию антологии костромской поэзии, посвященной 200-летию со дня рождения А.С.Пушкина.

...Своими заметками с тревогами и печалями нашего времени вполне закономерно в юбилейный год обращаюсь к фактам последних часов перед смертью гениального поэта, к тому политическому положению в стране первой половины девятнадцатого века, которое было характерно откровенным покровительством и предпочтением иностранцам. Может быть, через сто пятьдесят лет еще раз наступило время горькой расплаты за оскорбление предков, за допущенное

умышленное и обдуманное убийство национального гения? Не придет ли к нашим потомкам расплата за все, что нынче происходит в Отечестве при гипнотическом малодушии и молчании многих?

О том, как сейчас плохо в нашей стране, знает весь мир, нам сочувствуют и в самых слаборазвитых государствах. При таких просторах и богатствах стойкий, мужественный, талантливый, работающий, мудрый и вдохновенный народ унижен откровенным геноцидом, бедностью, долгами перед западными «кредиторами». В такие ли времена говорить о литературных идеалах по заветам Пушкина? А молчать и не тревожиться открыто — разве возможно? Нет, не ради собственной корысти обращаются люди к правде, не ради того, чтобы выставить напоказ свою нищету и свои лишения. История учит: правдивое слово в определенных обстоятельствах — подвиг. А разве повседневная жизнь при таком разоре, обмане, унижении не учит нас быть правдивыми, честными перед собой и своими детьми? Разве работа на энтузиазме, без вовремя выдаваемой зарплаты, разве обманно растущие цены, откровенное и скрытое обворовывание не унижают нас? И молчать, не прозванивать чиновничьи этажи?

Скажите, поступайте откровенно по отношению к себе и к другим в самый трудный час — и этому учит Пушкин. И вся подлинно русская литература замещена, выстроена главным ориентиром борьбы за униженных и оскорбленных: нравственность — есть правда. Известно, Александр Сергеевич не собирался отдавать свою душу на заклание даже на смертном одре. Он помнил встречу с императором в сентябре 1826 года. Срочно истребованный из ссылки на секретную аудиенцию в Кремлевские палаты получил «отпущение грехов», после чего монарх сказал своим приближенным: «Теперь он мой». И хотя поэт признавал частичный относительный успех противника — в многолетней тяжбе приходилось отступать с унизительными уловками, отдавать часть человека, поспешно облаченного в шутовской кафтан камер-юнкера, основная территория высокой личности, самая сокровенная, оказалась недоступной. «Нет, весь я не умру...» На второй день после дуэли, свидетельствует Жуковский, — требовался ответ на ночную записку императора, пославшего прощение («Если Бог не приведет нам свидеться в здешнем свете...») и совет умереть христианином, заверение позаботиться о жене и детях. Пушкин отвечал: «Скажи ему, что мне жаль умереть; был бы весь его...» Никто не вправе считать свободный дух творца своим. И потому правда, зафиксированная в творении, не может быть порабощенной, услужливой в угоду какому-либо режиму.

\* \* \*

Другие времена, другие нравы. А к великим сокровищам Пушкина тропа не загорожена еще. Обращаемся к ним потому, что через Пушкина, по словам А.Н.Островского, умнеет все, что может поумнеть. Поэт ведет незамутненную публику в незнакомую страну изящного, где «возвышается душа, улучшаются помыслы, утончаются чувства, каждому хочется возвыщенно мыслить». Но художественные и нравственные истины предлагаются для умственного роста и постигаются по мере сил каждого. «Пушкинским восхищались и умнеали, восхищаются и умнеют, — утверждает наш Островский. — Он завещал им (последователям. — М.Б.) искренность, самобытность, он

завещал каждому быть самим собой, он дал всякой оригинальности смелость, дал смелость русскому писателю быть русским. Ведь это только легко сказать! Ведь это значит, что он, Пушкин, раскрыл русскую душу...»

Кроме таких главных, есть у нас и дополнительные основания ходить на поклоны к Александру Сергеевичу, они земляческого свойства — по судьбам наших земляков: Павла Катенина, Анны Готовцевой, Павла Свинынина, Натальи Фонвизиной из рода Апухтиных, смело провозгласившей себя прообразом Татьяны Лариной, по судьбам Сергея Максимова, Алексея Писемского, Николая Некрасова, по судьбам известных критиков, литературоведов...

Скромными трудами своими, принадлежностью к русским писателям во дни народных бед полезно сознавать себя одним из тех, кому завещана искренность и смелость быть самим собой, в этом смысле костромские писатели имеют право называться последователями, потому что верны традициям русской классической литературы.

Талантливые прозаики и поэты, не получая гонораров за свои сочинения, живут в нищенском родстве с учителями, учеными, врачами, деревенскими работниками, а при этом не имеют возможности бастовать — кого волнует, если писатель не станет писать? Но есть другое родство-братьство с людьми костромского края, всех униженных людей России, — патриотическое, духовное, нравственное, родство в честном преодолении обстоятельств нашего времени. Одно волнует все больше: не слишком ли мы терпеливы, не слишком ли часто виним себя и народ во всех трагедиях века?

Но и снимать с себя ответственность за все случившееся нельзя. Искренностью, честной позицией, исторической правдой можно выверить поступки каждого. Человек познается по делам его, творец наиболее очевиден в своих сочинениях, если он умеет самобытно и правдиво говорить общезвестное. Невозможно уклониться, начиняя свое дело, обретая собственное слово и свой слог, невозможно не вспоминать о том, что «искусство, завоевавшее творениями Пушкина право гражданства, несомненность своего существования, язык, им созданный, — стало служить другим началам, столь же необходимым в общественном устройении» (по И.С.Тургеневу).

И в трагическом времени невозможно обойти вниманием радостный факт возвращения к поэзии Пушкина, возвращения к поэзии вообще, к чтению и публикации стихов. «И как о Шекспире было сказано, что всякий, вновь выучившийся грамоте, неизбежно становится его новым чтецом — так и мы будем надеяться, что всякий наш потомок, с любовью остановившийся перед изваянием Пушкина и понимающий значение этой любви, тем самым доказает, что он, подобно Пушкину, стал более русским и более образованным, более свободным человеком!» (Из речи И.С.Тургенева по поводу открытия памятника А.С.Пушкину в Москве 7 июня 1880 года.) К таким речам великих последователей Пушкина прислушается еще не одно поколение. Тогда Тургенев, заканчивая речь, призывал надеяться, «что в недальнем времени даже сыновьям нашего простого народа, который теперь не читает нашего поэта, станет понятно, что значит это имя: Пушкин!» Это вспоминаем мы для того, чтобы каждый имеющий душевную причастность к русской литературе — сочинитель, читатель или педагог

— ощущал более отчетливо богатство, силу, логику и красоту родного языка, освободительную, возвышающую, нравственную силу Поэзии.

Вопреки обстоятельствам «за роем рой» являются поэты на широких просторах России. «Каким-то чудом еще жива костромская литература, — написал в столичном издании побывавший в Костроме в составе группы литераторов, приехавший из-за границы Г.Клеченов. — Вопреки отчаянию светло и сильно звучат голоса костромских писателей». Далее в публикации говорится о том, что рождаются замечательные, жизнеутверждающие стихи, когда повсюду бедствуют эти загадочные русские, когда вроде бы «не до стихов». А стихи все-таки рождаются в возрастающем качестве, словно их авторы и не придавлены свалившимися бедами, словно живут в ином, благополучном мире. «Так ведь нет. Костромским писателям сейчас очень трудно, — продолжает удивленный гость. — И каждая изданная книжка, газетная публикация — подвиг... Им невыносимо, до отчаяния трудно, но они не сломлены. В только что вышедшей из печати (еще один подвиг костромских литераторов) «Антологии костромской поэзии» помещена удивительная, словно выросшая из костромской земли и впитавшая в себя все ее беды и скорби поэма отца Вячеслава Шапошникова «Изба над Унжей»...”

Каждый поэт и каждый прозаик в меру сил и таланта, творческого потенциала и постигаемого мастерства ведет на поле российской словесности свою самобытную борозду. И вот иногда, что-то сделавший для возрождения костромских изданий, с надеждой думаю: однажды кто-нибудь из лучших поэтов костромской земли будет удостоен российской Пушкинской премии. Есть на примете такие. Запечатлеть, «застопорить» их своевременно изданием хотя бы тоненьких книг — организаторский долг и, по велению судьбы, — мое второе призвание. Что-то уже получилось, смог сделать: вот эта «Антология», два выпуска возрожденного альманаха «Кострома», и задуманный третий, посвященный юбилею Пушкина, складывается. Готовим издание «Антологии костромского рассказа», сборника лирики, книги для детей...

Для второго приезда в Галич через четыре года наш издательский багаж стал значительнее, содержательнее. В труднейших условиях удалось осуществить общими усилиями более сорока изданий. Удалось сформировать в области издательскую «атмосферу», в районах начали книги печатать. Появились местные коллективные сборники с представлением новых имен, авторские книги, — есть что обсуждать, анализировать. Поэзия богата, разнообразна: от пробы пера до значительных произведений. И проза не осталась в забвении, есть капитально изданные романы, сборники повестей, рассказов. С гордостью относим к нашему багажу третье издание учебника «Русская литература», написанного Ю.Лебедевым, и составленную им же ждущую выхода в свет «Хрестоматию костромской литературы».

Важно учитывать, что все мы работой своей оберегаем родную речь, — особенность писательской позиции в понимании необходимости охранительных поступков в случаях оскорблении русского языка.

Теперь многие почувствовали и даже осознали: живем в период пренебрежения к народной речи, к родному слову. Писатели, филологи, любители литературы, еще не утраченные читатели сожалеют о том, что в наше время нет нового Пушкина. Вот и Николай Скатов,

давно известный костромичам ученый, ныне директор Института русской литературы — Пушкинского дома, отдавая дань охранительному гению Александра Сергеевича, в недавней статье напомнил: великий поэт оскорблению русскому языку принимал за оскорбление, лично ему принесенное. Это была высшая защита родного слова. В рассуждениях о языке как основе духовности и культуры, ученый призывал всех представителей высшего проявления духа (вспомним, Лев Толстой считал литературу высшим проявлением духа) проникнуться заботой о языке, чувством личной оскорблённости и совершать охранительные поступки. Родное слово выражает исторические глубины народного сознания, и потому у костромских писателей сохраняется почтение к нему. Работая над антологиями костромской прозы и поэзии, убеждаюсь, что наши литераторы немало сделали для сохранения культурной среды в провинции, той самой атмосферы, необходимой для нравственной жизни, по словам академика Д.С.Лихачева, для «духовной оседлости» человека, для его привязанности к родным местам, нравственной самодисциплины и социальности.

К числу многих представителей высшего заступничества за все родное относятся и участники Дней литературы, творческих семинаров — не только гости, но и хозяева. В этом мы тоже имеем родство.

Может быть, мы передадим друг другу восхищение художественным словом, значение, оттенок и красоту которого точно чувствовал Пушкин. Именно на таких литературных встречах мы вспоминаем, что Александр Сергеевич разрешил литературе всякие старомодности и всякие нововведения с одним условием, чтобы они были уместны и нужны, он как бы дал каждому писателю право иметь свой слог.

Из безвестия и вынужденного молчания, от творческого единения и бедствий стремимся к читателям, чтобы в добром общении обрести новые надежды и замыслы. Гостеприимный Галич радовал нас четыре года назад незабываемыми встречами. Начиная новый круг Дней литературы в области, чтобы юбилейные поклоны Пушкину были неформальными, поехали опять к галичанам для взаимного понимания. Встречи с жителями города и района, литературные беседы в школах и творческие вечера с интеллигенцией обозначали подлинную любовь к русской литературе, выражали незатухающее в народе желание постигать уроки великого творца, который есть явление русского духа чрезвычайное. Говоря о своих скромных трудах, робя перед величием, простотой и силой самого Пушкина, мы делились радостью редких удач, заботами и печалями, говорили правду о времени и о себе. Вновь приходила мысль, что не поздно еще возвращаться к художественному, духовному и нравственному богатству гения, чтобы возбудить свое чувство достоинства, национальную гордость, одухотворенность, любовь к ближнему, способность на лучшие жизнеустроительные помыслы и повседневные деяния. Каждый из нас в этих встречах обретал для творчества личное чувство свободы! Рождалось светлое стремление с достоинством участвовать в жизни. Она не меркнет. Мир не устает начинаться сначала при вдохновленном обращении читателей к Пушкину...

Михаил БАЗАНКОВ



## Костромским писателям — участникам Дней литературы



важаемые товарищи!

Дни литературы в Галиче, посвященные 200-летию А.С.Пушкина, стали настоящим праздником для всех, кто в них участвовал.

Ваши выступления запомнятся надолго. Побывав на творческих встречах с вами, мы еще раз убедились в том, насколько значимо и весомо слово писателя, какое глубокое воздействие оно имеет на людские души.

Мы горды тем, что костромская земля столь богата талантливыми людьми и что Галич в литературной жизни области занимает не последнее место.

Встречи с вами дают нам дополнительный заряд жизненной энергии и убеждают в том, что в провинции жив интерес к творческому общению, что люди не растеряли способности к созиданию. А это выше всех богатств «новых русских».

Мы благодарим вас за ваше высокое стремление возвратить нас к национальным традициям, духовности и святыням, за доставленную радость. Верим, что общими усилиями мы справимся с задачей нравственного возрождения Отечества.

Желаем вам дальнейших творческих успехов, новых произведений, светлых и радостных дней, вдохновения.

Глава самоуправления  
города Галича Н.Г.Зимина  
14 января 1999 года

## ПРИМЕТЫ

### Романс

Стихи А.Пушкина  
Музыка Л.Завариной

*Andante cantabile*

Я ехал к вам: живые сны за мной вились толпой и...  
Игривой, и месяц с правой стороны сопровождал мой бег ретивый.  
Я ехал...

Я ехал к вам: живые сны  
За мной вились толпой игривой,  
И месяц с правой стороны  
Сопровождал мой бег ретивый.

Я ехал прочь: иные сны...  
Душе влюбленной грустно было,  
И месяц с левой стороны  
Сопровождал меня уныло.

Мечтанью вечному в тиши  
Так предаемся мы, поэты;  
Так суеверные приметы  
Согласны с чувствами души.

Александр ПУШКИН

### ОТВЕТ КАТЕНИНУ

Напрасно, пламенный поэт,  
Свой чудный кубок мне подносишь  
И выпить за здоровье просишь:  
*Не пью, любезный мой сосед!*  
Товарищ милый, но лукавый,  
Твой кубок полон не вином,  
Но упоительной отравой:  
Он заманит меня потом  
Тебе во след опять за славой.  
Не так ли опытный гусар,  
Вербужа рекрута, подносит  
Ему веселый Вакха дар,  
Пока воинственный угар  
Его на месте не подкосит?  
Я сам служивый — мне домой  
Пора убраться на покой.  
Останься ты в строях Парнаса;  
Пред делом кубок наливай  
И лавр Корнеля или Тасса  
Один с похмелья пожинай.

### ОТВЕТ А. И. ГОТОВЦОВОЙ

И недоверчиво и жадно  
Смотрю я на твои цветы.  
Кто, строгий стоик, примет хладно  
Привет харит и красоты?  
Горжуся им — но и робею;  
Твой недосказанный упрек  
Я разгадать вполне не смею.  
Твой гнев ужели я навлек?  
О, сколько б мук себе готовил  
Красавиц ветреный зоил,  
Когда б предательски злословил  
Сей пол, которому служил!  
Любви безумством и волненьем  
Наказан был бы он; а ты  
Была всегда б опроверженъем  
Его печальной клеветы.





# ПРОЗА

Виталий Пашин  
Константин Абатуров  
Алексей Акишин  
Борис Гусев  
Михаил Базанков  
Олег Каликин  
Владимир Корнилов  
Ольга Гуссаковская  
Василий Травкин  
Александр Хлябинов  
Олег Хомяков  
Евстолия Прокофьева  
Борис Бочкарев  
Фаина Соломатова  
Владимир Старателев



Виталий ПАШИН

## ПАМЯТНИК



омню, как я, ученик четвертого класса, уже знавший наизусть немало стихов Пушкина, в том числе и его знаменитый «Я памятник себе воздвиг...», очень удивился, прочитав на постаменте опекушинского монумента такие слова:

... И долго буду тем народу я любезен,  
Что чувства добрые я лирой пробуждал...

«Как же так, — недоумевал я, — в хрестоматии написано по-другому: «И долго буду тем любезен я народу». Почему же на памятнике переставлены слова?.. И вообще, как может рифмоваться слово «любезен» с концом третьей строчки «что в мой жестокий век восславил я свободу»?

Правда, на постаменте этой строки не было: видимо, не уместилась. Но ведь в стихотворении-то она есть!

Своими мыслями я робко поделился с оказавшимся возле меня мужчиной весьма интеллигентного вида, тоже рассматривавшим монумент. Он хмыкнул, криво улыбнулся и процедил:

— А у нас не могут без опечаток...

Дома я рассказал отцу о своем открытии. Он выслушал меня и пожал плечами.

— Ну и что? Смысл-то от этого не изменился.

Я, конечно, согласился с отцом, но это не рассеяло моего недоумения. И потому на следующий день на первом же уроке я обратился с интересующим меня вопросом к нашей учительнице Анне Владиславовне. Мое любопытство она истолковала по-своему:

— Ты эти хитрости брось: меня ведь не проведешь. Не выучил за воскресенье урока — имей мужество честно признаться, и нечего тень на плетень наводить... А то, видите ли, его пушкинский памятник на уроке русского языка заинтересовал... Жить без него не может... А ну иди к доске и тетрадь с домашним заданием захвати.

К удивлению Анны Владиславовны, урок я ответил без запинки. И домашнее задание по письму оказалось выполненным. Это несколько обескуражило учительницу: значит, вопрос мой не был дешевой уловкой.

— Ну и где же ты отыскал исказенный стих Александра Сергеевича? — спросила она, прищурив глаза.

Я с готовностью повторил свой рассказ о вчерашней поездке на Пушкинскую площадь и дважды для убедительности прочитировал выбитую на граните пьедестала надпись.

— А ты не запамятовал? — снисходительно улынулась учительница.

— Да нет же, нет, — с обидой в голосе воскликнул я, видя, что Анна Владиславовна и сейчас не верит моим словам.

— Не знаю, не знаю, — закачала головой учительница. — Я что-то такой ошибки не замечала, хотя десятки раз проходила мимо памятника. Проверь себя еще раз.

Это пожелание нисколько не поколебало моей уверенности в своей правоте. Но тем не менее после занятий я снова поехал на Пушкинскую площадь. И, конечно, зря потерял время и сорок копеек, потраченные на трамвайные билеты. Времени-то не жалко, а вот деньги... Это же два мороженых!

Возвратившись домой в расстроенных чувствах, я сел и написал письмо в редакцию газеты «Вечерняя Москва». Так, мол, и так, все читают надпись на памятнике Пушкину и не замечают перестановки слов. А я, хоть и не круглый отличник, заметил. Конечно, ошибки грубой тут нет — это от невнимательности, но все же я советую сделать на памятнике исправление, чтобы в будущем была рифма «народу — свободу».

Прежде чем отправить письмо в редакцию, я дал прочитать его Але Сергеевой. Во-первых, мне хотелось, чтобы она исправила орфографию, с которой у меня вечно бывали нелады. А во-вторых, я надеялся, что сочиненное мною письмо в газету поднимет мой авторитет в глазах отличницы, к которой, прямо скажу, я был неравнодушен, а она ничем не отличала меня от других мальчишек нашего класса. И уж ежели быть до конца откровенным, то и письмо-то я написал в газету ради этого отличия. Я был уверен, что его напечатают: вопрос куда более серьезный, нежели многие из тех, которые я читал в разделе газеты «Спрашивай — отвечаем». Ах, как бы это было чудесно, если однажды Анна Владиславовна вошла бы в класс с «Вечеркой» в руках и сказала: «Ребята, послушайте, что газета отвечает вашему товарищу и какие меры принятые по его справедливому предложению...»

Письмо не напечатали ни завтра, ни послезавтра. Ни через неделю, ни через месяц, ни через полгода. Я уже и забыл о нем, как вдруг обстоятельства заставили меня вспомнить про письмо.

...Столетие со дня гибели Пушкина отмечала вся страна. 10 февраля 1937 года мы всем классом вместе с Анной Владиславовной приехали на Пушкинскую площадь, чтобы возложить к памятнику венок из самодельных бумажных цветов и еловой лапки.

Горловина Тверского бульвара на подступах к площади — в то время памятник стоял там — была запруженна народом. По узкому коридору, проложенному милицией сквозь толпу, к монументу шли делегации с венками. Нам повезло вклиниться в этот поток.

И вот мы у памятника. Нарочито громко с расстановкой я читаю выбитые на граните постамента стихи, но... не верю своим глазам.

И долго буду тем любезен я народу,  
Что чувства добрые я лирой пробуждал,  
Что в мой жестокий век восславил я свободу  
И милость к падшим призывал.

— Ну где же ты нашел перестановку слов? — спрашивает меня Анна Владиславовна.

Я хлопаю глазами и молчу.

— Да он все выдумал, чтобы выхвалиться, — презрительно говорит кто-то из девчонок.

Эта обидная реплика возвращает мне дар речи.

— И вовсе не выдумка, — горячо протестую, — честное пионерское!.. Я даже в газету об этом писал, спросите хоть у Сергеевой.

И тут меня осеняет догадка: это же мое письмо возымело действие. В редакции его прочитали и распорядились переделать надпись. Все просто и логично!.. Но сказать об этом вслух я не решаюсь: Серега Потапов или Буся Шенфельд обязательно поднимут меня на смех.

— Ребята, он правильно говорит, — слышу я голос Али Сергеевой. — Он писал письмо и сделал три ошибки, а я их исправила...

К нашей группе подсакивает мужчина с красной повязкой на рукаве.

— Вы что расшумелись? — сердито спрашивает он. — Тихо!

В отчаянии я обращаюсь к нему с последней надеждой на авторитетную защиту:

— Ведь правда, что здесь раньше было написано «И долго буду тем народу я любезен»... Я сам видел, а мне никто не верит!

Мужчине некогда: его волнует другое, поскольку на него возложена ответственная и почетная обязанность блюсти порядок во время возложения венков к памятнику. И он бросает мне скороговоркой:

— Было, было, а теперь, слава Богу, исправили... Тихо!

И убегает к другой группе, замешкавшейся у памятника со своим венком. Но этих отрывочных слов вполне достаточно, чтобы снять с меня подозрения в непорядочности и пристыдить

тех, кто дурно обо мне подумал. Только при чем тут «слава Богу». Это мне нужно сказать спасибо.

Вплоть до восьмого класса я был твердо убежден, что именно мое письмо сыграло роль в переделке надписи на памятнике. Но вот однажды Аля Сергеева дала мне толстый том «Литературного наследства» и сказала загадочно:

— Прочитай страницу, где закладка, — тебе это будет очень полезно.

Я открыл книгу... И книга открыла мне истину, нанеся со-крушилительный удар по моему мальчишескому самомнению. Не мне, не мне мир обязан тем, что сегодня на памятнике поэту люди читают подлинную пушкинскую строфу! А та злосчастная перестановка слов появилась вот каким образом. Поэт Василий Жуковский, разбирая после смерти Пушкина его бумаги, обнаружил беловик стихотворения, начинавшегося словами «Я памятник себе воздвиг нерукотворный...» Но предложить стихотворение для публикации в первозданном виде Жуковский не решился, справедливо полагая, что цензура посчитает его крамольным и непременно изымет из книги.

И Жуковский, ради того чтобы подарить читающей России еще одно произведение любимого поэта, переиначил четвертую строфи на свой манер:

И долго буду тем народу я любезен,  
Что чувства добрые я лирой пробуждал,  
Что прелестью живой стихов я был полезен  
И милость к падшим призывал.

Только в 1881 году широкому читателю стал известен первоначальный текст «Памятника». Но к этому времени монумент в Москве был уже открыт, и генерал-губернатор не позволил переделывать надпись, посчитав сию затею блажью либералов.

Каменная плита со старым текстом была заменена на новую в январе 1937 года, накануне столетия со дня смерти поэта. По решению Академии наук СССР!

А я-то, несмысленыш, что себе вообразил! Хорошо еще, хватило ума втайне от других держать свою глупую мыслишку. И на том судьбе спасибо.

## ПОСЛЕ СТОЛБУШКИ



ак всегда, все рождественские дни, все святки шумела, выплескивая через край хмельное веселье, мастеровая Шача. Хозяйчики приезжали на праздники с тугими кошельками, с ситцами и миткалями для жен, с шелковыми лентами для незамужних дочек.

К их приезду заранее готовились столы с пивом и самогона, с непременным разносолом. Из высокого с мезонином дома нэпмана Ратькова на всю Глазовку гремел граммофон. Как же было не веселиться добычливому люду! Что будет после праздника, когда отощает кошелек, а сейчас — гуляй! Не только хозяинчик, но и ты, его наемник. Позови еще своего благодетеля в гости, задобри, а то ведь он может отказать тебе в найме: желающих, бедствующих хватало.

Мой хозяин был поскромнее других, без особого размаха в делах. Работников не нанимал, брал только подростков в ученики. Этим не надо было платить: говори спасибо, что сам не берет за «науку». Да и как размахнуться, коль его «вотчину» в подгородчине теснили новые, более нахрапистые швецы.

Впрочем, он не обижался на это. Раз, мол, неблагодарный сынок отказался от портновства, то ему одному хватит и «подрезанного простора». Меня предупреждал:

— Смотри, ежели идешь ко мне с оглядкой, то лучше откажись. Всякое мастеровое дело любит постоянство, душевное рукорасположение, вот что.

Так он ценил свою работу, которой гордился.

— Ты только подумай, — хлопал он меня по плечу своей жесткой, шишковатой рукой, — на какой точке мы стоим. Вот я за свою жизнь сшил тысячи одежок. Это сколько же душ согрел, а? Нет, ты подумай, сообрази.

Свое «красноречие» он закончил довольно ощутимым толчком мне в грудь:

— Ладно! Догуливай святки да и в чужую сторону.

---

Ох, дядька Василий, бородатый гордец и доброхот! Неужели тебе невдомек, что на душе-то у меня другое. Я же спал и видел иную дорогу, ту самую, на которую ступил старший брат. Виделся мне город с большим светлым зданием учебного заведения, которое снилось мне волшебством. Вот наука-то где, Василий Иванович!

Убежать? Собраться сейчас, сию же минуту? Другие, смелые, настойчивые, убегали, а я что — трусливый слабак? Ну посмотрим!

Не знаю, сколько бы я промаялся в раздумьях, если бы не одна встреча. Встреча с заезжей девчонкой, которая хоть и была старше меня лет на шесть, но испытывала страх перед грозившей ей обидой. Но все по порядку.

Вечером, как раз после разговора с Василием Ивановичем, услышал стук в окошко.

— Айда в беседу, на вечерину. С верхнешачинской стороны едут. Будет столбушка.

— И что?

— Так интересно же.

Торопили дружки, те, кому через несколько дней тоже придется отправляться на чужбину. Шапку в охапку — и на улицу. Глазовку верхние никогда не пропускали. И не зря: найди-ка лучше наших девок! Про них кто ни говорит: красивые, ясноликие, кровь с молоком.

Ждать гостей долго не пришлось. Морозный ветер вскоре донес с дороги заливчатый звон колокольчиков, и вот уже на подъезде к просторной Арининой избе, где и собирались вечеринки, ударил бубен. В доме встречный, на высокой ноте, девичий запев. Пусть гости особо не задаются: посмотрим, кто кого переплюнет!

Пробираемся вперед в битком набитую народом избу. Длинноногий мой двоюродный братишка Панко и плечистый оковалок Колька Кузнецов занимают место на тумбе у затененного закутка столбушки. Мы, пацанята, становимся рядом с ними, «впередсмотрящими». Передняя половина избы, отведенная для хоровода, еще свободна. На скамейках, расставленных углом у передней и боковой стен, сидят в ожидании слегка поддумяненные, с заплетенными косами девицы. Нам видно все.

Вот открываются настежь двери, и, тесня собравшихся зрителей, с шумом входят гости. Впереди — гармонист, за ним — молодцы, по виду богатые, в суконных пальто на лисьем меху, в пыжиковых шапках работы известных на всю Россию молвитинских шапочников. Стучат прихваченные морозом каблуки бот, скрипят штиблеты.

На ходу, с форсом распахиваются шубы, полыхающие огнем мехов. Тетка Арина едва успевает принимать их и уносить за перегородку. Гармонисту освобождается место в красном углу. Парни, причесав чубы, потирают руки. Что-то будет!

И вот Леха-кудряш (мы уже знали этого могучего, сажень в плечах, парня), пригладив лацканы широкополого пиджака, ударяет в ладоши-лопаты.

— Кaa-дриль!

Потом, прежде чем гармонист нажал на лады, берет трубу и, с усилием надувая толстые щеки, выводит басистую ноту. И пошло! Четыре пары, притопывая, закружились в каком-то неуловимо-искрометном танце. Заливались голоса гармошки, трель бубна, буйное уханье трубы, гремел перепляс.

Не всем девицам, однако, выпадало счастье быть приглашенными на кадриль. Зато ни одна не осталась обойденной при исполнении бойкого «Чижика». Ведущий, идя по кругу, брал за руку партнершу, быстро обводил ее вокруг себя и тотчас протягивал руку второй, третьей, пока не замыкался круг. Никто не мог в этом танце соперничать с Лехой. Одного круга ему не хватало, начинал следующий. И так притопывал, что под его тяжестью скрипел пол и вздрагивала над головой лампа-молния.

Старался Леха до пота. Кончив, он вразвалочку, как победитель, прошел за перегородку. Отдышавшись, повернулся к залу, пробегая взглядом по кругу, где продолжался танец под девичьи припевки — гармонист отдохнул. Пели, переглядываясь, не без намека к приезжим:

В том краю у камешка запрягали карюшка,  
Запрягали темнокарего в зеленую дугу,  
Милый свататься поехал, я подумать погожу.

Тем временем Леха снова и снова водил сливовыми глазами по кругу. Колька повернулся ко мне: смотри, сейчас начнется столбушка, кого-то выберет громогласный... По его росту подошла бы раздобревшая толстушка Лизуха со своей сахарной улыбкой. Нет, взгляд его остановился не на столе заметном предмете.

Вот тут-то я и увидел незнакомку, появившуюся невесть как на этой вечерине. Тоненькая, небольшого росточка черноглазка, прятавшаяся за широкую спину Лизухи, сжавшая и без того узкие плечи. Ее Леха и вызвал.

Она помедлила, стеснительно оглядываясь, для чего-то потрогала светленькую брошку, стягивавшую отвороты беленького платья на угольничке груди. Лизуха толкнула ее под локоток. Чего, мол, жаться, раз выбрана из всех... Встала. Пошла к ухмылявшемуся Лехе.

У меня екнуло сердчишко. Неужели этот верзила будет лапать ее, такую незащищенную, так оробевшую? У перегородки остановилась. Леха за руку втянул ее в закуток и, приподняв, как неживую куклу, поставил перед собой. Она и впрямь была ни жива ни мертвa, тараща черные глаза.

— Леха, смотри! — выкрикнул я вдруг охрипшим голосом.

— Это кто еще возникает? — усмехнулся, обернулся он.

— Мы! — поддержали меня Панко и Колька. — Что пристал? Он подошел к ним и обоих вместе снял с тумбы. Велел погулять. Потом повернулся к черноглазке и грохотнул:

— Испугалась, хо-хо. А я не медведь. Не трону. Поцелую и отпущу.

Так чмокнул, что девчонка задрожала. Потом она выпрямилась — и раз ему, великанию-то, по ухмылявшемуся лицу. Ну молодчина! Но что это? Потерев щеку, Леха наклонился к осмелившей девчонке и что-то зашептал ей на ухо. Панко в это время пробрался к закутку и услышал: Леха велел ей поостеречься подгулявшего питерщика (вон того, что с бабочкой вместо галстука), который на спор взялся умыкнуть любую черноокую. «А ты, гляжу, одна такая «черкешная»\*, стало быть, тебя».

Вот так верзила! Да он, оказывается, безвредный!

Незнакомка села на прежнее место. А тем временем в закуток проходили, как бы по очереди, один за другим, приезжие гуляки, вызывали девиц, обнимали, целовали — все как положено на столбушках. Пришла очередь и питерщику. Мгновенно сорвался он со скамейки и, поправив бабочку, прорвался за перегородку. «Черкешная» забеспокоилась, ее час приблизился. Оглянувшись, поискала глазами Леху. Нет его, куда-то вышел. Я во все глаза глядел на нее. Неужели пойдет? Да, может, он еще и не вызовет? Нет, раздался голос:

— Гостья, к столбушке!

Девчонка даже побледнела, а руками вцепилась в скамейку. Выручать надо. Вот питерщик уже нового посыльного шлет к ней. Ее беспокойный взгляд поймал мой. Как же помочь ей? Увести? Но куда? Раздумывать было некогда. Когда она сделала первый робкий шаг, мы с Павлушкой и Колюшкой крикнули в один голос:

— Гостья, домой! Живо!

Ей, видно, только и нужен был этот спасительный голос. Мгновенно выбежала с нами в сенцы, где смекалистая Арина уже стояла с ее шубейкой и шапочкой, и скорее на дорогу. Побежала с нами вся мальчишина.

— Миленькие, под горку сверните. Я приехала туда, к тетушке.

К тетушке так к тетушке. Звать-то как? Гланька. Хорошее имечко, запомним.

Вдогонку слышался хохоток Лехи, появившегося на крыльце.

— Кажись, проспорил. Бутылка с тебя, — остановил он выбежавшего питерщика.

— Да не держи меня, — вырывался тот. — Догоню и...

— Не трати силы, кума, иди ко дну, — грохотал великан.

Через несколько минут мы уже были у дома Гланькиной тетки.

---

\* «Черкешная» — в смысле чернявая, как черкешенка.

Вне опасности. Колька сердился. К черту эти столбушки: притечие всех девок перецелуют, своим не оставят. А Гланя, подождав, пока этот смешно взбудораженный оковалок выговорится, вдруг чмокнула его, обалдело притихшего, в губы, потом поцеловала Павлушку и маленьких пацанят. Мне только не досталася поцелуй — застеснялся, отошел в сторонку. Но видел, видел ее ласковый, благодарный взгляд.

Не знаю, почему я вдруг оробел перед ней, такой тонюсенькой тычинкой. Да, да, ничего вроде бы не было в ней особенного, а вот... А хотелось, так хотелось подойти к ней, сказать какое-нибудь путное словечко. Но не мог. Только глядел и глядел на нее. В лунном свете поблескивали ее глаза. Холодный этот свет, но, видно, не для ее черных глаз: они, казалось, теплели. Только постукивала она каблучками своих туфелек, мороз-то донимал, и все же не спешила стучать в калитку, иди в теплую избу.

— Хорошо, ой как хорошо с вами, ребятки, — радовалась она.

— Приходи опять к нам на вечерину, — пригласил Панко.

— В обиду не дадим!

Качнула головой. И хотелось бы, но уже некогда, срок гощения кончился — завтра обратно, домой, в костромскую слободу. Работа ждет. У портнихи в праздники всего больше дел.

— Вона! — удивленно воскликнул Колька. — И ты по портновству, швея?

— А что — непохожа? У вас не такие? Мама тоже жалеет меня: не утомительное ли дело взяла. Я уж не говорю ей, что на закройщицу буду учиться. Как только подрасту, — засмеялась. И опять взглянула на меня с душевной открытостью.

Я стоял столбом. Девчонка-то! Что же я-то гадаю? Швея. В слободе под Костромой. Так ведь и меня туда, в подгородчину, зовет старикан Василий Иванович. Да это... Ах ты, милая черноглазка!

Она — в слободе, а брат — в самой Костроме. Бог ты мой, как это будет хорошо!

Короче, несколько дней спустя я тоже отправился в путь-дорогу.

---

Селения, в которых мы «паслись» (выражение подсобника), отстояли недалеко, в каких-нибудь семи-восьми километрах от Костромы. Были они куда богаче шачинских. Кроме деревянных, немало было кирпичных домов под железными и черепичными крышами. Справные мужики приторговывали в городе, некоторые пооткрывали лавки и чайные у себя в деревне. Как же, пора нэпа — давай простор!

Но не часто звали нашего хозяина в богатые дома. Их обшивали модные городские мастера. Оттуда же, из города, везли и готовую модную одежду. Для нас двери были открыты в избах-соломенушах, таких, какие преобладали на нашей деревянной Шаче. И заказы тут были самые простые: шили полушибки, армяки, пиджаки на ватной подкладке, недорогие костюмы. Редко попадала суконная работа. Заказчиков устраивало то, что «фирма» Щетинкина шила крепко, надолго.

Вообще, это была скучная, однообразная работа. Не как у Главдии. Я бывал у нее в маленьком доме на набережной Костромки, познакомился с ее родителями, которые тоже портняжили. Она на пару с отцом шила дамские костюмы, вечерами училась на курсах закройщиков.

Надежно завязала черноглазка свою судьбу. Мало сказать, что ей нравилось ремесло швеи. Она любила его, жила им, испытывала радость при сдаче каждого костюма или платья. Наденет на манекен и ходит вокруг, смотрит — не насмотрится. Ее руками, вот этими тонкими пальцами ощупаны каждая складочка, каждая строчка, оглажена вся вещь. В глазах у мастерицы свет счастья.

Доволен был и ее отец. Я всегда заставал его при деле: то он сидел, поджав ноги, на верстаке, стачивая на живую нитку крой, то горбился за машиной. В доме пахло разогретым утюгом, разными материями. Стены были увешаны выкройками, картинками из журналов мод.

Пока Главдия готовила для нас чай, отец, подмигивая левым с беловатым бельмом глазом, пояснял:

— Тут и мои, и ее выкройки. Мы, как бы сказать, соревнуемся.

— И кто кого одолевает?

— С переменным успехом. С переменным, дружок. Ты гляди, гляди на ее работу. Не пустельга, нет. С головой девка, — хвалил ее. — У вас-то как: есть патронки\* и модные журналы?

Я смущенно разводил руками.

— Ну так смотри, перенимай.

— Папа, — окликала его дочка, — ты недолго занимай гостя. Я новые книжки еще не показала ему.

Иногда я тут же засаживался за чтivo. Но ох как мало было свободных минут! Василий Иванович отпускал меня в городскую слободу ненадолго, что-нибудь купить по мелочи: нитки, пуговицы, иголки... А мне надо было не только у Главдии побывать и побегать по магазинам, но обязательно навестить брата. Квартировал он недалеко: только перейдешь по плашкоуту реку и поднимешься на широкую Мишансскую улицу, как уже увишишь

---

\* Патронки — те же выкройки.

выпятившийся на тротуар стаинный двухэтажный дом, в полу-подвале которого и обитал он вместе со своим товарищем-сокурсником.

От брата я уносил с собой некоторые учебники и урывками читал, когда хозяин уходил со своим кургузым аршином в «разведку», как он называл поиск работы. Он просто не знал о моих книжных занятиях.

А брат всегда по-доброму подталкивал меня:

— Читай, читай, используй каждую свободную минуту. Маловато, правда, у меня книжек, но для начала... Да, да, готовься и ты... Или портновство всерьез приворожило?

Приворожило? Ой, братик, опять ты ворошишь душу.

Я думал о Главдии, как она оглаживала сшитые ею вещи, как при этом блестели ее глаза. Вот кого приворожило. Вот у кого золотые руки.

А я?

Сравнивая с Главдиным наш пошив, все эти пиджаки из «чертовой кожи» да шубенки из рыжих овчин, я не ощущал ни малейшего удовлетворения от своих усердий. Модных вещей не приходилось нам шить. Новые моды обогнали, опередили нашего старого мастера. Свое же умельство он не спешил передавать. Самое главное — держал в секрете опыт кройки. А без этого можно до седых волос просидеть за машинкой, но не стать настоящим мастером. И мне казалось, что я только зря теряю дорогое время.

Старел, на глазах старел Василий Иванович. Его снедал какой-то невидимый недуг. На исходе второй зимы наших странствий по подгородчине он слег. Лечение не помогало. Нас, учеников, взял к себе новый хозяин, который снимал под швальню закуток в городе, шил женскую верхнюю одежду по заказу нэпманского магазина. Был этот хозяин в зрелых годах, напорист, оборотист, держал патент.

Работали без выходных. С утра до позднего вечера не покидали верстак. Тут, на верстаке, потом и ночевали. Прижимистый был швец. Мечтой его было — разбогатеть, купить себе новый дом. Но не получилось. Как-то вечером он появился в швальне пьяненький и громогласно объявил:

— Ребята! Домой! Лопнула лавка у Самсоныча. Конец и нашей швальне!..

Каждому отсчитал деньги на дорогу, выдал «отступные».

Так кончилась моя портновская «одиссея». Но оставалась со мной мечта о другой учебе, о других занятиях.

Неожиданным было мое возвращение в свою Глазовку. Мать насторожилась. Даже не спросила о «копейке». Только глядела на меня, часто-часто мигая. Ничем утешить ее я не мог. Так жалко было ее. Я мялся. Наконец выложил из вещевого мешка пачку книг, учебников.

— Вот! Весь тут мой заработка. Не осуди, мама!

---

В деревне было шумно, суетно. Близились большие перемены.

Алексей АКИШИН

## ИМЕННЫЕ ЧАСЫ



акануне Дня Победы всех фронтовиков собрали в сельсовете. Из сельсовета Петр Андреевич не шел, а летел на крыльях. Он шагал размашисто, гордо расправив плечи. В правой руке он нес авоську с врученным ему подарком, а в левой крепко сжимал маленькую плотную коробочку.

Дома его не ждали. Обычно со встречи ветеранов его приводили под руки, или сосед-участковый привозил на мотоцикле, а тут он заявился трезвым как стеклышико.

— Что-то ты сегодня не запозднился, — удивилась жена, когда он появился на пороге. — Мы уж думали, что снова тебя искать придется...

— А чего там долго быть? — Он небрежно положил авоську на диван и прошел в зал. — Поздравили. Сам военком приезжал. Часы вот подарили. Именные...

Петр Андреевич раскрыл коробочку и вынул часы.

— Не забыли-таки. Наградили.

— Ну-ка, отец, дай гляну, что за механизма, — подошел к нему сын. — Да какие они именные? Просто к юбилею Победы сделаны, а он «именные, именные»... Где тут написано, что они лично для тебя сделаны? Нету, батя...

— Давай сюда, — строго проговорил Петр Андреевич, — ничего ты не понимаешь. Понял? Говорят, именные, значит — именные.

— Ну да, — с усмешкой возразил сын. — Самые что ни есть обыкновенные. Мне ведь тоже как-то в колхозе дарили...

— Это тебе дали обыкновенные, таких тогда в любой лавке можно было пригоршнями грести. А таких, — Петр Андреевич сунул чуть ли не под нос сыну часы, — таких ни в одном магазине с огнем не найдешь. Они специально для нас сделаны, для фронтовиков. А значит, и для меня тоже. Понял?

— Да ладно вам, — вмешалась в спор жена. — Разошлись... Какая разница: именные — не именные. Подарили, и хорошо. И того могли бы не дать. Дай-ка и я посмотрю.

— Не урони, — предупредил ее Петр Андреевич и осторожно подал ей часы.

— Красивые. А идут ли?

— Да ты что! — возмутился Петр Андреевич. — Еще бы неходячие дарили, да нам, фронтовикам. К уху-то приставь, послушай. А ты, — обернулся он к Василию, — чем ерунду языкком молоть, ремешок бы поискдал, который покрепче да покрасивее.

— Нет уж! Эти часы я тебе носить не дам — по праздникам разве...

— Как это так! — наступил брови Петр Андреевич. — Мне подарили, я и носить буду. Ты еще надумаешь зятю отдать. Не выйдет ничего. Ты и так ему всего валом валишь.

— Да не о том я. На кой ляд зятю твои часы сдались! Что у него, своих нету? А ты, если будешь каждый день носить, потеряешь. Или напьешься да уснешь — и снимут, украдут. Мало ты за свою жизнь часов пертерял...

— Завелась тоже, — пробубнил Петр Андреевич, укладывая часы в коробочку. — Пусть по-твоему будет, но ремешок надо какой-нибудь покрасивше.

— Да купит тебе Васька ремешок, или почтальонке зака-зать. В районе, наверное, всяких полно.

— А с тебя, отец, причитается, — усмехнулся Василий. — За награду, за часы, как ты говоришь, именные. Иначе долго не находят, сломаются.

— Не мели лишнего. Сломаются, сломаются... Да разве их как все делали. Надежные должны быть, понял? А обмыть, обмыть такое событие надо, — согласился он с сыном. — Ну-ка, мать, дай нам закусить.

Петр Андреевич вновь взял в руки авоську, и на столе появилась бутылка «Чарки».

— Смотри, мать, и водка-то специальная, для фронтовиков. Видишь, солдат нарисован, как я в молодости.

Рядом с бутылкой он выложил на стол пачку чая, банку консервов, пакетик конфет.

— Это тоже там, в сельсовете, подарили. Паек фронтовой.

— И как ты утерпел — там-то не выпил?

— А вот и не выпил. Не захотел, а сейчас не откажусь.

Петр Андреевич разлил водку по стопкам. Он захмелел быстро и почти не выпускал из рук часов — то и дело открывал и закрывал коробочку.

— Вот ведь наградили, — смахивал он набегавшие слезы.  
— А я их, мать, и в самом деле не буду носить — вот тут на стену повешу: пусть люди видят. Но в День Победы, ты уж извини, на руку одену. Награда все-таки. Без нее и праздник не праздник. Смотри, Васьк, не забыли, да?

Сын больше не спорил и налегал на жареную картошку.

— Да ты не расстраивайся, — успокаивал он отца, — куплю я тебе ремешок, сам подберу, глаз у меня на это дело памятен. Куплю такой, что лучше и не найти будет.

— Ты уж не забудь, завтра же, завтра купи и пошли с кемнибудь, понял, да? Я их вот тут на гвоздик повешаю, чтобы и самому, и людям всем видно было.

— Ты в прихожей повесь. Там еще виднее. Глядишь, и спрут — не заметишь, — с усмешкой посоветовал сын.

— Да ну тебя, нехриста. Все только поперек норовишь, — отстранился от него Петр Андреевич. — Ремешок, смотри, кожаный покупай. Мне всякие там блестящие финтифлюшки не нужны. Ну давай еще по чуток, чтобы шли, значит, тютелька в тютельку.

— Ты уж и так хорош. Хватит, наверное, — попыталась остановить его жена, но он уже разливал водку.

— Мы понемножку, — оговорился Петр Андреевич. — А потом я прилягу на часик-другой. Отдохну, покуда козы не пришли.

\* \* \*

Через два дня в селе был митинг, а потом для ветеранов накрыли в клубе стол. Подвыпив, Петр Андреевич то и дело поглядывал на часы, хвастал кожаным ремешком, которому, по его словам, износу никогда не будет.

— Васька купил на базаре. На другой же день послал, — хвалился он за столом.

Из клуба Петр Андреевич ушел к Захару — с ним на фронт вместе уходили. Посидели с ним до самого вечера, и домой его, едва удерживающегося на ногах, привела жена и Захарова невестка.

Оказавшись дома, он заснул мертвецким сном. Жена осторожно расстегнула рукав рубахи, сняла часы, поднесла их к уху, послушала и, убедившись, что идут, повесила на гвоздь.

До полуночи Петр Андреевич проспал спокойно, только иногда всхрапывал, чмокал, потом начал бормотать что-то невнятное. И вдруг он, словно ошпаренный, соскочил с дивана.

— Мать, где часы? — громко спросил он, не успев даже включить свет.

— Спи давай. На стене висят, — спокойно ответила жена.

— Да ну? — не поверил он, щелкнул выключателем и подошел к столу. Напротив, над рамкой с фотографиями, висели часы.

Он снял их с гвоздя, положил на стол и опустился на табуретку. Несколько минут сидел молча, наблюдал, как секундная стрелка описывает круг за кругом.

— А я тут страх как напугался, думал, что потерял. Мать, — сказал он тихим просящим голосом, — нет ли чего у тебя? Поскреби по сусекам.

— И скреши нечего. Нету.

— Ну, раз нет, — покачал он головой, — и суда нет.

Петр Андреевич повесил часы обратно и снова улегся на диван.

\* \* \*

Осенью после копки картошки Петр Андреевич заболел. Болезнь взяла разом, крепко. Почти неделю не выходил он с огорода, ковырялся там с зари до зари и вдруг слег. Вызвали фельдшерицу. Она осмотрела его, послушала и увезла в райцентровскую больницу.

В тот же день узнал об этом сын и, бросив все дела, приехал к отцу. Он посидел у него в палате, но Петр Андреевич лежал, не открывая глаз, и тяжело дышал.

— Пусть поспит: сон — второе лекарство, — успокаивал Василия чернявый мужчина, лежавший на соседней койке. — Уколами нашпиговали, вот и задремал.

Уходя из больницы, Василий разыскал лечащего врача и с опаской спросил про отца.

— В общем-то, страшного ничего нет. Но пусть полежит. Покой ему нужен. Да и годы надо прибавить...

Василий поблагодарил врача, снова заглянул в палату. Отец все еще спал.

— Проснется, так вы мне позвоните, — попросил он соседа по палате и черкнул на спичечном коробке свой номер телефона.

Дней через пять Петр Андреевич пошел на поправку. Он стал ходить по палате и даже поговаривал, что пора уже и домой, что, мол, надоели эти больничные стены, но врач словно и не слышал.

Вечером Петр Андреевич осмелился и сам спустился вниз к телефону, набрал номер сына.

— Слыши, как там мать живет? Побывай-ка у нее да часы мне привези, а то здесь и время узнать не у кого...

И уже утром Василий привез ему часы, свежего козьего молока и банку меда — Захар послал.

— Ну, теперь, — обрадовался Петр Андреевич, — хоть время знать буду. А то проснусь ночью и лежу гадаю — который час. Дома хоть петухи кукарекают — и то понятно, что утро настает, а тут...

Расспросив сына про жену, про всех соседей, он, довольный и обрадованный, пошел в палату.

— Врач говорил, что через недельку можно и домой.

— Лечись, поправляйся. Дома сейчас тоже нечего делать — разве что глаза в телевизор пялить, — ответил ему Василий и невольно подумал, глядя на отца: «Постарел-то как, осунулся, а все-таки держится молодцом. Эх, папаня, папаня...»

Они расстались. А через день вечером Василию позвонил чернявый, лежащий в одной палате с отцом: приезжай срочно, отцу стало плохо.

— Вчера весь день он куда хошь был. В домино играли, кино смотрели, — пояснял сосед. — В душ сегодня сходил и после слег. Вот с обеда не встает. Бредит, что ли... Уколы делали — не помогло, видать.

— Отец, отец, — Василий осторожно потряс его за плечо. — Проснись.

Петр Андреевич лежал неподвижно и только едва заметно шевелил губами. Василий потряс его сильнее, и он приоткрыл глаза. Узнав сына, Петр Андреевич хотел, видимо, что-то сказать.

— Чা... Тча... — с хрипом вырвалось из его обсохших губ.

— Чего, чего, отец? — переспрашивал Василий, наклонившись к нему ближе.

— Тча... Тча...

— Может, чаю ему надо, — попытался угадать чернявый, — так у меня есть в термосе, теплый.

Он налил в кружку чаю и протянул Василию. Петр Андреевич, приподнятый сыном, сделал несколько глотков и чуть заметно помотал головой.

Василий бережно положил его на подушку, и снова отец стал пытаться что-то вымолвить.

— Тча... Тча...

«Часы», — вдруг осенило Василия, и он загнулся по локоть рукава пижамы. У отца часов не было. Он выдвинул ящик тумбочки, заглянул внутрь и стал передвигать с места на место банки и свертки. Стараясь не потревожить отца, пошарил рукой под подушкой — пусто. Потом глянул на отца и окаменел.

Глаза Петра Андреевича были широко раскрыты и неподвижно смотрели на серый больничный потолок.

— Отец! Отец! — крикнул Василий и схватил его за запястье. Пульса уже не было...

## ГАРМОНЬ РУССКОГО СТРОЯ



ед Иван сам переоделся в чистое, сам затеплил лампадку перед иконами, которая не зажигалась невесть с каких пор, сам устроил себе последнее ложе на передней лавке. Все это он сделал, дождавшись, пока ничего не подозревавшая внучка Галиушка не ушла в клуб. Он чувствовал, что сегодня ему — шабаш. На встречу с богом он не надеялся, потому что верил в него плохо, но умереть решил по-православному — так же, как помирали его дед и отец, как помирали его мать и жена Анна Егоровна.

На свете пожил многонько, жить приустал. Умытый и переодетый, улегся головой к синей лампадке на неудобной узкой лавке, а не на широкой кровати, и сложил руки крестом. Засыпая, подумал, не испугалась бы по ночному времени Галиушка, когда вернется из клуба, но вспомнил, что она приходит с гулянки, раздевается и ложится за переборкой впотьмах, а лампадка к ее приходу потухнет, потому что масла в нее капнул две капли, выпросив у старухи Омелиной маленько.

Он смотрел в потолок, косил глазом в сторону — шея у него уже не ворочалась, — и последнее, что мелькнуло ему в глаза, — это горка для посуды его собственной работы: внучкино приданое и его гордость. Стоечки к ней он вырезал из березовых брусьев под вид сапожек. Раскрашенные черным лаком, они блестели, как настоящие сапоги, и Иван Шаронов немало потешался над гостями и соседками, которые обманывались и хватались за деревянные сапоги, как за настоящие.

И он уснул, потому что голову ему стало затуманивать, а тела не чувствовал, надо быть, с четверга: слышал только, что из дверей пятистенка дует, собрался закрыть их, но вдруг вспомнил, что дверь на зиму законопачена наглухо, и догадался, что это не из дверей дует, а стуит его ОНА...

Между тем внучка его Галина Ивановна в клубе веселилась и веселила других: она играла на русской гармони, играть на которой нынешние гармонисты из-за лени разучились, потому что на хромке играть проще. Но Галину Ивановну научил дед Иван. На гармони играть трудно, но зато можно выписывать такие кренделя, какие и баяну не всякому под силу, будь у него рассе ребряные голоса. У этого же дедова инструмента планки были медные и голоса медные, а как возьмет он ее в руки, как пройдется по ладам!.. И мехами вроде не шевелит, а дух у всех захватывает, и за сто верст слыхать!

\* \* \*

Галина Ивановна играла сегодня, употребляя всю дедову науку: чтобы люди поняли, какая это надобная, живая и послушная вещь — дедова гармонь. Она играла, сидя на боковой лавке, иногда закрывала глаза, чтобы вызвать гармонь на откровенность, и та, тоже чувствуя темноту, доверительно выкладывала все, что знала и про этот вальс, и про деда, который мастерил ее два года, и про жизнь, которой нет ни конца ни края... Девчонки с парнями сначала танцевали по-новому, потом вспомнили, смеух ради, старинную «семизарядную», но на них сердито кричала Таська Изюмова, которая одна и знала назубок все «кресты», «чижички» и кружения. Только чем глубже дышала дедова гармонь, тем строже становились танцоры, тем послушнее становились девчонки, а парни сами догадывались, что к чему, — и Таське уже не надо было никого дергать за рукав в нужный момент, потому что все теперь угадывали этот момент и дробили, ходили «крестом» да «кулицей».

А Галина Ивановна бессменно играла. В клубе имелась радиола с набором танцевальных пластинок, и гармонисту можно было и отдохнуть, но Галина Ивановна танцевать не научилась, потому что уродилась некрасивой — мужиковатой, низкорослой, большерукой. Она потому и не танцевала, но ходила на все клубные вечеринки, иногда брала с собой гармонь, чтобы пострадать самой и доставить сладкое страдание честному народу. А честной народ веселился и страдал, забывая про нее и полагая, что такая музыка рождается сама по себе.

Она играла, и никто не обращал на нее внимания, словно так и надо было, словно иначе и быть не могло, и никому не приходило в голову поблагодарить ее, а благодарственные частушки, которыми иногда кончается деревенская пляска, сочинялись про гармонистов-парней. Да она и не напрашивалась на благодарность, потому что с младенческих лет привыкла обходиться без нее. Дед приучил ее ко всему, когда она осталась у него на руках. Отца убили на фронте, мама померла прямо на лугу, когда надорвалась, подавая сено вилами на стог, и дед остался ей за няньку, за учителя и за всех остальных. Галина Ивановна рано начала работать в колхозе, еще раньше — по дому, и единственной стоящей благодарностью для нее была ухмылка деда Ивана, наказанием — дедова затрецина. А больше она ничего не боялась и ни от чего не приходила в восторг, потому что во всем полагалась только на себя, а себя она знала и могла хвалить или осуждать совершенно беспристрастно.

Она не пришла в восторг даже тогда, когда ее приняли в училище механизации — единственную девчонку. И когда на нее приезжали дивиться товарищи из области, когда ее портрет напечатали в областной газете, она не дрогнула: так полагалось.

Село, где находилось училище, стояло в уютном сосновом бору, и Галина Ивановна, как только отступалась от книжек и тракторов, убегала в бор на лыжах, бродила там до полночи. Она все о чем-то думала, слушала шум леса и хруст снега под ногами, никогда там сама не шумела, считая, что в лесу полагается быть тишине, и, не моргнув глазом, слушала, как охают и ахают парни, когда она за полночь являлась в общежитие, где ей отведена была кладовка в восемь квадратных метров, считая, что они обязаны охать и ахать: конечно, не всякий пустится ночью в незнакомый лес один...

И потом, когда ее чествовали за первое место в областных лыжных соревнованиях, она обидела корреспондента областной газеты, ответив на вопрос, как она добилась такого успеха:

— А я и не добивалась...

Он сконфузился, больше не нашел вопросов к ней и ушел немножко обиженный, думая, что она уж сразу и зазналась. Она же не зазнавалась и сказала то, что думала.

Дед прислал ей тогда короткое письмо, сообщив, что газету с ее портретом ему показывали и что Митька Шустов уехал из колхоза, оставив трактор. Так что трактор стоит пустой, и Галине не худо бы занять его, потому что трактор почти новый.

Трактор этот ей достался, и когда она в первую же посевную сделала больше всех гектаров мягкой пахоты, все удивились, кроме нее: она видела, как часто работают мужики «поддавши», как мало они ухаживают за машинами, и тоже огорчила районное начальство угрюмой непочтительностью, сказав, когда начальство wollte узнать о причинах успеха и распространить ее опыт:

— Лопать надо меньше — трактор сам гектаров не наделает...

Опять про нее подумали, что она зазнается, а она не зазнавалась, а говорила, что думала, а думала то, что видела, и не придумывала уверток ни для себя, ни для других, ни для всей жизни. Потому что так уж воспитал ее дед Иван, который ведь не пошел искать льгот или поблажек, когда на руках у него осталась Галина Ивановна. Не пошла никуда жаловаться и она, когда над ней начали было подхихикивать двое салажат в гараже. Сопляки — отработали только по сезону, а туда же!

Она пришла тогда в той же форме — в масленой фуфайке и лыжных брюках, — за руку передзоровалась со всеми мужиками. Алешка Чуркин и Валерка Быстряков сидели в стороне, и только она к ним направилась, поглядели друг на друга и расхохотались, откровенно издеваясь над ней. Она не поленилась, дошла до кузничного горна, стоявшего в углу, и молча показала им обрубок восьмимиллиметрового железного прута... Алешка с Валеркой даже не стали запираться, что мы, мол, это — про свои дела, чего, мол, зря грозишься, а сразу юркнули за трактор.

\* \* \*

А потом бригадир послал ее культивировать поле под лен и сказал:

— Галина Ивановна, к вечеру успеть бы...

Она и успела к вечеру, потому что так было надо...

Надо было спасать и Алешку Чуркина, когда он по халатности запорол масляный насос, — она взяла вину на себя, так как они работали на севе на одном тракторе, а с нее, с девки, спрос был не так строг... Ей простили тогда Алешкину вину... Вот он сейчас извивается с Тонькой-библиотекаршой, виши, какие вензеля выписывает!.. А тракторист из него получился — ничего...

Галина Ивановна играла и играла, здесь все было покорно ее гармошке, и она считала, что так и должно быть... Народ веселился, а она играла, хоть минутами ей становилось отчего-то горько. Но у нее были крепкие нервы: недаром она помогала деду Ивану принимать теленка, когда телилась корова, недаром не расплакалась, когда Настасья Кирилловна обозвала ее размужичьем за гармонь и за то, что она каждую зиму ездила на областные лыжные соревнования, где защищала спортивную честь района и брала призовые места.

Парни с девчонками крутили бы «семизарядную» и «ярославскую» до утра, не останови веселья завклубом Нина Антоновна. Она была уже в годах и твердо держалась расписания: зимой — киносеанс с 19.30, после кино — танцы до 23.00. И — ни минутой дольше. За пять минут до одиннадцати Нина Антоновна вышла из своей каморки за сценой, где вязала кружева, пока молодежь веселился, оглядела зал и трижды щелкнула выключателем. Никто и не вздумал перечить, потому что Нина Антоновна обладала твердым характером, и муж ее служил участковым уполномоченным райотдела внутренних дел.

Галина Ивановна прекратила игру, хотя еще не наигралась досытая, и, взяв гармонь под мышку, первая направилась вон. Перед ней почтительно расступились — парни даже выстроились шеренгой у двери, словно только сейчас узнали, что это не небо и не стены звучали, а извлекала музыку вот эта некрасивая девка, которую, пожалуй, уже можно называть старой девой, хотя она и недалеко ушла от них возрастом.

Она так и направилась домой вперед всех — у клуба дел для нее не было и быть не могло, там оставались доигрывать детские игры малолетки. Они играли, толкались, парнишки валяли в сугроб девчонок, а у Галины Ивановны игры остались далеко позади, да ее так никто никогда в сугроб и не толкнул — ведь она всегда держала под мышкой гармонь, предмет нежный, простудить который навек — пара пустяков.

За спиной у нее раздавались визг и хохот, под ногами синела тропа, а над головой высилось совсем недалекое небо — Млечный Путь казался чуть выше белых церковных сводов в мастерской, которые были так высоки, что их не достигала даже тракторная копоть... Она не торопилась к дому, зная, что дед Иван уже лег спать, что самовар еще горячий, — он всегда перед тем, как завалиться на ночь, подогревал самовар, чтобы не остывал до ее прихода, чтобы она тихо почевничала и тоже успокоилась. Но ее удивил какой-то странный отблеск в боковом окошке дома. Луны не было, а стекла голубовато сияли; во всех домах окна были неразличимы, а их окно выделялось мерцающим пятном, и это пятно будто меняло очертания, будто даже шевелилось. Галина Ивановна ускорила шаг, перехватив гармонь в руку, и все еще не могла испугаться — ее просто заинтересовало, что это еще придумал дед: не опять ли березовые сапоги! И она пустилась к дому бегом, ожидая, что и ее сейчас кто-то повеселит, а то все веселила других она...

Галина Ивановна влетела в избу и осталася под полатями: в углу горела лампадка голубого стекла, изба казалась наполненной густой летней водой. А в этой воде на плаву держался кто-то неподвижный, в странной позе. Она, не раздеваясь и не оставляя гармони, бросилась к передней лавке и только тут признала лежащего деда Ивана, который смотрел прямо в потолок и не мог повернуть шеи, не мог даже скосить к ней большие круглые глаза. Но по тому, как дрогнули его усы, она поняла, что дед слышит ее, и по инстинкту наклонила свое лицо над ним так, чтобы очутиться в поле зрения его неподвижных глаз.

Глаза узнали ее и о чем-то попросили, но она не знала, о чем, и выпрямилась, чтобы осмотреться и угадать, что нужно деду Ивану, но ничего не находила. Она опять хотела наклониться к нему, но увидела, как пальцы его скрещенных рук еле заметно шевелятся. И по этому шевелению она узнала любимый дедов перебор с подыгрышем, которым он иногда подхвастывал и которому научил ее, когда ей исполнилось годов десять. Она догадалась:

— Сыграть?

Она спросила громко и наклонилась к нему так, что почувствовала губами его слабое дыхание. Усы и брови деда дрогнули.

...Что она играла, не запомнилось. Запомнилось только, что ни до этого часу, ни после у нее никогда так не игралось, и знаменитый дедов перебор с подыгрышем доносился, наверное, до самого Млечного Пути.

## ПРОЩАЛЬНАЯ УЛЫБКА



редпраздничные дни выдались погожие, солнечные. Без особых трудностей собралась городская сестра, без глубокой печали проводил ее до станции Василий Терентьевич Тяпышев. Не было у него волнений и на обратном пути, хотя добирался на перекладных.

Бывает иногда везение: с одной попутки на другую без томительного ожидания пересаживался. Недолгой была задержка и на последней развилке-поворотке. Только устроился в прохладном тенечке на передышку, его окликнули:

— Эй, старина! Иди, подвезем, если дорогу покажешь.

— Не просто так, значит, а за услугу. Виши вы какие, — не выказал он поспешную готовность по своей привычной рассудительности.

— Раньше, говорят, тут бездорожье было... — Здоровенный мужик стоит Гулливером. Одет по-дорожному: защитный костюм на нем, компас вместо часов на левой руке, сапоги тоже зеленые, фасонные.

— С разведкой, значит, по нашим углам? Геологи небось?

— Так точно, разведываем. А ты, дедок, вроде клюнувши слегка.

— Тяпышев буду, Василий Терентьевич, — слукавил в ответе, не признался, что пару стопок красненького пригубил на станции, — еще не возьмут выпившего пассажира.

— Ну, будем знакомы. Константин Иванович Слепинчуков.

— Великан протянул руку помощи — помог выбраться из-под куста.

— Один для нас путь. В тупике живем. Правда, заречной дорогой на вездеходе и до райцентра проскочить можно. Аксеновские разрубы там...

— Вот как раз к разрубам этим и надо. Пошли, пошли, старина. Пойдем, свет Терентий.

— Слыши, чего скажу. — Тяпышев выбирается с подмогой на обочину и, привстав на цыпочки, гордо тянетесь перед великаном. — Василий Терентьевич я, родом из Костромихи. И не какой-нибудь старина. Это я сразу предупреждаю. Поехать пойду, но, милые товарищи, только без панибратства. Такое не терплю.

— А вот сейчас вижу, что стариной назвать нельзя. — Великан вежливо повинился, широким жестом пригласил в блестящую необычно длинную машину.

Тяпышев узрел, что переднее сиденье свободно, и сразу же юркнул туда.

— Вот как подфартило! Прикачу этаким фраером домой, пускай соседи ахают, дружок Полинаха присвистывает.

В машине густо всхочотнули мужики — трое, кажись.

— Вот теперь порядок! Свой проводник. — Константин грузно втиснулся, осадил машину. — Можно ехать.

— Поезжайте, дорога-то лентой белеет. Жара нынче, давно дождей не бывало. Сушит и сушит. Цветенье изнывает — это плохо, перемочка нужна, — начал было рассуждать Василий, но незнакомцы его не слушали, бубнили меж собой.

— Своим-то ходом Сидоров может за реку? — отчетливо произнес главный среди них — великан этот.

— Про которого Сидорова? — встрял Василий Терентьевич.

— Не из Аксених он будет? Евлампия Сидорова сын? Говорят, шибко зарабатывает и такую же машину собирается купить...

— Нет-нет. Местных в нашем отряде не числится — противопоказано.

— Все дальние, значит. Бывалые ребята, как погляжу. Культурные да на таких машинах к нам редко пока залетают.

— Всему свой резон, папаша. И — свой момент.

— Неспроста, значит, не кое-как. — Тяпышев погладил надбровный шрам и замолчал. Укачивало на зыбкой дороге, клонило в сон, да и не хотелось надоедать людям, нацеленным на какое-то серьезное дело. Они, эти люди, поглядывали на стороны, словно бы оценивали местность по своим особым приметам. Невзрачные придорожные перелески привлекали их наличием липняговых куртинок.

— Медовые места, ребята. Запах чувствую, — говорил старшой, потирая пухловатые, должно быть, влажные руки.

— У нас так об эту пору, тольконюхай, — возгордился Тяпышев. — По-каждому волоку липняги, по каждой ложбине. И по деревням есть. Липовые рощи, аллеи, так сказать, тоже кой-где имеются.

— Особенный древостой — особенный микроклимат. Флора и фауна привлекательная, — вроде бы по-научному говорил великан. — Липовый цвет, зверобой, тысячелистник, калган, прочее лекарственное сырье.

И снова примолкли, так до отворотки ехали. А знакомство состоялось. Тяпышев показал им дорогу на Аксениху, объездную, что проходит неподалеку от его родной деревни. На постой даже приглашал, если долго в работе задержатся эти культурные ребята:

— Не чурайтесь. Переночевать или мало ли что. Потолкуем. С дружком своим Аполинахой познакомлю, тот разговорис-

тый, все места в разнообразном интересе досконально знает, по любой визире провести может.

— Ладно, ладно. Заглянем при необходимости.

— Поджидать стану. Ну, счастливо, ребята. Левой стороны держитесь. Там видно, что вдоль реки ехать надо на Аксеновское взгорье. Там лет пятнадцать назад геологи тоже бурили-сверлили.

До поселка своего Василий Терентьевич скорехонько дотопал. Привернулся в столовую выпить кружечку пивка за компанию с лесорубами, сообщил собеседникам, что вроде опять нагрянули геологи-изыскатели. Домой-то и запоздал, к дружку Крупинову не зашел побеседовать...

## 1

А дружок Василий, Аполинарий Григорьевич Крупинов, поругивая жену Валентину, даже к родительской субботе не вернувшуюся из города от дочерей, одиноко скоротал вечер. И ночью плохо спал в ожидании нового дня, который намеревался прожить легко и празднично при душевной поддержке закадычного друга. Но управил утренние домашние дела и в раздумье пригорюнился, не хотел никуда идти. Некоторое время сидел на крыльце, опираясь локтями на колени. Теплый ветер иногда перебирал редкие волоски, затачивая их с висков поперек лысины; шевелил мягкую нежную траву в палисаднике. Вот ведь трава, думалось вроде бы беспричинно, была вечером примята, а обласкало солнечным ветерком — взбодрилась опять. Повсюду она так. Топчем, прикатываем тракторными гусеницами даже, которую и косим два раза в лето, все равно растет. Там, где и не было ее десятки лет, где дом, например, целый век стоял... а убрали, порушили его, смотришь, одворье бурьяном затянуло. Бурьян уломается, отживет свое — сменяя одна другую, разные травы будут расти...

Родное одворье в Костромихе так же вспомнил. Тоскливо стало на душе, будто вот случиться чего должно — предчувствие такое. А предчувствиям своим Аполинарий в последние годы доверял все чаще. Он решил отдохнуть, тяжело поднявшись по ступенькам, пошел в избу. Ой, да какая это изба?! Лесопунктовская квартира в бараке на четыре семьи. Соседи в разбеге, поговорить не с кем. Дружок где-то в разгуле. Тихо, никто не стукнет, не брякнет.

Устроился на диване перед распахнутым зарешеченным окном — не специальная сетка, не марля, натянутая на рамку, а обыкновенное решето от старинной веялки в раму вставлено, потому что как раз подошло. Тут, на свежем воздухе, по утрам и в полдень приятно вздренуть. Аполинарий будто бы на ласко-

вых волнах переплывает в воспоминаниях к родной Костроми-хе. На просторном лугу средь полей, распаханных к лесу, по-прежнему красуется стройная деревенька.

От нарядного, общитого свежим тесом крайнего пятистен-ка начинается липовая аллея, посаженная в первый колхозный год: отец Григорий Митрофанович, избранный председателем, придумал коллективную общинную посадку на память, потому что пчеловодством планировал заниматься. Видится, как над вершинами мечутся чем-то обеспокоенные ласточки, еще выше, под самым облаком, похожим на парусный корабль, отчетливо тре-пыхается жаворонок, но без песни почему-то, может, не слышно издалека. Небывалый в этих местах тяжелый гул накатывает со всех сторон по окружному лесу. Уже понятно: железнодорожные составы грохочут. В прогалах лесных можно разглядеть вагоны, груженые всяческим строительным материалом. А на вагонах сидят костромихинские мужики, ныне здравствующие да проживающие на чужой стороне, и те, что не вернулись с войны. У всех плотницкие топоры так и перекликуются солнечным блеском. Едут мужики, чтобы отстроить, возродить Костроми-ху, порушенную коверканым житьем...

— Полинаха, вставай! Виши, разнежился. Как без тебя в такой день? Отдохнул маленько и ладно, будет. Вставай, земе-ля, негоже долго спать в родительский день.

Вздрогнул Аполинарий, сообразил что к чему и признался:

— От скучи прилег, а вздремнулось — не полегчало.

— Без меня тебе завсегда скучно. — Василий Тяпышев при-лип щетинистой щекой к ржавой сетке. — Вечор с докладом планировал — не явился. Опосля думаю: не помешать бы. Ты ведь не одну неделю холостякуешь, молодайку бы не спугнуть с твоего крыльца.

— Холостякуешь тут. Из рук все валится. — Полинаха кое-как раскачался, встал с удобной лежанки, приплюнул на ладонь и обгладил всклокоченные, словно у младенца, волосенки.

— Сам на бессонную стезю попал. Не знаю себя куда деть. — Тяпышев потер красный фронтовой рубец на лбу.

— Заходи поскорей, Василий, в мой бобыльский неуют. Может, и придумаем чего для душевного облегчения.

— Неплохо бы. В продмаг разве привернуть заодно? А, Полинаха?

— Приверни. Прыток на ногу, мигом слетаешь. Не бойся, рассчитаюсь в день приезда Валентины, — Полинаха сказал с уверенностью: дружок не откажется, безденежным он никогда не ходит, кошельек тугой имеет — привычка мелкотой бумажной набивать. — Захвати порожняк, может, примут штук десять! — запоздало кричит он. — Виши, исполнительный какой, на полном газу сорвался впропрыжку порученье исполнять.

Полинаха долго глядит в окно, мыслью возвращается в прошлую жизнь: было много разных интересов. Строились с Василем в одно лето, помогали друг другу, одной заботой с весны до поздней осени жили. А уж потом, когда в хозяйствах все оказалось приложено к месту, каждый своим ремеслом занялся. Тяпышев лапти плел, валенки подшивал, иногда охотничал на приволье, а он, Полинаха, деревню снабжал санками да корзинами. Намерзнутся, намаются в глубоких снегах, доставляя из-за реки сено для колхозной скотины, и — по домам, но не на печи греться под боком у женушек, а в уголок, где мастерская приспособлена для ремесла, пилить, строгать, дратву ладить. Вроде и не тягостно. Ребятня рядом вьется — отцовское ремесло не лишнее. Опосля получилось не так: им оно ненадобно — как восьмилетку который осилит, поехал другую жизнь искать. До сих пор обидно от того, что дети от родителей по сторонам разбежались.

Расстроенный Аполинарий Григорьевич встретил дружка вопросом:

— Ты как считаешь, обидно нынче нам или нет?

— В чем дело? — навострился Василий. — Ты чего, Полинаха?

— Обидно. Мы тут, а земля наша где? Я здесь вот как наился! — Аполинарий резанул ребром ладони по выпуклому кадыку. — Уют этот казенный. А тебе не обидно?

Тяпышев, жилистый низкорослый мужичок, всегда отличался терпеливостью, выдержанкой, не торопился с ответом.

— Обидно, али нет. Еще как обидно, — признался он. — На старости лет деревенские жители квартиросъемщиками стали. Прихватизаторы теперь — только и всего. А мы для жизни при пахотной земле предназначены.

— Теперь уж не ходить за плугом. Пахоту не поминай — забурьянило, мелколесьем забило. Лучше про охоту или рыбальку скажи. Бывало, у реки-то на зорьке сидишь сам себе царь природы. А щука ворохнется в травнике, булькнет — аж сердце замрет. Или голавли наплыvом по всей реке пойдут — с обрыва хорошо видать. Вода так и кипит от скопища рыбного.

— Помнишь, Полинаша, молотилку новую привезли? Рожьто как радостно молотили. Хороша ржица была. На трудодни досталось. В каждой избе солоду понаделали. Пивко варили какое!. А помнишь, овин горел, так в огонь кидались хлебушко спасать. — Тяпышев опять прикоснулся к шраму на лбу.

— Возле Хмелевки тот год и пшеница хороша набралась.

— Нету Хмелевки. Ни сарайчика не осталось. Растили спешные ликвидаторы. Еще недавно в хмелевском выгоне кони у меня гуляли. Какие были кони! Любата! Покаталися, будет.

Терпите, ребята, при многих утратах. Эх, милые, родные! — басил Тяпышев, дергая изломанной бровью, встряхивая приподнятymi перед собой руками, будто держал вожжи. — Эх, залетные! Прокачу милашку с ветерком! Запевай, милашечка, звонку песню радости!

Полинаха, наоборот, говорил все печальнее, все тише:

— За скотиной ходили душевненько. Овцы, к примеру, в крестьянском дворе. У каждой матки четыре-пять ягняток.

— Нынче скотину тоже умеют держать. Это нам с тобой на новом месте все не так да несподручно. Сами другие стали — вот в чем вопрос, не ту политику к нам исхитрили. — Тяпышев откинулся на спинку стула, скрестил руки на груди и голову горделиво приподнял. — Деревенский жительшибко переменился — ему велено меняться. Ты, дружок, на себя взгляни: живешь вроде отряселя.

— Это верно. Кто мы в поселке теперь? — по-своему клонил разговор Полинаха. — Разве хозяева? Иждивенцы одни повсюду. И всякий, кто про свое лишь выживанье думает, есть иждивенец.

— Так-то мы с тобой слишком много иждивенцев насчитаем. Это уж ты переборщил, Аполинарий Григорьевич. Те, которые правят, тоже, значит, иждивенцы? А ладно, все равно не перебрать наши беды. Давай-ко родителей поминать — такой час по празднику пришелся.

Крупинов тоже на все махнул рукой, взбодрил свою стать, но прежде чем пойти на кухню, чтобы закусочки принести, как-то придилично оглядел Василия, заприметил неладное в его одежде и рассмеялся.

— Ты чего, чего ржешь-то? — беспокойно спросил Тяпышев.

— Так я тебе и сказал, где ночевал, — отшутился Полинаха и тут же исчез за перегородкой.

— Женушка твоя коли приедет из города? — на всякий случай спросил предусмотрительный Тяпышев.

— У нее спроси. Адрес дам — спроси ласково, мне потом скажешь.

— Да-а, нынче бабы что хотят, то и воротят, куда хотят — туда и едут. А наш брат домовничай, — медленно, с растягом говорил Василий, чтобы не сидеть в пустой тишине. — Шевелись, Полинах. Времечко летит. Лишнего не придумывай, неси по куску хлеба да по картофелине.

Полинаха, привыкший все делать обстоятельно, вынес на двух тарелках рядочки ломтиков копченого сала, лучок с огурчиками, мясцо отварное и картошку жареную, а при ней мелкие грудочки — синеватые кругляши, искусно приготовленные.

— Нам спешить некуда. Посидим, старииков помянем, — рассуждал Крупинов, наводя порядок на столе, а сам думал про

недавний сон, о тревожном утреннем предчувствии. — Ты раздевайся, снимай пиджак-от.

— Теплее в пиджаке. И по фасону. Приличие, значит. — Василий придвигнулся к столу. — Культура, нагляделся на этих культурных. И зачем они по деревенскому безлюдью теперь ездят, чего еще добирают?

— Ездят, им все надо. Новый подъем Нечерноземья начался, видать, землю начинают расхватывать. А ты уши прижми и помалкивай, тебя не спрашивали и не спросят. А вякнешь — оглоушат... Чего ждешь-выжидаешь? Разливай, если принес. Это нам пока разрешают, это зелье, пожалуйста, только потребляй — быстрей подохнешь.

— Ну, ты не груби, Полинаха. Ты ведь не такой. Да и грешно сегодня серчать. Сперва не об том наша дума-печаль. — Василий осторожно наполнял рюмки — те, что только по большим праздникам на стол выставляли, небольшие они, аккуратные, на тонких ножках. — Григория Митрофановича да Серафиму Павловну, Терентия Леонтьевича да Любовью Захаровну грешно не помянуть. Терпеливые были при всех бедах. Совесть имели...

— Поработали старики. И прощать могли. До последнего часу в заботах. Мама говорила: вот подниму ребят, выпихаю в люди, погляжу, как в жизнь наладились, тогда и помирать можно. Восьмерых подняла. На войну трое пошло вслед за отцом... А дождалась одного Полинашку.

— Любовья Захаровна с ней в одном поле, на одной пахоте, в одних оглоблях. Под одной тучей... Земля пухом и вечная благодарная память...

Аккуратно, с вилочек, закусывали, вытирали губы бумажными салфеточками, как в былой хорошей столовой.

— Да-а, подумаешь: может, так-то нас некому будет помянуть. — Тяпышев достал заграничные яркие сигареты, но сморщился и закуривать не стал: очень хотелось при такой выпивке махорки обыкновенной или крепкого самосада, того самого, под который, бывало, лучшую грядку выделяли на своем огородце. Гордость и достоинство давал домашний табачок.

Казалось мужикам, что раньше все было ароматнее, крепче, приятнее. Прошлое стойкими запахами возвращалось к ним с памятных грядок, с лугов и пашен, из зарослей липняга, из оврагов и березовых перелесков, от старых отцовских изб, амбаров и банек, от овинов, конюшни, кузницы, даже от первого трактора, который, проезжая деревней, начадил на целый месяц. В прошлом и морозы были ядреней, и снегопады обильней, и грозы страшней. И общие гулянки песенное согласие давали.

В напряженной тишине они оба отчетливо слышали неровное тиканье: часы словно бы прихрамывали в медленном шаганье по остаткам житейского времени.

Тяпышев надумал преодолеть тягостное молчание, взмахнул усталой рукой и выбрался из-за стола.

— Играй, Полинаша, плясовую, если гармонь не рассохлась! — Достал хромку с шифоньера, вручил приятелю. — Играй веселей!

Он распахнул великоватый пиджак, вздернул коверканую бровь и начал дробить, не дожидаясь, когда гармонист приладится с мелодией. Лихо плясал — и на это мастер Тяпышев. Так плясал, что стены дрожали, стаканы с квасом волновались на столе и переборка ухала.

Позавидовал гармонист — и ему дробить захотелось.

— А теперь для меня играй! — разгорелся Полинаха. — Мы тоже можем.

Тяпышев согласился, но поставил условие, зная, что Крупинов по-хорошему петь не умеет:

— Только с приговорочками, понял? Начали!

Полинаха топчеться на месте — ловит мелодию, подбирая частушку:

В Костромиху мы ходили,  
Ой, не показалось:  
Там всего четыре девки —  
Нам и не досталось.

— Правильно, правильно! Совершенно верно! А парень молодой, оченno примерный! — выкрикивает Василий, встряхивая плечом.

— Не части, Вась. Под ногу подлажайся, а то издергаешь натуру.

— Топай, парень, смелей. Топай да частушки встреливай.

— Спою, когда на ум придет.

— Пройдемся в нашу сторону, по всему волоку гаркнем!

— Давай врежем, как бывало. — Тяпышев был когда-то мастаком водить ватаги под хорохристое пение. И запевать умел. — Эй, го-во-рят, что запретить по этой улице ходить... — он выиграл витиеватый перебор, снова скособочено рванул гармонь во всю ширь. — Иэ-эх, стены каменны проблем — по этой улице пройдем!

Полинаха так же напористо и широко вышагивал рядом, расправляя грудь, вскидывая сжатые до белизны кулаки, выкрикивал нараспев:

Эх, пройдем и пропоем...  
Пробивали, проходили  
Мы с товарищем вдвоем!

Бодрое пение придавало сил, частушка объединяла, роднила, как братьев, и возвращала им давнее ухарство, разгульный азарт. Сами себе они казались моложе, увереннее, будто все еще впереди. Свое слово, русское, от которого они вроде бы начали отыкать под натиском телевизионной говорильни, родное вольное слово очищало душу. Простор, знакомый и ласковый, раскрывался перед ними, заманивал дальше и дальше на лесное взгорье. Теперь мужики не спорили, кому первому запевать, само собой получалось чередование. Разыгралась гармонь, распелась душа.

Солнце скатилось за дальние хвойные гривы, но небо озарено ровным ласковым светом. Ни единого облачка на нем, ни единой паутинки. Во всем мире будто бы тишина и благодать, только и слышишь собственное дыхание. Кажется, не идешь, а паришь над дорогой. Вот так же в детстве бывало: вдруг окрылит какая-то легкость, ни с того ни с сего нахлынувшая радость, и трепетно смотришь вокруг, все узнавая, понимая, любя.

Мужики не спрашивали друг друга, куда и зачем идут, не успели заметить расстояние, которое миновали. Кирзовыесапоги стали скороходами, помимо хозяйской воли несли над лужами, иногда отражающими розоватость заката, над глубокими тракторными колеями, над развороченными мосточками и даже над окраинным осиновым лесом, за которым начинались забытые поля. Друзья легко и незаметно прошли весь волок, не успели ни о чем обстоятельно поговорить. А выкатили в простор и встали, чтобы отдышаться, оглядеться.

— При такой земле как жить дальше? — вдруг спросил Полинаша и тем самым остановил, словно вожжами одернул, шагнувшего вперед Василия.

— О чём это ты? — Тяпышев притворился непонятливым — это он умеет, пройдоха. — Опять, что ли, вспомнил, как ехал в телеге без колеса? Ай, пропадай моя телега...

— Про жизнь нашу. Отчего она пошла кое-как, не прямо, а зигзагами обманными по чужому хотению. Отцы-то деревню на кого оставляли? А мы что? Что с ней, с Костромихой, сделали? Предали — и все! Не притворяйся, что не чуешь своей вины.

— Вина, конечно, есть. Но чьей больше — тут подумать надо: правители дров наломали или мы дуг нагнули? Не к месту ты, Полинаш, заладил опять. Неуж для этого собрались.

— Отцвели медовым цветом липы в папином саду... Здесь была деревня где-то, но никак я не найду, — уныло пропел Кручинов.

...Через час, может быть, полтора, в минуту горького отчаяния-недоумения вновь прислышился Тяпышеву этот печальный с хрипотцой голос друга, земляка и ровесника. А пока они, присмирившие, отдыхающие, сидели перед туманным полем, будто

поджидали кого. Осторожный вяхирь (эти птицы с давних пор все еще гнездятся в низинном березовом закрайке) окликнул вчернью зарю глуховатым «гу-гру-у-гу», а потом, помедлив, еще повторил зазывание, но оборвал его шумным вздохом. Низко пролетели к пойменным озерам две утки, посвистывание крыльев вторилось над лесом — будто бы все летит и летит огромная стая. Удивленный вяхирь снова повторил свое «гу-гру-у-гу».

— Слыши, чего говорит? — Василий снял кепку — мешала прислушиваться. — Вот, слыши: Васюта-дурак, живешь ты не так.

— И мне про это сказал. Не нам уже перекраивать нажитую неперспективность деревенскую.

— Напридумывали всего мозгари да умники. Ну их... Пойдем в свою деревню... — Полинаха, извернувшись, глянул в сторону Костромихи. — В отцовском доме за столом возле печки посидим-погорюем.

Усталые, обшлепанные грязью, выкатили они, как тяжело раненые, на взгорок и долго смотрели издалека на смутно, словно сквозь матовый лед, едва видимые постройки.

Туман еще не скатился по оврагу к реке и мешал разглядеть былую Костромиху, скорее она предполагалась в воображении: стройная еще, жилая, с липовой аллеей вдоль порядка домов. Тяпышев слабыми глазами, конечно, ничего не видел, а только представлял, как дома-то стоят на возвышине. А Крупинов обгладил похолодевшее лицо, сам себе не веря.

— Что такое? Вроде забор тесовый белеет?

И вдруг оттуда, из деревни, резануло пучком света.

— Рыбаки небось машину ставили, — предположил Тяпышев. — Бригадами наезжают...

— Гляди, в избе-то во всех окнах свет разом. Как же это? Ведь амбарный замок повешен, избянью дверь поперечиной заколачивал. — Вспомнилось Крупинову, как прибирал последний раз все, что в доме оставалось, надеясь на сохранность: может, еще дачного житья лето придет.

— Не Анна ли тайным манером здесь, — гадал Тяпышев. — Твоя на машине попутной с кем-нито проехала. И моя не зря долго не заявлялась. Бабы, они тоже придумать могут.

— Не эти ли залетные разведчики? Уж больно вроде бы людно да шумно там. Хозяйничают по-наглому в деревне-то нашей.

— Ай, поглядеть спешно надо. Ну-ка, живо туда!

Побежали под гору, спешили луговиной, да выдохлись быстро. Отсюда, от реки, за полосой тумана деревня как бы отдалась, а крайние дома оказались огромными, так и заслонили всю улицу — ничего не видно, будто и не было там белесого забора и яркого света. Только отсветы промелькивали. Высокие въездные ворота, перекошенно склоненные от деревни, только

и углядел Василий. Сдернутая от столбов верея, расщепленная, растрепанная гусеницами, лежала поперек дороги.

— Смотри, перешагивай!

Но предупреждение запоздало: Полинаха со всего маху саданул ногой во что-то упругое, похожее на проволочную лосиную петлю, приклонился, но не упал. Он не пожаловался, что сильно царапнуло, — до того ли, а чувствовал, как штанина распахивается, выстручивая бледную наготу колена, хлюпающее голенище размазывает что-то липкое, может быть, кровь.

Тревога за родные дома, за всю деревню бесхозную одинаково подталкивала мужиков, но все же Полинаха отставал. Тяпышев всегда был поворотливее, напористее, характером другой и здоровьишком покрепче, война наградила его одним ранением, а Крупинова в трех местах прошила осколками, в госпитале едва выжил. Пока молодость свое брала, с натугой не уступал дружку-приятелю ни в ходьбе, ни в работе, теперь уж трудно вытягиваться наравне — все догонять надо.

— Сгоряча не ставь порядки! — крикнул Полинаха, боясь, что Василий нестерпит, кто бы там ни был, не сробеет, когда правда за ним, начнет самоуправничать.

Тяпышев взбежал на взгорок и осталенел: невероятное творилось в Костромихе — по предчувствию вышло.

— Как знал, вот они где, субчики-голубчики.

— Кто тут? — Полинаха еще копошился, карабкаясь по скользкой траве на четвереньках.

— И не понять... — Василий в полуприседе из-под руки глядел вдоль деревни. Свет от машины или трактора высвечивал вместо липовой гряды два ряда белых столбов, только около крайнего пятистенка по-прежнему шатром темнели рослые липы. Но и к нем — отчетливо видно против закатной неостывшей стороны неба — приближалась огромная клешня. Тяпышев сразу сообразил, что к чему, и все-таки поджидал Крупинова, чего-то бормочущего про свое верное предчувствие, про сон о строительстве деревни и теперешние чудеса.

Впереди скрежетало, ворочалось, взвизгивало. Огромная клешневидная захватущая рука замахнулась над вершинами, лязгнула, проринаясь через ветви книзу по стволу дерева. Дзинькнул, прошипел пильный диск. Словно взмахнула прощально крылом подбитая огромная птица, перекошенно падающая в темноту. Дерево оторвалось от земли, накренившись, проплыло над крышами, с тяжелым шумом исчезло. Железная рука снова взметнулась наизготовку...

— Ай, что творят! Обдирать эдак приспособились, — уже не голосом, а срывающимся хрипом едва выговорил Тяпышев, рьяно выдергивая кол из поваленного на крапиву забора.

— Ай, что творят! — повторил Крупинов. — Липы обдирают... корьевщики — ммо-ччаль-нни-ки! — Кольнуло, заныло в груди, глаза еще сильней притуманились, и он шагнул вперед незряче, почти механически подражая Тяпышеву, на ощупь искал, чего бы пострашнее взять в руки. Подвернулись ржавые с одним отломленным рогом вилы. Выхватил эти вилы из бурьяна, устремленно — откуда и силы взялись — побежал против нахального света. Он бежал на самоуверенное чудовищное урчанье барахтающихся в темноте машин, еще не зная, что будет делать...

### 3

Воскресным утром молоденький участковый, еще непривыкший к новенькой форме, прилежно разбирал происшествие, случившееся по вине местных скандалистов. Он записал в бумагу все, что считал необходимым; было тут и про чужую залетную бригаду, которая дерет липовое корье, укладывает его на вымочку в озерины — для чего заготовители пригнали за реку Межу трелёвочный трактор, валочно-пакетирующую машину и два грузовика-самосвала; разрешения на заготовку ни корья, ни мочала, конечно, у них не было. Ни в леспромхозе, ни в лесничестве они не докладывались.

— Такого-то числа во столько-то часов, — прилежно и важно читал участковый, — бывшие местные жители Крупинов А.Г. и Тяпышев В.Т. явились в Костромиху, увидели незнакомых людей за работой и устроили скандал. Гражданин Тяпышев с целью нападения толкнул первого встречного рабочего Сидорова, который был выпивши и настырно преграждал путь. Тяпышев замахивался длинной палкой на тракториста Завальнова, но не ударил, а просто хотел приугнуть. Соучастник гражданин Крупинов никому из людей не угрожал, но вилами тыкал в тракторные гусеницы, разбил черенком вил фару при повороте, нацеленном и на стоящий поблизости автомобиль марки «Волга» (цвет морской волны, номер КОП 00-06), а также грозился выбить лобовое стекло у другой легковой автомашины иностранного производства — на стекле обнаружены три характерные трециины.

Аполинарий Григорьевич согласился со всем, что было прочитано важным голосом. Пришлось стыдливо клонить голову, чтобы не встречаться взглядом с молоденьким милиционером, которого он так и не разглядел. То и дело приглашивал чувствительно встопорщенные на затылке волосы, поспешно кивал повинной головой, подтверждая свое скандальное поведение, мол, так оно и было, как написано. Правда, проставленная сумма причиненного ущерба показалась слишком большой, на целую корову насчитали, да куда деваться, если своя вина очевидная.

Василий Терентьевич вел себя иначе: гордился своими фронтовыми отмечинами, выставлял себя правым, называясь последним и единственным патриотом-защитником отчей земли, где родился и без штанов бегал. Дело свое считал правым: кто-то должен остановить это нашествие обдиральщиков, хлынувших со всех сторон.

Но пухлощекий парень в строгой форменной одежде, совсем еще юноша, проявлял служебную настойчивость, требовал ответов:

— Почему под вечер пошли в Костромиху?

— Разве и родная деревня теперь для нас заперта наглухо? — взвился было Тяпышев, но осекся, не стал больше настырничать, потому что парень начал похмыкивать. — Кабы знать, когда обдиратели приедут, можно бы и воздержаться, дома посиживать, тоску придерживая, не давая воли сердцу. Приходится нынче терпеть, когда землю-матушку терзают и все былое походя втаптывают...

— Не надо, не надо разглагольствовать. Отвечайте, как положено.

— Я вот и отвечаю по правде. Другой манере не учен. Родительская суббота была. Или сам-то не знаешь? Отцов и матерей грешно не помянуть. Заслужили они нашей памяти. Ну, заодно и деревню родную помянули стопариком. Как же, русской деревне надо поклониться, немало за счет ее отстроено было по всем окраинам. Знать это и помнить следует. Может, до моих-то годов доживешь, тоже затоскуешь по родительскому одворью. Ты откудов будешь, милок? — Василий тяжело вздохнул, сморщился и приложил ко лбу ладонь, потому что бровь опять задергалась.

— Это мое личное дело, гражданин. Я — на службе, при исполнении.

— Милок, не горячись. Ты деревню-то назови свою, не повредит лишний раз достойную повеличать. С Липова родом? Я ведь по обличью определяю — Степана Архипова внучек? Так, нет?

— Откуда знаете? — удивился парень.

— Да как мой отец с той деревни. Тяпышев Терентий Леонтьевич, кузнецких дел мастер. А дедушка твой у него в подручных лет пять стоял до войны-то. Вишь, как получается: земляки мы с тобой. Твоя деревня живет, а моей уже нет. Липы и те налетчики схряпнули. Отцы наши посадили, а они, обдиральщики подные... целую рощу, можно сказать, ради своей выгоды, только пенечки высоченные остались. Вон дружок мой пригорюнился на скамейке. — Василий Терентьевич подошел к окну. — Ты думаешь, одну рощу липовую жаль? Не только это печально.

Совесть у него болит, память у него плачет. Ты пиши, пиши, сынок, раз надобно фиксировать, работа твоя такая. Мы тебе по правде оба говорим, выхитривать не станем: что было — то было. Разбирайтесь, кто прав, кто виноват. Была бы деревня жилая — хапуги, может, и не посмели бы, только нынче все без совести творится, везде разор кому-то в угоду. Дак могу идти? Свободный теперь? А можно вопрос без протокола?

— Ладно, говорите, что там у вас еще, — снисходительно позволил парень.

— Сынок, ты местных жителей хорошо должен знать, нашу откровенность цени. Отец твой в Костромихе гостили, бывало, и кузничил не раз. Он подтвердит небось, какие мы на самом деле скандалисты. Они, эти ухари, угощали меня на дороге, да... Угощали, да пить не стал — что-то не понравились они мне сразу. Не зря меня воротило от ихнего конъячного духа. — Василий встряхнулся озабочено. — Верлиока этот наглый... Клоп вонючий...

— Когда, где, при каких обстоятельствах угощали? — ожидался участковый. — Почему людей клопами, кровососами называете?

— Не было никаких обстоятельств. Обычное дело — дорога. Сестру тогда провожал. Попутка попалась — ну вот и подвезли. Я еще им проезды растолковывал. Теперь сдокументил: как и что, почему они нюхательный разговор вели про лекарственное и прочее сырье. Плюнуть бы тогда на таких попутчиков, а я раздобрился, дорогу обсказал. Простота наша — хуже воровства: кто кровь сосет — тому и служим.

Молодой милиционер не перебивал, даже несколько раз поддакнул чему-то: так, мол, так, дядя Вася, очень хорошо понимаю, будем разбираться.

С наивным облегчением уходил от него Тяпышев. На волю выкатил и, стоя на крыльце, оглядел окрестности. Друг-приятель, робкий земляк, сидел в ожидании на скамейке. Он глядел на серую поселковскую улицу без единого деревца и, наверно, думал о траве, которая каждый год при любой погоде растет.

— Не боись, — сказал Тяпышев Полинахе. — Мы тут, выходит, все земляки. Степана Архипова внук, оказывается, бумаги пишет на последних в этих местах скандалистов. Потерпим и в скандалистах. Что было — видели, что будет — увидим. Пока живы — все видеть надо.

— Я вот, Василий, думаю... Чего меня перед ихней длинной машиной остановило вдруг? Ты видел, нет ли?.. Светом выхватило на переднем сиденье иконный лик... Тут и осекся, осталбенел в замахе... Божья матерь... Для чего-то поставили эту икону большую при таком промысле...

— Нам с тобой этого не понять, Полинаша. Теперь так повелось.

— И все, значит, можно? Не страшась? На неправедное дело пошел — иконой оборонись и твори что хочешь?

— Не у нас надо спрашивать. Есть на то главное правители. Наше дело — стыд за все, что творится. Стыд и виноватость непростительная. Душа в разоре таком...

— А ты не горюй. Кому от нашего горевания легче станет? Только разорителям. Пошли отсюда. И за улыбку привлечь могут. Молодчик-то упредил меня: не улыбайтесь, гражданин Тяпышев!

— Оно и понятно. — Крупинов в болезненной медлительности кое-как расправился, последовал за Василием.

По необъяснимой бесцельности опять вышли за поселок, но не в сторону родной Костромихи — туда путь отрезан, а к заречному кладбищенскому взгорью. На реку они двигались пока, обходя заболоченную старицу, через которую когда-то ладился навесной мосточек. Мосточка не оказалось — давно порушен, да только сейчас спохватились мужики, вспомнили об этом: могли бы ведь и сами восстановить переходы там, где они надобны.

Силенок оставалось все меньше и меньше, от усталости пошатывало. Куда, на какое дело пойдешь при такой слабости в туманную погоду. Старицу миновать не смогли. На валежинке возле зеленой стоячей воды примостились отдохнуть, сидели плечом к плечу. Угнетенные безысходностью не замечали сеянья вкрадчивого нудного дождика. Курить не хотелось. Ничего не требовалось. Ничего. Ни надежды, ни покоя, ни воли. Ни смысла жить.

— Не с кого спрашивать, — произнес Полинаша, и голос его был юношески чист, без печали-тревоги.

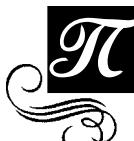
— Виноватого Бог сыщет, — так же легко сказал Василий.

— Не с кого спрашивать — и не спрашивай, а то сочтут опасным патриотом.

— Так оно, так. Сквозь последние слезы улыбнемся на прощание. Вот и все. Одно осталось: с прощальной виноватой улыбкой — в последний путь.

Неотделимые от этой земли, долго сидели они во всеохватной задумчивости, будто забытые и ненужные никому.

## АЛЬПРАХТИНА



Ервая чукотская весна обрушила на Игоря Алабина много неизведанного. Бессонный, ошелевший от нескончаемого дня, бродил он по сухой галечной косе, любуясь серо-голубым сиянием льда на скованном заливе, взбирался на сопку и караулил мгновение, когда солнце коснется горизонта и легко, словно воздушный шар, поплынет от коричневой тундры к синему небу.

И не один Игорь — вся молодежь поселка сна лишилась. Час ночи, а на волейбольной площадке возле клуба гудит от ударов тугой мяч, мечется над сеткой. А пробьет блок ловкая рука — и взорвется воздух ликующими криками. Редкий житель не вздрогнет во сне, не перевернется на другой бок, неразборчиво ругнувшись.

А в домах, обступивших площадку, отмахнутся в окнах шторы и задребезжат стекла под ударами гневных кулаков. Болельщики затихнут, но ненадолго... И все повторится. Игорь в волейбол не играл, смотреть подолгу, как играют другие, не мог и уходил из поселка.

### 1

Направляясь однажды на сопку Верблюжку, прозванную так за двухолмную вершину, Игорь приметил впереди себя девушек-чукчанок.

Догнал и пошел рядом с той, которая была выше и стройнее.

— Гуляем? — спросил, слегка робея.

— Гуля-а-ем! — пропела девушка и, повернув голову, посмотрела на Игоря. В ее сплошь черных,очных глазах промелькнуло смятение и радость.

— Ой, Маша! Тебе повезло! — восхликала вторая девушка и, оставив подругу с Игорем, рванулась вперед.

— Укутлю, ты куда? — паническим, перехваченным голосом окликнула ее Маша и едва не бросилась догонять. Игорь придержал ее за локоть.

— Пожалуйста, не убегайте от меня. Прошу вас. Мне скучно!

— Да-а? Неужели? Вот бы не подумала. — Девушка посмотрела на него с недоверчивым удивлением.

— Почему? — рассеянно спросил Игорь, следя за улепетывающей от них Укутлю.

Маленькая, кругленькая, она словно катилась, быстро переступая короткими ножками в белых туфлях-лодочках.

Каблуки у них были стоптаны начисто, и лодочки при каждом шаге давали крен—ложились на землю всеми бортами.

— А может, она вам больше понравилась? — напрягся голос Маши.

— Ни в коем случае. — Игорь потряс головой и с любопытством взглянул на спутницу. Кожа на ее пухлых скулах натянулась и подрумянилась. Удлиненные глаза прикрылись черными ресницами.

— А зачем со мной гулять хочешь? — спросила она.

— Ну как зачем, — заулыбался Игорь. — Хочу познакомиться. И тээ и тэдэ. Продолжение следует.

— Обманываешь, наверно?

Игорю стало жаль ее.

— Честно. Могу поклясться. Любовь с первого взгляда! — выпалил он и хотел обнять девушку.

Маша в испуге отшатнулась. Выкрикнула резко, с надрывом:

— Не ври! Все вы так говорите! Сначала!

Игорь смешался, заглянул ей в лицо. Оно побледнело, глаза сверкали дьявольски.

— Простите, Машенька. — Игорь приложил руку к груди.

— Я не ожидал, что вы такая... — Он хотел сказать: дикарка, но вовремя спохватился и выпалил: — Гордячка!

— Ага! Гордая! — согласно кивнула девушка. — Очень. Надо быть гордой!

Она словно убеждала самое себя и, закусив нижнюю полную губу, косила на Игоря быстро теплевшими глазами. Несколько шагов они прошли в неловком молчании.

— Вы учитесь или работаете? — поинтересовался Игорь, чувствуя себя виноватым перед девушкой.

Оказалось, Маша Альпрахтына — студентка второго курса педучилища народов Крайнего Севера.

— Трудно учиться? — спросил Игорь, проникаясь уважением к девушке.

— Ага, трудно, — серьезно кивнула Маша и бросила на спутника взгляд, полный достоинства.

— И все-таки мы погуляем немножко, да? — Игорь ласково заглянул в лицо девушке.

— А что мы делаем? — рассмеялась она и взяла его руку, крепко пожала. — Только болтать не надо. Про любовь с первого взгляда и все такое. Ты и так красивый.

— Скажешь тоже! — Игорь покраснел и почувствовал себя счастливым.

На выходе из поселка желтели свежими бревнами срубы строящихся домиков рыбколхоза. Напротив, через дорогу, голубели вагончики нефтразведки. В крайнем жил Игорь.

— А я знаю, где твой ярак, дом, — сказала Маша и мечтательно улыбнулась.

— Откуда? — подивился Игорь.

— А вот не скажу... Знаю, и все. — Скуластенькие щеки девушки густо завишились. Она коротко взглянула на спутника, и Игорь задохнулся от этого упорного, какого-то яростного, огненного взгляда.

— А вот и не знаешь. Только так говоришь. На пушку берешься, — подзадоривал он.

— Да вот тот, самый крайний. Ты около него кукуль выбивал. Я видела. И тебя я давно знаю. Всю зиму в летчиковой шапке ходил, — выпалила Маша, не взглянув на Игоря. Он поднес к губам руку девушки и поцеловал.

— О-о-о! — пропела она и посмотрела на Игоря благодарными глазами. — Неужели верно?

— Что? — спросил Игорь.

— Влю-бил-ся? — медленно, завороженно прошептала Маша, не спуская с его лица чутких, настороженных глаз.

— Еще как, — прошептал Игорь и хотел снова поцеловать ее руку.

— Не здесь, — застыдилась она и кинулась к вершине сопки, с силой и страстью увлекая за собой Игоря.

Держась за руки, они взлетели на один из горбов Верблюжки и, тесно прижавшись друг к другу, усмиряя свистящее дыхание, сошли в уютную седловинку между горбами, устланную изумрудным, пуховой мягкости мхом, с блюдечком крохотного голубого озерка посередине. Не сговариваясь, опустились друг перед другом на колени и обнялись.

Негромкое кхеканье послышалось на горбу сопки. Игорь вздрогнул и оглянулся: над ними стояла Укутлю и безглазо улыбалась во все широкое плоское лицо.

— Однако, тут нельзя. В тундре преподаватели гуляют. Близко, — пропела она и пошла в сторону поселка.

Игорь и Маша поднялись с колен.

— Прости меня, ненормальную. Я давно тебя полюбила, — тихо проговорила девушка, стоя с низко опущенной головой.

— Ну и хорошо! Я тебя тоже. Только сегодня, сейчас, — улыбнулся Игорь и погладил Машу по волосам. Она подняла голову. Глаза ее увлажнились и заблестели, словно их черная смола растопилась и отмякла.

— Пошли?

— Пошли!

Они взялись за руки и поднялись на горб Верблюжки. По дороге к поселку ковыляла непоседливая Укутлю. Часто оглядываясь, показывала Маше, что кавалер у нее замечательный, на «большой палец».

— Потешная у тебя подруга, — покачал головой Игорь.

— Ага! Зато верная. Самый верный друг мне! — с гордостью произнесла Маша.

— Тоже студентка? — поинтересовался Игорь.

— Нет. Работает в столовой, — уже без гордости поведала девушка.

Он проводил ее до общежития.

Взбудораженный, осчастливленный, пошагал в свой вагончик. Лежал на койке одетый — скоро нужно было вставать на смену — и не мог заснуть от большого волнения. Вспоминалось, как шутили родные и друзья дома, когда собирался ехать сюда на Чукотку:

— Смотри, Гоха! В какую-нибудь чукчаночку или эскимосочку не влюбись там. Они красивые на картинках.

И это случилось. И он был рад.

## 2

У Игоря началась новая жизнь — хлопотливая, тревожная и радостная. Отбыв смену на буровой, он мчался на гусеничном вездеходе в поселок. Мылся, чистился и бежал на Верблюжку. Маша сдавала экзамены и забиралась на сопку готовиться. Завидев Игоря, вскакивала и спешила навстречу.

Он протягивал девушке руки. Маша повисала на них и роняла тетради с конспектами. Оба опускались на колени подбирать и целовались, скрытые высокой травой от любопытных глаз студенток. Потом брали на вторую бухточку. Так назывался уединенный заливчик по другую сторону Верблюжки. Склон сопки круто обрывался над морем, и было жутко смотреть вниз, где резвые волны, совсем недавно взломавшие и расшвырявшие по берегам лед, с шумом накатывались на черные клыкастые камни.

Вдоволь нацеловавшись, сообща принимались за науку. Маша рассказывала, Игорь следил по записям. Идиллия длилась недолго. Стоило девушке запнуться, а ему подсказать, и губы Маши вытягивались трубочкой, глаза превращались в щелочки.

— Не буду больше учиться. В тундру уеду. К олешкам! — в горькой обиде выкрикивала она.

— Ты что? Сдурула! Так хорошо рассказывала, — пугался Игорь.

— Конечно. Я знаю. Тебе лучше ученая!

— Точно. А как же? — хохотал Игорь и валился на траву, обнимал Машу, целовал ее холодные руки.

Она быстро сдавалась на его ласки, успокаивалась. Веселила, забывала свои обиды. И они снова брались за конспекты. Это походило на детскую игру — шаловливую и увлекательную. Но все чаще Маша прерывала рассказ без всякого повода и глубоко задумывалась. И не об экзаменах — догадывался Игорь.

Не мигая, смотрела на залив, по которому сиротливо плыли с верховий рек одинокие бело-голубые льдины, и чему-то потаенно улыбалась. Игорю казалось, Маша уходит от него далеко-далеко. В свое прошлое, а может, и будущее. Уходит без него. И от этого на душе становилось тоскливо и пусто. Игорь начинал тормошить ее, возвращал в настоящее. Однажды, очнувшись от дум, Маша взгляделась сузившимися глазами в лицо Игоря, спросила, растягивая слова:

— Ска-жи. Ты лю-ю-бишь ме-еня?

— Очень, — признался Игорь.

— Тогда не зови так, Машей. Альпрахтыной зови. Как меня мама дома зовет, — мягко улыбаясь и розовея, попросила она.

— Вот оно что. Пожалуйста. С превеликим удовольствием. Мне тоже больше нравится Альпрахтына, — обрадовался Игорь и полюбопытствовал: — А как ты Машей стала?

— Когда нас маленьких привозят в школу, в интернат, русское имя записывают, а наше, тундровое, фамилией делают. И тоже записывают. Валюмеркен? Понимаешь?

— И-и-и! Конечно, — с наслаждением протянул Игорь чукотское слово из тех немногих, которым успела обучить его Маша, — Альпрахтына. Все. Теперь ты для меня только Альпрахтына! Альпрахтыночка-милочка.

Игорь тихо засмеялся и обнял девушку, стал целовать ее волнующие мягкие губы. Альпрахтына отстранилась.

— Ты меня потом разлюбишь, когда уезжать от нас станешь, да?

— Что ты, Маша, то есть Альпрахтыночка моя! — горячо заговорил он. — Мне еще два года здесь загорать. Договор у меня на три. Как раз ты училище закончишь. Двинем вместе на материк. Ко мне на Рязанщину поедем. Можно в отпуск, а можно и на совсем. Домик там в деревне купим. Чай, за три года заработаю кое-что. Не пустым возвращусь. — Игорь сам не верил своим словам, побоялся, что и Маша поймет это, и начал целовать ее.

Альпрахтына ответила такими бурными, неистовыми ласками, что через несколько минут Игорь лежал, распростертый на траве, в полном изнеможении, смотрел на приводившую себя в порядок девушку сквозь счастливые слезы и совестливо думал, что любить его так безоглядно и откровенно навряд ли кто еще сможет. Поймав его взгляд, Альпрахтына улыбнулась ему нежно и преданно, погрозила пальцем.

— Смотри, не обманывай, а то с этой скалы вниз брошусь. На камни. — Она приподнялась на коленях, вытянула смуглую шею и нависла над обрывом.

— Ты что! Чокнулась? — Игорь сел и схватил ее руку. — Об этом и думать забудь! Слышишь?

Глаза Альпрахтыны вспыхнули радостью.

— А что? — пропела она, кокетливо поводя плечами. — Это место у нас скалой Любви зовется. Здесь одна чукчанка уже бросилась. Насмерть разбилась. Ее один морячок разлюбил. Давно, правда. Но это и повториться может. Если сильно полюбишь. — Альпрахтына нагнулась, пошарила рукой в траве и сорвала маленький алый, как капля крови, северный цветок. Поднесла его к глазам Игоря. — Говорят, после того случая здесь эти цветы стали расти. «Разбитое сердце» зовутся. И похожи, правда?

Игорь пригляделся к цветку. На слабой изогнутой ножке, сплющенный, он точно имел форму плоского раздвоенного сердечка. Игорь потянулся к нему носом.

— А он не пахнет, — конфузливо хихикнула девушка.

— Забыл, — вскинулся Игорь. — У вас здесь, на Севере, цветы без запаха, девушки без любви, сто рублей...

— Ах так? Да? Без любви? — Альпрахтына, выронив цветок, кинулась к Игорю, вцепилась сильными пальцами ему в горло, опрокинула на спину и впилась в его приоткрытый рот страстными губами.

\* \* \*

Черный день подкрался неожиданно. Игоря вызвал к себе начальник нефтегазодобывающей партии Аскаров. Чисто выбранный, в белой рубашке с черно-красным галстуком, он сидел в кабинете за столом, скрестив на перекладине ноги в хромовых сапогах, и смотрел на вошедшего бурильщика усмешливыми глазами.

— Ну что, Алабин, и тебя весна раскачала? За молоденьками девочками стал охотиться? Так, что ли?

— Это вы о чем, Михаил Асанович? — затосковал Игорь.

— О твоих любовных похождениях, дорогой! — напряг голос Аскаров. — Из педучилища звонили. Студенточку их с пути истинного сбиваешь. На кривую дорожку толкаешь. Ночи с ней в тундре проводишь. Я тоже видел. Обзор из моих окон хороший. А ей экзамены сдавать нужно. Вчера, говорят, провалила один.

Игорь почувствовал, как кровь приливает к лицу, накаляя щеки и уши.

— Я понимаю тебя, Алабин. Лично. По-мужски, так сказать. Молодой, кровь горячая. Играет. Выхода просит. Вон как в лицо кинулась. — Начальник окончательно смущил Игоря и заговорил с досадой в голосе: — Только на кой черт ты на рожон выставляешься? Людям глаза мозолишь. Втихую, с оглядкой надо действовать, дорогой.

— Может, я люблю ее! — выпалил Игорь.

— Да? — Черные брови начальника вскинулись вверх. — Может. Только ненадолго. Поиграешь и бросишь. Видел я здесь таких. И немало. Десятый год на Севере. Насмотрелся всякого. Спорить не стану: девушка красивая. Но ведь на материк, до мой, к матери не повезешь такой подарочек? Здесь тоже не останешься. Вот и конец твоей любви. А девушке учиться надо. Жизнь свою устраивать. Понял?

Игорь не ответил. Стоял посреди кабинета с низко опущенной головой и крутил в руках кепку, пристально ее рассматривал, словно впервые видел.

— Иди, Алабин, и заруби на носу: еще звонок будет или я сам тебя засеку с этой Машей Альпрашой — сразу полетишь на девятую буровую. За полтыщи верст отсюда. Как морально неустойчивый. Потом сам мне спасибо скажешь.

На тяжелых ногах приволокся Игорь к себе в вагончик и рухнул на койку. Замычал, закусил угол подушки. Лететь на девятую буровую в голую тундру не хотелось. Порвать с Альпрахтыной было выше сил. Оставалось одно: уйти в подполье.

Вернулся из столовой сосед по вагончику Паша Козлов, буровой мастер. Человек, твердо решивший все три года на Севере отдать одной работе.

— Ну, с чем на ковер вызывали? — вяло полюбопытствовал, опустился напротив Игоря на свою койку и нога о ногу стащил сапоги. Улегся, ждал ответа. И не дождался. — А я и сам знаю зачем. Из-за чуканки. И правильно начальник делает. Зря ты все это затеял. Нешто повезешь с собой? Говорят, чукчи к теплу непривычные. Чахнут на материке. Да так тоже: в лес дрова не возят.

Паша замолчал. Через минуту-две выдал:

— Побаловаться, оно можно, конечно. Начальник сам не прочь. Я знаю.

И опять замолчал. Надолго. Даже всхрапнул. А потом спросил:

— Тут возле вагончиков две девушки ошибаются. Одна красивенькая. Не твоя случаем?

Игоря словно подбросило с койки.

— Дура большая! Олух царя небесного! — крикнул он мастеру и выпомился из вагончика.

На горбу Верблюжки маячили две женские фигурки. Та, что была поменьше, вскинула руку, манила ладошкой Игоря.

— Укутлю, — улыбнулся Игорь и зашагал на сопку. Но скоро повернул назад: наперерез по тундре двигался Аскаров, прогулливая собаку — крупную серо-белую лайку.

### 3

Рабочий день тянулся маятно, тоскливо. Все валилось из рук Игоря. Не закрепил как следует болты, когда наращивал бур, и его едва не сорвало, не захоронило в скважине. Паша Козлов отвел Игоря от гневных напарников, посоветовал:

— Полежи лучше. Отдохни. Покури вот.

И сунул в руки мятую, в темных пятнах машинного масла пачку «Беломора». Игорь побрел в тундру, жахнулся на торфяную зыбь, зарыл лицо в мягкий холодный мох. А он вдруг запах волосами Маши. Тоска по девушке вцепилась в сердце.

Он первым кинулся к подкатившему за рабочими вездеходу. Первым спрыгнул с него в поселке у чайной и побежал к себе в вагончик переодеваться. Весь вечер Игорь сначала метался по Верблюжке и второй бухточке, потом спустился в поселок. Несколько раз прошелся под окнами студенческого общежития, и все напрасно: Альпрахтына не показывалась. Игорь остановил спешившую в общежитие незнакомую студентку и попросил вызвать Машу. Студентка понимающе улыбнулась и с радостью кинулась выполнять его поручение. Однако вскоре вышла с постным лицом, унылым голосом поведала: Маша к родным ночевать ушла, к ней отец приехал.

Где живут родные Альпрахтыны, студентка не знала. Игорь повернулся от общежития. Пока шагал до вагончика, надумал, что делать завтра. Довольный собой, проспал ночь спокойно и беспробудно. Поднялся рано, легким и свежим, будто не страдал целый день. Вспомнил, с какой мыслью засыпал, и радость торкнулась в груди. Стал торопиться. Решил сразу идти к начальнику и отпроситься на день от работы для улаживания личных дел. Заодно подать Аскарову заявление о предоставлении жилплощади ввиду женитьбы. Игорь вообразил, какое лицо станет у Аскарова, когда он прочтет это заявление, и засмеялся.

— Ты что, уже совсем? — Паша испуганно выглянул из-под одеяла Паша.

— Спи. Может, во сне влюбишься — поймешь меня. — Игорь натянул на голову соседа одеяло и весело стрельнул дверцей. Он шагал к дому начальника по склону сопки. Жадно оглядывал бескрайнюю, распахивающуюся до горизонта тундру с ее болотами и озерами, ласково сверкавшими на солнце, с грядами сопок, с извибающимися речками и протоками.

Огромный незаселенный мир был перед глазами Игоря, и он теперь твердо знал, что всю жизнь будет осваивать его, искать и находить в его недрах богатства для людей. И для себя тоже. Но главное свое богатство он уже нашел.

Игорь оглядывался на ближний к поселку вагончик. Он временно пустовал. Молодая семья, жившая в нем, недавно улетела на материк, и, возможно, его отдадут им с Альпрахтыной. Оттуда она станет бегать в училище, помахивая ему портфелем.

Дом начальника партии стоял у первой бухточки, очень похожей на вторую: такой же обрывистый спуск к лиману и прекрасный вид на близкое море. Любил красоту Аскаров. А еще любил быструю езду... Внизу, у серой ленты отлива, дремал зеленый новенький «газик» начальника. На нем Аскаров отчаянно гонял по берегу в часы отлива. Других дорог для таких машин в тундре пока не было. Аскаров жил один — семью давно отправил на материк, и поэтому Игорь, не боясь обеспокоить его, поднялся на высокое крыльце особняка, толкнул дверь, и она, незапертая, подалась. Игорь зашел без стука и замер: у обитой kleenкой двери в комнаты лежала на оленевых шкурах собака — аскаровская лайка Белка. При виде чужого она зарычала, обнажив острые клыки, шерсть на ее загривке вздыбилась. Игорь ждал, когда собака залает, но она не лаяла, только рычала, и то сдержанно. Он увидел рядом еще одну неплотно притворенную дверь — она вела на веранду, отделенную от прихожей дощатой переборкой.

Оттуда можно поступать в стену Аскарову, сообразил Игорь и задом, не сводя настороженных глаз с собаки, впятился в веранду. Прикрыл за собой дверь и шагнул к бревенчатой стене. Взгляд невольно метнулся в сторону, где на раскинутой перед тахтой медвежьей шкуре стояли белые туфли без каблуков.

Игорь узнал лодочки Укутлю и перевел глаза на тахту: там кто-то спал, укрывшись с головой одеялом. Он шагнул к тахте и отбросил одеяло. Плоское лицо Укутлю расплылось в сладкой улыбке.

— Какомэй! Еттык! — поздоровалась она и села на тахте, блестя полными смуглыми плечами. — Вот как надо делать. Чтоб никто не видел. Я говорила Маше.

— Где она? Здесь? — Игорь кивнул на бревенчатую стену.

— Нет ее здесь. Она не такая, как я. Гордая. Не захотела с ним, — сказала Укутлю, продолжая улыбаться.

— Врешь? — не поверил Игорь.

— Нет, — испуганно замотала головой Укутлю.

— Все равно. Я ему покажу сейчас морально неустойчивого! Разнесу, как бог черепаху! — Исступленный, с перекошенным яростью лицом крутанулся от тахты.

— Не надо. — Проворная Укутлю впилась острыми пальцами в плечо Игоря. — Ищи Машу. Она учиться бросает. За ней отец приехал. На вельботе. Сейчас увезет в тундру.

— Где стоит вельбот? — Игорь повернулся к девушке.

— У чайной. Там, близко.

Игорь выскочил из веранды. Собака едва не вцепилась ему в икру. Он успел отпихнуть ее каблуком и захлопнуть за собой дверь. Сбежал с крыльца и приостановился, соображая, где короче путь до чайной: верхом, по склону сопки, или низом, по

полосе отлива. Глаз зацепил аскаровский «газик», и Игорь устремился вниз, к машине.

Пряником, минуя тропу, заскакал с выступа на выступ, осыпая камни. Они гнались за ним, наполняя расщелину грохотом. Самые быстрые настигали Игоря и больно били по ногам. Он не обращал внимания, боялся только упасть и безоглядно летел вниз.

Ключ торчал в зажигании. С рискованной скоростью погнал Игорь «газик» по песчаной ленте отлива. На поворотах машина заносило в тихую волну, вода шипела и фыркала. В узких местах Игорь прижимался к берегу. Галька под колесами скрежетала и разбрызгивалась в стороны. Берег наполнился криком испуганных чаек. Из палаток и торфяных избушек выглядывали обеспокоенные рыбаки, ждущие путины. Их пробные сетки в отлив здорово обсохли, покоились на песке, и машина иногда подпрыгивала, наскочив колесом на деревянный поплавок.

Напротив чайной покачивался на волнах вельбот, удаляясь от берега. В нем дергали шнур пускача, спеша завести мотор. Над бортом мелькнула голубая косынка Альпрахтыны, и сердце Игоря обмякло. Он остановил машину и выскоцил. Кинулся к воде, размахивая руками и крича:

— Э-э-э-й! На вельботе! Назад! Карем! Нет! Альпрахты-ы-на!

Ему показалось, его не слышат. Игорь заметался по берегу. И наткнулся на чью-то легкую, из нерпичьей шкуры, лодку. Стаящил в воду, сел в весла и сильными гребками погнал к вельботу. Ему хотелось увидеть лицо Альпрахтыны, но она сидела отвернувшись. Вот ее плечи дрогнули, распрямились, голова приподнялась и стала медленно-медленно поворачиваться к Игорю. Он заметил краешек черного блестящего глаза, угол сломавшихся губ и почувствовал вдруг, что весла отяжелели. Изо всех сил гребнул напоследок и с протянутыми руками рванулся к девушке. Альпрахтына поймала их, судорожно стиснула, и Игорь увидел близко-близко у своего лица громадные, широко распахнутые счастьем девичьи глаза, услышал ее тихий, ласкающий смех.

Лодка под ним заколыхалась, но проворные руки мужчин-чукчей ухватили ее и подвели борт о борт к вельботу. Игорь поднял на руки Альпрахтыну и перенес к себе. Посмотрел на оставшихся в вельботе мужчин. Оба, довольные, радостно улыбались.

Пожилой чукча с погасшей трубкой во рту, что сидел в веслах, сказал другому:

— Бригадир! У тебя кар-роший внук будет! Рушкий! Креп-кий!

— А как же! Обязательно! — гордо выпрямился Игорь и поцеловал Альпрахтыну в губы...

Владимир КОРНИЛОВ

## ДВЕ АНЮТЫ

(Из цикла «*Мои невесты*»)



### 1

лучилось это в годы, когда неустроенную молодую мою жизнь особенно остро томило затянувшееся одиночество.

Родители жили тогда под Москвой, недалеко от Солнечногорска, в малолюдном, из трех домов, поселке лесничества, куда я, новоиспеченный студент, наезжал из столицы в дни, свободные от занятий. Побродить по тогда еще девственным подмосковным лесам было для меня такой же необходимостью, как думать, дышать, мечтать...

В один из ясных дней бабьего лета я брел в задумчивости по лесной дороге, опираясь на уже привычную свою палочку, помогавшую мне ходить после тяжелого фронтового ранения. Под ногами шуршили листья. Стайки синиц, мелодично тренькая, суетливо перепархивали в поредевших зарослях. Дятел усердно долбил белеющий среди темных елей ствол березы. Вдруг вспорхнул, с криком перелетел на одиноко стоящую сосну, оседлал обломанный сук, выдал такую страстную весеннюю барабанную дробь, что будь я его подругой, тут же откликнулся бы на его запоздалый зов.

Я замечал: в дни общего осеннего увяданья, когда предзимняя стылость уже проглядывает в голубизне небес, в печали притихших лесов, особенно обостряется чувство ожидания. Что ждешь в осеннем безмолвии, что томит твою одинокую душу, — спросишь сам себя, не ответишь. Но смутное ожидание то ли встречи, то ли случайной согревающей радости ведет и ведет тебя в глубь лесного зовущего безмолвия.

Вышел я в широкую луговину, открытую вдаль до чернеющих на косогоре домов незнакомой деревни. В деревню идти не хотелось, я любил одиночество. Хотел уже повернуть обратно, но взгляд выхватил две девичьи фигурки. Близкий лес словно вытолкнул их на луговину. С корзинами на полусогнутых руках, с видимой ленцой усталости брали они окольной дорогой к деревне. И вдруг заметили меня.

О чудо взаимных влечений — само небо, распростертое над луговиной, начало сводить нас!

Незнакомые, но уже милые мне девушки приободренношли теперь от деревни мне навстречу. Где-то в середине луговины неминуемо мы должны были сойтись. Я уже улавливал взгляды, оценивающие меня, лукавую смешливость, слышимую издали, хотя и сдержанно, влек себя им навстречу.

Когда я был шагах в десяти, обе девушки разом опустили корзины на землю, сели, обмахивая ладошками разгоряченные лица. Я опустился рядом. Смотрел, улыбаясь, почему-то не чувствуя обычного в таких случаях смущения.

Мне казалось, обе девушки равно ожидают моего внимания. Взгляд выделил одну из них, и сразу обе уловили, к кому расположились мои чувства.

Девушка, которая не привлекла взгляда, как-то сразу по-никла, с подчеркнутой небрежностью накинула на плечи кофту, сорвала травинку, стала вызывающе покусывать. Другая же расцвела, будто золотистый цветок одуванчика под солнцем.

В простеньком белом платьице, под которым угадывалось плотное, как у куропаточки, тело; с задорным, смешливо наморщенным носом, с распущенными по лбу светлыми волосами, она как будто была рождением ясного дня и близких мне по настроению осенних лесов.

Уловив мое любование, она тут же озабочилась делом: раздвинула коленки, поставила корзину между ног, стала вынимать и обрезать корешки собранных грибов. Движения ее рук были такими завораживающими, а оголенные колени, обнимающие корзину, так влекли, что я не удержался, ласково огладил ладонью мягкий ее локоток. Она не отдернула руки, не возмутилась, как обычно делают излишне самолюбивые девицы. Пальцы ее разжались, ножичек упал в корзину, она рассмеялась, одарив меня взглядом веселящихся глаз.

Подружка отбросила обкусанную травинку, встала, взяла свою корзину, с безразличным видом отошла, села поодаль к нам спиной.

Мы почувствовали себя свободнее. Корзина перекочевала за спину, я подвинулся ближе. Теперь мы сидели рядом. Моя избранница склонила голову. Прядка легких волос упала ей на закрасневшую щеку, мешала смотреть, наверное, щекотала ресницы, она не убирала ее. В просветы волос я видел ожидающий смеющийся взгляд. Я приобнял ее плечи, склонился к губам, почувствовал, как нетерпеливо отозвались они на прикосновение моих губ. Мы целовались, ладонь моя уже ощущала ее маленькую, напряженную грудь. Впервые я чувствовал: только от меня зависит последнее сближающее нас движение.

Если бы одни мы были в этой подаренной нам лесами встрече!..  
Но донесся голос раздраженной подружки:

— Аня! Сколько можно!..

Мы отрезвили. Аня, не скрывая досады, покусывала губу. Обреченно вздохнула, прошептала:

— Надо идти...

Я был в отчаянье. С пробившейся надеждой спросил, кивнув на косогор:

— Вы из этой деревни?

— Мы из Москвы. — Анюта печально улыбнулась. — Нам еще на электричку... — В печальной ее улыбке я прочитал: «Вот и все. Встретились — разошлись...»

А меня опалило радостью, я закричал:

— Я ведь тоже из Москвы! Я там учусь!..

И увидев, как под вскинутыми ресницами полыхнули ответной радостью глаза, торопливо заговорил:

— Анюточка, слушай внимательно. Через два дня, во вторник, в пять вечера...

— В шесть, — поправила она, как будто наперед знала все, о чем я скажу. — В шесть, — быстро повторила она. — Я не успею. Я работаю. Я на почте работаю...

— Хорошо. В шесть. У памятника Пушкину. Я буду ждать.

— И не уверенный, что узнаю ее в другом, столичном одеянии да еще в многоликой толпе, всегда, особенно вечерами, нескончаемо текущей мимо всем известного места, спросил: — А ты узнаешь меня?..

Анюта прислонила ладошку к моей разгоряченной щеке, сказала, как все понимающая мама говорит несмысленышушыночку:

— Если даже вся Москва придет в тот вечер на Тверской бульвар, я буду видеть только тебя!.. — Гибким, мягким, каким-то кошачьим движением молодого тела она поднялась, навесила корзину на руку, спросила с хозяйской озабоченностью, как будто мы уже были одно целое: — Грибами не поделиться?..

Я отрицательно покачал головой.

— Разве грибы мне нужны, Анюточка! — сказал я с ласковым упреком, давая понять, что настроен очень серьезно.

Обе девушки уходили по луговине. Анюта отставала, останавливалась, махала мне рукой. Я стоял, смотрел, был не в силах поверить в случившееся чудо.

## 2

Я ждал нареченную мне небом и лесами невесту. Ходил вокруг задумчивого Пушкина, созерцающего с высоты людскую суету, мысленно готовился к волнующей минуте, когда из движущегося людского потока выбежит девичья фигурка, радостно устремится мне навстречу.

Только что я зрил чужое счастье, мне не терпелось заиметь свое. Пришел я на бульвар рано, присел на скамью в боковой аллее, ожидая урочного часа, и увидел: под свисающими ветвями лип шли двое, Он и Она. Шли опьяненно, незряче, не различая сцепленных рук. Сделав несколько медлительных шагов, они в едином чувственном порыве бросались в объятья друг другу. Руки, губы, тела их сливались. Он приподнимал Ее, кружился

вместе с Ней по аллее, не зная, не умев по-другому выразить опалывающие Его чувства, бережно опускал женщину на земную твердь. Она прижимала голову к Его груди, делала с Ним вместе несколько следующих шагов, и снова Он подхватывал Ее, кружил, пьянея от Ее близости. Так они и шли, и ничего не было для них вокруг. Я смотрел и верил, что в мире нет сейчас людей счастливее!

Я медленно обходил Пушкина, смущенно думал о первом своем ответном движении, когда Анюта подбежит. Как мне поступить? Обнять, нежно поцеловать, как уже признанную невесту? Или только радостной улыбкой выразить свои чувства, повести Анюточку в глубину бульвара и уже там, на затененной липами аллее, обнять, закружить, опьянеть от ответной ее близости?

А может, просто: повести ее в кино, неважно, на какую картину, и там, в полутемном зале, сжать в своих ладонях ласковую ее руку, сблизить головы, почувствовать волнующую теплоту ее лица? Конечно же, в следующий свободный день я повезу ее в наш лесной поселок, представлю отцу, маме. Отец скажет что-нибудь такое, ироничное, насчет невесты. Но маме Анюточка понравится, обязательно понравится, она проста, отзывчива, мамин вкус я знаю!..

Потом вместе пойдем мы в лес, теми дорогами, по которым бродил я в одиночестве. Вместе выйдем на ту, теперь уже заветную луговину, и там никто, ничто не помешает нашей ласковой близости!..

Так предвосхищал я свое счастливое будущее. Несчетный раз обходил я вокруг памятника, уже устал повторять высеченные на постаменте бессмертные строки:

«И долго буду тем любезен я народу,  
Что чувства добрые я лирой пробуждал...»

«Добрые... добрые... добрые...» — твердил я, вышагивая вокруг низких тяжелых цепей, ограждающих памятник, все чаще поглядывая на большие электрические часы, прикрепленные к столбу на противоположной стороне площади, — бесстрастные стрелки уже показывали тридцать пять минут седьмого!

Я утомился, приглядел свободное место на скамье с широкой изогнутой спинкой, подошел, сел. Я был на виду. Анюта не могла не видеть меня.

Соседкой по скамье оказалась молодая мама с девочкой лет пяти. Девочка шустро выбегала на дорожку, выискивала камушки, с радостным криком бросалась к маме — показывать, какие драгоценности нашла. Мама что-то говорила ей тихонько, девочка с любопытством поглядывала на меня. И вот, стеснительно склонив к плечу головку с двумя сплетенными на шее косичками, подошла, спросила:

— А зачем у вас палочка? У вас ножка болит?..

Ну кто из взрослых не откликнется на прелестную наивность ребенка?! Отозвался и я с наивозможной для меня мягкостью:

— Болит. Бывает, очень болит!..

— А у нашего папы ничего не болит! — сказала девочка. —

Только он всегда поздно приходит. И никогда с нами не гуляет.

Мама всплеснула руками, строго прикрикнула:

— Аня! Что такое ты говоришь!..

Я вздрогнул от произнесенного имени, в тревожном ожидании оглядел людей, движущихся в одном и в другом направлении. Люди шли и шли, никто не выбегал мне навстречу.

Девочка осмелилась, попросила:

— Можно, я вашей палочкой поиграю?..

Приспособив палочку под костиль, вся изогнувшись, хромая, она старательно ходила передо мной.

— Я раненая! — кричала она маме.

Молодая мама придвинулась ко мне, просительно коснулась моей руки.

— Вы уж извините. Такой ребенок!..

Я близко увидел ее глаза: такие тревожные, ищащие глаза бывают у женщин, убежденных в несчастливом своем замужестве. Я почувствовал неловкость, поспешил успокоить молодую маму:

— Ну что вы! Пусть поиграет, повеселится!..

Женщина вздохнула.

— Ей-то весело! — сказала она, улыбнувшись грустно, призывая меня к сочувствию.

Я деликатно промолчал.

Девочка наигралась, побежала, с разбегу схватила мои колени.

— Вот ваша палочка! — сказала она, лукаво заглядывая снизу в мое лицо. — Завтра еще поиграю. Ладно?..

Молодая мама низко нагнулась к девочке, поправляя сбившуюся на спине кофточку, сказала с горестным вздохом, обращенным ко мне:

— Ей так хочется видеть в вас своего папу!..

Слова молодой мамы почему-то меня смущали. От смущения я подхватил девочку, взвизгнувшую от восторга, высоко поднял над собой. Играя, я подкидывал ее с еще не испытанным, но вдруг пробившимся отцовским чувством, возбужденно смеялся, откинувшись на спинку скамьи. И в самую эту минуту увидел: от толпы, в радостном порыве, отделилась девушка, похожая и не похожая на ту Аньюту, что была там, на луговине, в памятном мне простенком платьице, с оголенными коленками, сжимающими корзину.

Неизвестно великолепна была эта девушка в светлом костюмчике, с легким голубым шарфом вокруг шеи. Я видел, как устремилась она ко мне и вдруг замерла. В растерянности отступила обратно в толпу, укрылась за памятником. Сердце подска-

зало: это — она, моя Аньота. Еще не понимая, что случилось, но уже охваченный тревогой, я осторожно, со всей возможной ласковостью, освободился от девочки, поднялся, пошел с нарастающим беспокойством к памятнику. Девочка догнала меня, доверчиво зацепилась за руку, сказала деловито:

— Я тоже с вами...

Отправить ее обратно я не посмел. Придерживая девочку за руку, ходил и ходил вокруг памятника, выискивая среди множества лиц единственное, необходимое мне лицо. Я чувствовал, я не мог ошибиться, я физически ощущал взгляд Аньоты, откуда-то устремленный на меня, и не мог, нигде не мог увидеть милых ее глаз! Людская толпа колыхалась, текла мимо, равнодушная к моему отчаянию. Напрасно проходя прощения за безвинную вину свою, я вернулся с маленькой Аньотой к предавшей меня скамье.

Молодая мама, приняв от меня девочку, спросила сочувственно:

— Вы кого-то ждали и не дождались?..

Я скорбно вздохнул.

Молодая мама внимательно на меня посмотрела. Опустив глаза, разглядывая свои аккуратно подстриженные, покрытые розовым лаком ногти, сказала:

— Вас удивит, если я признаюсь, что знаю вас. Я была бы рада, если бы завтра в это же время вы снова пришли сюда. Я ведь не ошибаюсь, вы учитесь вон в том институте? — Она глазами показала на видимую сквозь стволы деревьев высокую чугунную ограду Дома Герцена. — Я буду ждать. Очень! — и многозначительно добавила: — Мне кажется, я смогла бы вас утешить в случившемся огорчении...

## 2

Я болел. Лежал на койке студенческого общежития во флигеле институтского здания, одолевая в поте лица и тела жар, мучивший меня уже третий день. В комнату вбежал сосед по койке, Николай, или Коля, как звали мы его на французский манер, полненький, суэтный, с выпуклыми насмешливыми глазами, возбужденно крикнул:

— Володька, тебя спрашивает шикарнейшая дама! При-мешь!?

Мысль о том, что разыскала меня Аньота? мгновенно сломила болезнь. Я даже приподнялся, поторопил:

— Ну, зови же!..

Коля ввел в комнату молодую маму той девочки Аньоты, которая так хотела видеть во мне своего папу. Мама выглядела, действительно, шикарно: в белой короткой шубке (хотя зимы еще не было), в белых сапожках, в белой шапочке, кокетливо сдвинутой на сторону и высвобождающей волну черных волос над маленьким ухом с посверкивающей серьгой, она могла бы

видом своим сразить любого столичного Дон-Жуана. Но я-то ждал Аньюту!..

Я упал на подушку, в обманутом теле снова заполыхал жар.

Молодая мама, ничуть не смущаясь любопытствующих взглядов моих сокурсников, придвинула к кровати стул, распахнула шубку, села. Обласкивая меня сострадающим взглядом, заговорила вполголоса:

— Если бы вы знали, Володя, как мучительно я переживала ваше отсутствие!..

Я не мог понять, как узнала она мое имя?! Ведь я не представлялся ей!

Молодая мама девочки Аньюты продолжала говорить:

— Мое сердце — вещун. Все эти дни оно болело болью вящего сердца: ведь вы не могли не прийти, зная, что вас ждут?! Видите, я не ошиблась. Вы весь в страдании!.. — Она озабоченно раскрыла сумочку, выложила на мою тумбочку два крупных яблока, большой бумажный, аккуратно перевязанный пакет.

— Это пирожки, Володя. Специально для вас. Вы любите пирожки?

Измученно закинув руки за голову, я сказал:

— Пирожки я люблю. Но не хочу есть. Я болен!..

Молодая мама девочки Аньюты достала из сумки платочек, озабоченно промокнула пот на моем лице.

Я вдохнул запах духов, но легче мне не стало, в висках стучал молоточком пульс. Стыдясь своей беспомощности, понимая, что молчать невежливо, я спросил:

— Как удалось вам отыскать меня?

Гостья улыбнулась снисходительно и таинственно.

— Вы, наверное, еще не знаете, Володенька, что может женщина, когда ведет ее чувство!.. — Она склонилась низко ко мне, в полуслучае комнаты от сгустившихся за окнами сумерек глаза ее почти огненно светились. Она прошептала:

— Если бы мы были сейчас одни!..

Я до боли сжал веки. Желающая меня женщина слово в слово прошептала то, что в отчаянье повторял я, целуя под высоким небом зовущие губы Аньюты!

— Вам плохо? — спросила она.

— Очень! — ответил я, и кажется, ответил невежливо.

Мама маленькой Аньюты взгляделась в часики на своей руке, проговорила с сожалеющим вздохом:

— Так не хочется расставаться! Но мне надо идти. Поправляйтесь, Володя. Я буду ждать вас каждый вечер, на той же скамейке, у памятника. — Она поднялась, поправила под моей головой подушку.

Мне показалось, она хочет поцеловать меня. Я отвернулся.

Аньюта, подаренная мне небом и лесами, и молодая мама маленькой девочки Аньюты ушли из моей жизни навсегда.

Ольга ГУССАКОВСКАЯ

## СЛОМАННАЯ РОЗА



андрейке исполнилось двенадцать, когда отец взял его на дальнюю рыбалку с ночью. До этого рыбачили только на Костромке, возле водно-гребной базы.

Сильная моторка «Крым» долго буравила почти стоячую, словно бы вязкую, воду разлива. Кипела вокруг невиданная прежде жизнь. Снежные всполохи чаячих крыльев на островах, ленивые кувшинки в заводях, прицельная черная молния стремительного хищника в небе...

А потом костерок, комариный ночлег в палатке. На рассвете — серебряное раздолье большой рыбалки. Андрейка и сам поймал две щучки!

К полудню, однако, рыба клевать перестала, мужики начали гоношить «гройнью» ушицу. Достали бутылки.

Андрейка, пока уха доспевает, решил ознакомиться с окрестностями. Остановились они на большом лесистом острове и были на нем не одни. Откуда-то доносились звуки музыки и девчоночки взвизги. Мальчишка отправился на разведку.

Продравшись сквозь густо опутанные хмелем кусты, он вышел на берег широкой мелководной заводи. И — замер...

В заливе по пояс в воде плескались и прыгали три девчонки. Чуть помладше его самого. На головах — венки из хмеля (а был Иван Купала!), на худеньких телах — жемчуг водяных капель... И больше ничего!

Ветка ли на кусте от волнения шевельнулась, сам ли Андрейка, только его увидели. Взрыв поросячьего визга — в вихре брызг девчонки кинулись на берег — и в кусты. Две. А третья... На секунду, ставшую вечностью, молча замерла перед Андрейкой.

Высоконькая, нескладно длинноногая. На круглом личике длинные, приподнятые к вискам, словно бы навсегда удивленные, серые глаза. Норовистый короткий нос с нервно дышащими ноздрями и большой, точно смеющийся, рот. Почти черные волосы даже мокрые вьются. На белом светящемся тельце пупырышки поссорившихся сосков — в разные стороны. Пряма и чиста ложбинка будущего лона...

Пространство и время сомкнулись. Все замерло. Они смотрели друг другу в глаза и молчали.

Потом, отягощенная влагой, упала на землю хмелевая шишка с венка. Девочка как бы вздрогнула, сорвалась с места... и бесследно исчезла в кустах.

Потрясенный Андрейка ее не преследовал. Попробовал поискать в траве упавшую хмелевую шишку, но не нашел. Тихо вернулся к костру. Его отсутствия никто не заметил.

... Первое время Андрейка вспоминал о девочке часто и ругал себя, что не пошел ее искать. Хоть бы узнал, кто она, откуда. Позже все надеялся встретить ее где-нибудь на улице... Но не везло! Не повстречалась ни разу и нигде.

А со временем все вроде бы и забылось. Жизнь потихоньку оттеснила прелестный мимолетный образ в дальний, казалось бы, угол памяти.

Кроме того, рос Андрейка в семье, где мечтания были не в почете. Родители его считались людьми дельными, разумными, но уж никак не романтичными. Оба корнями происходили из близких к Костроме деревень. Сбежали в город от колхозного голодомора.

Долго учились, непросто приживаясь на новом месте. Двухкомнатную проходную «хрущевку» отец Андрейки, токарь первой руки, считал главным своим жизненным приобретением.

Был он человек большой, сильный, громкий. Любил застолье и крепкое мужское братство, но меру в вине знал. Мать — полная противоположность. Тихая, что называется «сырая», частенько прихварывала. Работала статистиком. Компании отца ее утомляли. Но она умела печь дивные пироги, что очень ценил Андрейка! А заодно и его единственный, но навсегда верный школьный друг Женя.

Однако даже ему Андрейка не доверил своей сокровенной тайны. Ему казалось, что Женя это не интересно, да и стыдновато вроде бы как-то...

Жизнь вокруг начала меняться беспощадно и круто. Перемены не обошли и эту ладную семью. Андрею только что минуло шестнадцать, когда тяжело заболела мать. Врачи сказали: «Рассеянный склероз можно лишь приостановить, а вылечить нельзя».

Пришлось им с отцом и хозяйство домашнее вести, и за большой матерью ухаживать. Ладно, что хоть сад-огород имели. Он-то и лег на плечи Андрея.

Потому все то, чем занимались сверстники — дискотеки, встречи-расставания, подвалные тусовки с гитарой и бутылкой, — было не для него. Но Андрейка и не жалел.

Девочкам он нравился: высокий, сильный, кареглазый и темнобровый. А светлые волосы блестят, как льняное семя. То с одной, то с другой девчонкой начиналась вроде бы дружба, но как-то обрывалось это все само собой. Андрей почему-то считал, что с ним девочкам не интересно.

Дома-то у них не то чтобы компьютера — цветного телевизора не имелось. Так, древний черно-белый «Рекорд». Наверное, еще и поэтому с малолетства приохотился Андрей к немодному чтению книг.

Денег всегда в обрез. Потому что, хоть и подрабатывали они с другом Женей подвозкой и погрузкой товара на рынке, все съедали постоянно дорожающие лекарства для матери. Отец зарплату получал от случая к случаю и в неведомо какие сроки. Пойти с девчонкой в кафе было просто не на что.

... Незадолго до ухода в армию Андрей познакомился с Валей. Ехал вечером в нас kvозь промороженном троллейбусе уставший и невеселый. Их дом посетила новая беда — начал запивать отец.

Пьяный, он жалел себя и придирился попусту к Андрею. Больше всех от происходящего страдала беспомощная мать, напрасно считавшая себя виновницей всего. На самом деле виновата была дичающая на глазах жизнь.

А в проходе троллейбуса щебетали две милые девушки в длинных модных дубленках и лисьих капорах. Одна вдруг повернулась — и светлый, до самого виска подрисованный серый глаз шаловливо стрельнул в Андрея.

Его как током ударило: «Она!» Мгновенно возникло перед глазами то давнее детское видение...

Познакомиться труда не составило. Тут же и выяснилось, что девушку зовут Валей, что она — единственная дочь вполне состоятельных родителей и «просто так» учится в педуниверситете.

Андрей пошел ее провожать, но уже тогда понял: «Ошибка. Не она». Объяснить даже себе он ничего бы не смог, просто чувствовал: «та» должна была и вести себя иначе, и говорить о другом.

Тем не менее стали встречаться. Выбор Андрея очень одобрили дома: богатая, красивая, такую не на каждом углу встретишь. Ему же с Валей было легко и приятно. Главное — ни о чем не думалось.

Веселая, беспечная искательница удовольствий. Мать Вали, бывшая учительница, знала французский язык. Она прозвала дочь Эпювеза — пробовательница. И это, кажется, соответствовало истине.

Так или иначе, именно с помощью Вали Андрей обзавелся полезными знакомствами и нашупал вход в мир бизнеса.

Уходя в армию, сказал Валентине:

— Если не дождешься — не обижусь.

Валя сделала гримаску, пожала круглыми плечиками.

— Откуда я знаю, чего мне захочется завтра? Но ты умничка — сказал. Будем жить, как каждый сумеет...

...Армия пощадила Андрея: не окунула ни в Чечню, ни в дедовщину. Отслужил примерно. Приобрел специальность автомеханика и вернулся.

Через день после возвращения умерла полностью обездвиженная мать: дождалась сына. На поминках Андрей увидел, как далеко по гибельной бутылочной дороге продвинулся отец: с двух рюмок окосел и задурил.

Стало ясно: жизнь нужно строить по-новому и самому. Начал восстанавливать старые связи, и выяснилось многое. Самое удивительное: Валя ни за кого не вышла замуж!

Второе: есть место в бизнесе того самого, еще школьного, друга Жени, с которым до армии работали на рынке. Сам Женя в армии не служил: помогли медицинские справки.

...Нет, Валя ему на шею не бросилась, не клялась в вечной любви. Просто осветилась улыбкой:

— Андрюша?! Вот молодец, что пришел! А то у меня как раз творческая пауза...

И закрутилась старая карусель. Только Андрей быстро понял: лица вокруг новые и молодые. Прежнее их с Валей окружение успело пережениться, а кое-кто даже и развелся. В коктейль-баре они уже чисились «старичком».

Со стороны на Андрея все сильней нажимал его друг-搭档 Женя:

— Чертяка! О чём думаешь? Ведь Валька твоя любит тебя, из армии дождалась... Что, здесь к ней клиньев не били? Сколько угодно! Знаешь хоть, чем ее «фазер» заворачивает? А она — ни в какую, ты ей нужен! Какого тебе еще надо? Женись, и твоего батю в Швейцарию отправим лечиться. Этот может! У него везде схвачено.

Андрей отмалчивался, но понимал: Женя прав. Даже и на счет лечения отца, который уже не стеснялся сшибать «глотки» в пивбарах.

Валя ему нравилась: не девушка — праздничный огонек. Но... душа его спала! Правда, ни одна другая женщина не влекла его больше, чем эта.

И однажды он решился, поговорил с Валей, с ее родителями серьезно. Слегка покоробила их откровенная радость. Но он был не дурак и понимал: дочь-то подзасиделась в девках! Нынче замуж выходят рано.

Дальше пошло-покатилось «как у всех». Гулять было решено в одном из самых дорогих ресторанов, а потом сразу кружиз по Средиземноморью. И отца Андрея действительно устроили на лечение, только не в Швейцарию, а в дорогой американский центр в Москве.

Андрея не оставляло странное состояние: душа словно раскололась пополам. Одна ее половина жила настоящим и принимала в нем самое активное участие. Вторая, спящая, витала неведомо где и неизвестно чего ждала. Ее как бы и не было вовсе. Он старался не заглядывать в опасную глубину пустоты.

...Наконец в заветный день впечатляющий поезд разукрашенных лентами иномарок двинулся к филармонии. Сияющая, торжествующая Валя тонула в дорогих кружевах. В руках она держала букет снежно-белых роз. Такой неудобный, что стеблями его Андрея затиснуло в угол машины. И чем дальше продвигался кортеж, тем ощущение тесноты, плениенности делалось нестерпимее и страшнее.

Андрею вдруг показалось, что он спятил, что о женщине, на которой женится, не имеет ни малейшего представления: так внезапно, неузнаваемо и властно изменилось ее шаловливое лицико.

На повороте машину занесло: какой-то пьяный чуть не угодил под колеса. Один из роскошных бутонов сломался и упал на колени невесты.

Возник переполох — дурная примета!

Андрей увидел: на противоположном от филармонии углу площади стоит женщина с цветами. Раньше чем кто-либо что-то сообразил, он открыл дверцу машины и крикнул:

— Подождите! Я сам! Сейчас! — и кинулся через дорогу.

...Она стояла возле большого стеклянного ящика, в котором горели свечи и улыбались дивные заморские цветы. Летящие черные локоны выбивались из-под простенькой вязаной шапочки. Приподнятые к вискам длинные от природы глаза светились таинственно и серебристо. Как и тогда, нервно дышали ноздри, и безлично улыбался ее большой и прекрасный рот. Губы лишь чуть накрашены. И много печали, усталости на лице, но ни капли кокетства.

Это была Она!

Онемев, Андрей поймал ее взгляд, мгновенно оглох и ослеп от бесшумного взрыва: его тоже узнали!

Бог Единый ведал, где она пряталась все эти долгие пустые годы. Как сложилась ее-то собственная жизнь?! Могло статься, что давно и замужем, что у нее дети... Все это не имело никакого значения!

...За спиной сигналили машины ненужного кортежа ненужной свадьбы. Кто-то впопыхах бежал к нему через площадь.

Но он-то знал: силы, которая могла бы оторвать его теперь от этой женщины, на земле просто не существует.

Василий ТРАВКИН

## СТРОПТИВЫЙ ТРАКТОРИСТ

(Отрывок из повести «Залетный»)



Павел, очумело встряхнув головой, достал из-под сидения спущенную ветошь, вытер лицо, шею, сдвинул скрежетывущую дверку, вступил на опасно провисшую гусеницу и опять подумал, что натяжной винт ленивца выкручен до конца, больше не натянешь.

Еще неделю назад, когда его посылали пахать зябь, он зартачился, показывая механику Колобову на гусеницу:

— Видишь, какая выработка. Надо менять пальцы.

— Нету. Работай пока так, — с независимым видом сказал Колобов.

— Работай. А если соскочит в поле, кому надрываться? Пашке?

Но механик больше ничего не сказал, и Павел, с возмущением посмотрев в его спину, поехал. «Соскочит, хрен с ним, буду стоять на ремонте».

...Павел попестовал гусеницу, покачался и, огорченно вздохнув, соскочил на землю. Надо бы ехать домой, но он почему-то не торопился, захотелось посидеть в одиночестве, — пусть отойдет душа в этой вечерней тишине, кажется, только вчера подкравшейся осени.

Приковылял на обочину поля, встал в широкую борозду, опустился на присыпанную мелкими глибкамиежду. А рука уже сама собой тянулась в карман за папиросами. Павел сидел, курил и слушал дыхание отходящей ко сну земли. Такие минуты после напряженной, оглушающей ревом мотора работы успокаивали и расслабляли. Он ощущал сам себя в этом мире со странным удивлением.

Там, за лесом, за крутым холмом Бычым, есть деревня Усад — родной порог его жизни. Вынянчили Павлу добрые материнские руки, снарядили в жизнь, и он пошел: школа-десятилетка, училище трактористов, армия. Никуда он не делся, снова здесь, на своей земле. Только живет уже не в деревне, а в центральной усадьбе колхоза, в селе Лужки.

Павел сидел, думал о доме. До Лужков рукой подать: поле, овраг, перелесок. Лужки, сосновое шириющееся село, центр вселенной Павла... Чу, его вечерняя деловая приборка! Чу, как отдается по перелеску! Павел понимал каждый стук и бряк.

Тянуло с поля сырой прохладой, земля пахла кисловатым подзолом и свежержаной соломой. Роптали осинки над оврагом,

и со дна его беспокойно звенел ручей. Птиц не слыхать, один только ветерок хорыничают в очерствелой листве. На душе вдруг сделалось раздумчиво, одиноко, смирино.

Павел прислушивался к звукам села, ждал звонкого, с тонким перебором кованой цепочки, хлопка дверей. Вот-вот он раздастся и призывно покатится по околице. И верно, дверь хлопнула, и, чуть поостав, забрекотала по сухой чуткой доске цепочка. Павел отрадно улыбнулся: вышла, вышла на крыльцо его благоверная, оперлась о перильца, уставилась беспокойно в сгущающуюся темень. Павел знал: подготовлена ему горячая вода в чугунке, висит на спинке стула чистая отглаженная рубашка, а на столе сухо блестят ложка, миска, нарезан хлеб. Антонина заждалась и вся горит нетерпением услужить ему.

Павел облегченно вздохнул, в эти минуты он знал свое место в жизни, он слышал ее сильный, властный зов, и в нем росла надежда, что обязательно, и очень скоро, все изменится, жизнь утвердится в новом более надежном и здравом смысле.

За кустами неясно белела пыльная дорога в Глухово, отдаленную деревню бригады. Павел издалека услышал пришаркивающие шаги. Путник, выйдя к осиннику, остановился, что-то пробумчал и направился к трактору. Сапоги звучно зашуршили по опавшей листве. Павел узнал бригадира Хомутова. В Глухове начали сеять рожь, значит, был у сеялки, запозднился.

— Ты, что ли, Павел? — чересчур напористо и весело заговорил Хомутов еще в осинках. — А я смотрю, что за искра вспыхивает. Погаснет, опять накаляется, потом уж догадался — курят.

Хомутова занесло в колхоз нечаянно. Лет как десять приехал он в Лужки с тремя подручными мужиками ремонтировать церковь. Поп не поскупился, выделил бригаде куш щедрый. Да ведь и работа опасная. Сумей-ка побелить-покрасить высоченную колокольню. Но Хомутов со своими мужичками, искусно применив какие-то веревочные подвесные люльки, справился с задачей чисто. Понравился он народу своей ловкостью, легкостью, разговорчивостью. Тогдашний председатель Пигида тоже его приметил, предложил должность бригадира, — Хомутов согласился, съездил в город на курсы и с тех пор работает бессменно.

Хомутов подошел беспокойно, протянул жидкую теплую руку, но смотрел в сторону, в темный провал вспаханного поля. Он хитер — этот Хомутов, хочет живостью своей, уверенностью, напором сбить Павлову настороженность, внимание, но обостренный на вольном воздухе нюх Павла сразу уловил незамутненный отрыжкой, свежий запах водки.

— Значит, вспахал. Молодец! Слухай дальше. Завтра надо рано вставать. Рано. Но тебе об этом нечего говорить. Ладно. Вот что: берешь у кузницы дисковую борону и дискуешь. Вспашка

свежая, в один след сойдет. Управься часам к девяти. К девяти, ясно? Сделаешь. Я не постою в наряде, знаешь меня. Запишу в два следа. Точно говорю. Только к девяти сделай. В девять начнем сеять. Завтра надо тут закончить. Темпы, понимаешь, темпы. Сегодня приезжал представитель райкома Попов: темпы, говорит, низкие. Да еще этот казус, — говорить не хочется. Венька Брыльников, черт смешной, подвел, прямо зарезал, теперь не миновать народного контроля, вызовут. Слухай дальше. Ты задисковал в один след, но я запишу в два, понимаешь, — в два. Договорились. Дальше. Чекера у тебя есть. Так. Бери чекер — и в распоряжение завмага Курочкиной. Хлысты из делянки сволокешь ей ко двору, она с тобой съездит, покажет. Это в обязательном порядке, без булды. Сам понимаешь, к завмагу тропы отовсюду протоптаны, и мы тоже эти тропы топчем. Не обойдешь. Слухай еще. Пока снят плуг, прицепляешь тележку и от поднавеса перевезешь на ферму соль-лизунец. Там немного ее, камней пятнадцать, может, всего-то.

Хомутов передохнул, покеркал с удовольствием и, одобрительно похлопав Павла по плечу, продолжил разъяснение. Он любил четкое разъяснение — такая манера, — руководство ценило его за эту обстоятельность.

— Тележку ты поставил. Далее навешиваешь плуг и той же Курочкиной распахиваешь новину — она покажет, — одолел червь-проводник, хочет сменить участок под картошку. Только борону подцепи к плугу, она просила. Ты без бороны пашешь? Тогда подцепи, надо уважить. Ты вспахал Курочкиной и дальше двигай на Зады поднимать пласт клевера. Будут попадаться березы от старых скирд, зацепи плугом, стащи. И дуй до потемок. Ясно?

Павел слушал угрюмо, осаживая прорывающееся несогласие, сопротивление и удивляясь на Хомутова: какая деловитая уверенность, какая решительная четкость, распорядительность, какая хозяйствская хватка! И это казалось Павлу действительно так. Хозяин — Хомутов! Это он вел в бригаде дела, по его распоряжению и пахали, и сеяли, и доили коров. Но в то же время Павлу припоминались такие факты, истории, такое головотяпство, творящееся на глазах бригадира и по его распоряжению, что деятельность его никак не могла оцениваться таким конкретным, ответственным словом «хозяин».

И сейчас, выслушав речь бригадира, Павел, оценивая эти распоряжения, опять засомневался: что-то не похож на «хозяина».

— Оно, конечно, все так, и тебе видней с бригадирского мостика, — невесело заметил Павел.

— Именно. Так вот мне занятость твоя на завтра мыслится. Ты что думаешь, я зря пешком-то хожу? Я иду и все думаю, думаю, как лучше спланировать...

— Понятно это. Только как-то все нескладно, не увязывается, ну... как это... с душой, что ли, с нутром не увязывается... Твои распоряжения руководящие, конечно. Я могу выполнить безответно...

Хомутов замер, приподняв удивленно остренький подбородок: чего еще мнется этот передовик, куда его повело?

Павел, поколебав установки бригадира, уже не мог остановиться, ему захотелось непременно разрушить кажущуюся целесообразность этих заносчивых, но по сути липовых распоряжений. Ему важно было теперь же выставить, выказать, какой он, Хомутов, есть «хозяин» и распорядитель.

— Хочешь завтра тут посеять, рожь по ржи, да и прошлым годом по голяку засевали. Что вырастет? А навоз возле фермы есть, много. Минералка тоже портится. Ублажать завмага бы не ко времени, обождет, еще хлеб не посеян. А пятнадцать камней лизунца привезти послал бы лошадку. Да и пласт клевера поднимать на Задах зряшно. По три тонны сенов нынче там взяли. И на будущее лето уродит, глянь-ко на отаву. А вместо Задов за пахать бы клинья вокруг хутора Пимок, они хоть и мелкие, но пять лет не паханы, и земля там отдохнула и пропадает, ивняк пошел...

Бригадир, не ожидая столь откровенной дерзости от этого обычно бессловесного трудяги, поперхнулся и некоторое время стоял немо, подняв заносчиво подбородок. Его даже одышка взяла, и Павла овевал откровенно-оскорбительный, вызывающий дух водки.

— Ты чего это... городишь-то!.. Я, кажется, ясно сказал. Чего ты понес околесицу-то!.. Все разжевано и в рот положено, глотай, а ты снова жевать. Чего ты учить стал, без тебя-то не знаю. Учитель нашелся. Дело твое телячье, так-то, Паша. Ясно? Ну и все. Действуй по расписанию.

Хомутов круто повернулся, завихлял, что-то все говорил, говорил себе под нос.

Павел, обмирая от нечаянно прорвавшейся мстительной смертности и испытывая какую-то сладкую отраду свободы, крикнул:

— Никуда я завтра не поеду, трактор сломался!

— А это мы еще посмотрим, симуляция не пройдет! — ломливо, криком же, ответил Хомутов.

«Вот и поговорили! — весело подумал Павел. — Так его! Командир хренов, ветродуй! Все полетит в тартарары, он не почешется, этот хозяичик!»

Павел прошелся по луговине, подождал, пока подальше уйдет Хомутов, чтобы его не догнать, потом завел трактор и неторопко поехал.

Лужки светились огнями, во многих окнах свет мерцающий — смотрят телевизоры. Павел свернул на зады и по старой разбитой дороге выехал к своему картофельному участку.

Лучи фар скользнули по взрытой черной земле с ворохобистой кучей ботвы посредине, осветили жирный крапивник, штабелек бревен на лужайке и уперлись в баню.

Павел погасил фары, но мотор не заглушил, нащупал под сиденьем ломик, соскочил на землю и, воровато оглянувшись, зарядил ломик между траком гусеницы и зубом звездочки. «Извини, друг... Надо!» Павел знал, что на этих сильно выработанных пальцах он мог бы работать еще недели две-три, правда, соблюдая осторожность на поворотах, мог бы, да не будет, пусть этот Хомутов побесится.

«Ветродуй хренов! Нашел затычку, на-ко выкуси!» — твердил про себя Павел, радуясь догадке. Он понимал, что отмахнуться от бригадира просто так не отмахнешься. Накатает докладную, потянут к председателю, надо объяснять. А что объяснишь? Наряд даден? Даден. Ну и выполняй, и весь сказ. И потому самое удобное «сломаться». Этот прием отмщения бригадирам трактористы использовали безответственно и широко. Правда, механик мог бы внести ясность, но и он, потрафляя братии, обескураженно разводил руки: сломался, что делать, — а часто и сам не мог толком объяснить, что отказалось и надолго ли остановка.

Павел включил заднюю передачу, осторожно тронулся, правая гусеница заскрежетала, натянулась. Он чуть качнул левый рычаг, мотор сразу круто набрал обороты, трактор замер на какой-то точке, но вдруг его тряхнуло, и он стал заваливаться на сторону. Павел тут же заглушил мотор, вытер со лба выступивший от волнения пот, сказал угрюмо:

— Вот так вот. Пусть любуются.

Прихватив кожушок с ключами, Павел пошагал по мягкому, проседавшему под ногой картофельнику. Густо пахло подопревшей ботвой, горьким дымком бани, березовой поленицей, — домашние, исцеляющие воспаленный, всполошенный рассудок запахи. Павел шел, распахнув куртку, пляшил глаза на темнеющую громаду дома. Скрипнули ступеньки крыльца, звякнула ведерная дужка. Павел по неясному очертанию в падающем из окна сквозь занавеску свете узнал Антонину. Стоит с ведром — дескать, по делу вышла. Но Павел-то знал, какое дело приспичило: встретить, встретить вышла его беспокойная Антонина.

— Паш, ты? Неужель все пахал? Вот ведь ты какой. Чего уж надсажаться-то. Поди-ко брюхо подволокло. Ну иди, ладно, я только мусор вывалю.

В ведре на донышке белела скомканная бумага. Павел тепло улыбнулся. От этих ее упрекающе-ласковых слов сладко зашло в груди, запершило в горле. Павел подошел к крыльцу и,

взявшись за перила, остановился. «Антонина, Антонина, верная ты моя!...» Никогда не думал Павел, гуляя неприветным застенчивым парнем, что ему такое счастье достанется...

Антонина сдернула по пути высохшие мешки с шеста, вступила на ступеньку, опять же выговаривая заботные наставления:

— И сколько раз тебе говорить. Испортишь себя на работе. Нельзя так... Вот говорю тебе, а что говорю — все зря, не свернешь...

Павел повернулся широкой грудью к жене, сказал с легкой сипотцой в отмякшем голосе:

— Теперь вот передохну, подносились гусеницы, а пальцев взамен нет. Ну и хрен с ним, как хотят. Буду заниматься баней.

Александр ХЛЯБИНОВ

## СВАДЕБНЫЕ ДНИ

*Два этюда*

### 1. Возвращение



ночь перед свадьбой сына почтальонке Наталье Зотовой не спалось. Разные мысли теснились в голове. И первое, что тревожило и волновало: будут ли счастливы? Вон у Грибовых не успели молодые сойтись, а уж порознь живут. У них, у нынешних, это просто. Но только ей ли судить-рядить нынешних, когда сама в молодости познала удел одиночества. И словно только что прожитый день, встало перед ней прошлое: девичьи годы, беседки, куражистые кавалеры-подорехи...

Как в калейдоскопе, прошли картины собственной свадьбы, не блеснувшей убранством столов, зато прогремевшей на всю округу веселой пляской, звонкой россыпью частушек-приговорок, заливистой игрой гармошки Колюшки Теплова, тайно влюбленного в невесту.

Издалека выплыли сказанные тогда кем-то из сельчан слова:

— Повезло тебе, Наталья, с таким мужем не пропадешь!

И она верила в это, глядя на разгоревшееся в пляске лицо ее Сергея, на его прибившуюся к потному лбу прядь волос.

Через год их совместной жизни он признался, пряча под густыми бровями глаза:

— Ты знаешь, не по мне оседлая жизнь.

Собрал пожитки в чемоданчик, с которым появился в доме, перебравшись из общежития МТС, и ушел.

Улыбающийся, в распахнутой телогрейке, показался под окнами больницы, чтобы взглянуть на родившегося сына, и вновь исчез на... четыре года, потом еще на сколько-то.

Отец у Натальи погиб в сорок третьем году под Курском, через полтора года после ухода Сергея умерла и мать...

С растревоженной душой Наталья забылась до рассвета. А с самого утра окунулась в обычную свадебную суэту, когда хозяйке необходимо переделать десятки мелких, но нужных и неотложных дел. К назначенному часу дом стал наполняться шумным и говорливым народом. Дружной стайкой подошла молодежь, рассыпая смех, шутки. Потом стали подходить люди постарше, в основном, парами. Соседка Анна отыскала взглядом Наталью, позвала к себе.

— Там, у крыльца, твой благоверный топчется.

«Не обманулось, значит, сердце», — подумала Наталья и пошла навстречу своим ночным воспоминаниям. Ее бывший муж и отец Андрея стоял в нерешительности, вслушиваясь в звуки, доносиившиеся из дома.

— Узнал вот... заехал поздравить.

За прошедшие несколько лет, что они не виделись, у него поприбавилось седины в висках, поменьше стало уверенности и твердости в голосе.

— Ну что же, проходи, гостем будешь.

И это «гостем», хотела она или нет, прозвучало холодно и отчужденно.

Когда он поднялся, чтобы сказать напутственное слово молодым, шум за столами стих. Говорил недолго. Как-то неловко передал растерянной паре подарок, пригубил вина и медленно опустился на скамью.

— Николай Егорович, а ну давай что-нибудь веселое, — попросили гармониста. Он бросил взгляд в сторону тех, для кого двадцать с лишним лет назад играл, как и сегодня, «на счастье», растянул меха, и в дом ворвалось что-то широкое, удалое и... грустное.

А потом для желающих танцевать включили магнитофон, и чужая мелодия пробилась в широко распахнутые окна.

Наталье вдруг стало нестерпимо душно. Она поднялась из-за стола, прошла в огород...

Наталья скорее почувствовала, чем увидела, как один из гостей вышел во двор, огляделся, словно выискивая кого-то, закурил и грузно, ссутулившись, направился за деревню.

...Ее уже давно настойчиво просили к застолью, и она, отрев ладонью непрошеные слезы, вышла на общее веселье.

## 2. Фольклорная практика

По договоренности с уважаемой преподавательницей диалектологии я было уже «навострил лыжи» в родные «пенаты», чтобы там пройти фольклорную практику, но мои планы рассстроил однокурсник Паша Соколов. Он расписал свою деревню, настоящий «оазис» фольклора в М-м районе, где проживала его бабуля, чуть ли не народная сказительница.

Я, что называется, «купился» на предложение Паши отправиться вместе с ним в чудо-край, о чем по приезде туда пожалел. И вот почему. Во-первых, Пашина 90-летняя бабуля «сказительница» из всего фольклора вспомнила только лишь начало народной песни «Утушка луговая». Во-вторых, Паша оказался никудышным сотоварищем в делах фольклорно-изыскательских, по натуре он был чистым «технарем». И с утра до вечера не вылезал из колхозного гаража, где без Паши, как можно было понять из его высказываний, вся работа остановилась.

Я мотался по округе «за себя и за того парня», то бишь за Пашу, наполняя блокноты фольклорным материалом.

Однажды я по привычке тормознул попутку. За рулем, гляжу, — бывший мой однополчанин Леха Соловьев. Вот так встреча!

С ним вместе мы мяли свои бока на деревянных нарах в Нерехте, дожидаясь отправки в часть, потом томились на соседних вышках, охраняя «зэков». Затем наши пути-дороги разошлись. Леху перевели в автобат, поскольку он имел шоферские корочки, а я «прямой наводкой» отправился в дивизионную многотиражку.

— Значит, Санек, в учителя решил податься, — буравя меня своими раскосыми глазами, пробасил Леха. — Ну-ну, дело нужное. Я было тоже в автотранспортный техникум поступил, да бросил... Шоферю в лесничестве... Жениться вот надумал. Через неделю расписываемся. Приглашаю.

... Так вот нежданно-негаданно угодил я на свадьбу.

Стоял конец июня. Было жарко так, что курицы лежали в пыли, раскрыв клювы.

Из душной избы гульба выплеснулась на волю. Отчаянно голосила гармошка в руках всклокоченного гармониста. Низкорослый дедок по-молодому дробил в женской компании, за полночь выкрикивая: «Пляши, Матвей, не жалей лаптей, тятька новые сплетет».

Женщины выпевали:

Скоро, скоро лед растает,  
Время движется вперед.  
Скоро девок расхватают —  
И до баб черед дойдет!

Курносая девчонка моих лет в тоненькой розовой кофточке озорно выкрикнула:

— Эй, студент, присоединяйся к нам со своим фольклором!  
Была не была — пропадала! Как там у Есенина: «Я ли вам  
не свойский, Я ли вам не близкий...»

Для «затравки» я выдал:

Опа, опа,  
Где моя зазноба?  
В огороде яма,  
Она, наверно, тама!

Девчонка не осталась в долгу:

Не хвались, что ты красивый,  
Не красивее людей,  
Не тобой ли на конюшне  
Напугали лошадей?

И пошло-поехало...

Девчонки-девчонки  
Отшибли мне печеньки.  
Теперь я без печенок,  
А все люблю девчонок.

Дедок опять оголосился: «Давай, Наташка, бацай, пущай  
знают нашенских!»

И юбка — да, да,  
И сборка — чи, чи,  
Прочищикала миленка —  
Хоть по радио кричи.

Вдруг девчонка как-то сникла, прекратила пляску и юркнула в дом.

Вместе со мной на «пятачке», брошенном на лужайку листе фанеры, осталась кубатуристая дама в сапогах-чулках по тогдашней моде. Соревноваться с ней в частушечно-плясовом единоборстве мне расхотелось.

Я вошел в затененные сенцы и увидел Наташку. Она, уткнувшись в ладошки, плакала...

— Ты чего, Наташ? — я прицепился к девчонке.

— Уйди, пожалуйста, — попросила она.

Ладно. Пошел, разыскал молодоженов.

— Что это с ней? — спросил я Леху.

Тот выщелкнул из пачки «примину», хмуро сдвинул брови.

— Тут, Сань, такое дело. Парень у Наташки был... Прозвище у него смешное — Крендель. Класса с шестого они с Наташей дружили. Из Ковровской учебки написал он Наташе, мол, отправляюсь на юг «загорать». Вернусь домой — не узнаешь курортника... Короче, попал он в Афган, и перед самым «дембелем» его БТР подорвался на мине. Вот и пой, гармонь, выбивай частушки...

... А материалы нашей фольклорной практики потянули на «отлично».

Олег ХОМЯКОВ

## ОДНОКЛАССНИКИ



итатели моих очерков о людях кино говорят: «Вам по-везло на встречи с яркими личностями, которыми полон мир искусства. Но если бы ваша жизнь протекала в любимой вами Шарье? Для «Гербария» не потребовался бы пухлый альбом, хватило бы школьной тетрадки. Не так ли?»

Не так. Мои встречи с людьми, оставившими неизгладимый след в сердце, начались именно в Шарье, в стенах школы, порог которой с новеньkim, подаренным бабусей портфелем я переступил в 1942 году. Портфель сносился, я заменил его на полевую сумку, — вот представьте: лежит она в парте, а я, пятиклассник, веду глазами по сторонам. Нет, конечно же, я ни о чем таком не подозреваю: кругом обычные мальчишки и девчонки. Я не тряпичник по натуре, мне не вспомнить, не опи-сать, в чем они были одеты — всегда скромно, строго, опрятно. Толкни меня Некто Вещий в плечо и скажи голосом оракула: «Разуй глаза! Вот эта, перед тобой, Вера Калашникова, будет трижды чемпионом Олимпийских игр. Геннадий Дмитриевич Ковригин поставил ей вчера пятерку за «стометровку». Провинциальный чудак! Ему следовало поставить ей «десятку» — и дать телеграмму в Росспорткомитет о девчонке-самородке. Ведь в ее пятки природа вложила пару «золотых крыл», которые взорвут восторгом чащу Хельсинского стадиона, когда секундомеры засекут не один, а несколько рекордов подряд! К счастью, физвоспитатель в Вологде, куда Вера поедет учиться, будет прозорливее шарынского капитана запаса. И вся слава потом достанется ему, а о «Генаше», школьном физруке, пристрастившем девочку к бегу, не напишет ни одна газета, ни один журнал. Кстати, рядом с Крепкиной (будущая по мужу фамилия Веры) сидит Галя Лебедева. Ее Геннадий Дмитриевич спросил: «Ты хорошо бегаешь?» Галя из деревни: «Это за козами, что ли? Когда разбредутся, я в пять минут все поле и подлесок обегу. Подол свищет, когда через кусты прыгаю». — «Значит, бег с барьераами твоя дистанция?» — «С какими еще барьераами? Я вам про коз говорю». Вот и стремись с таким контингентом на спортивный Олимп, отставай честь державы!.. Между тем Галя ненамного уступала

Вере на дистанциях, а в институте, увы, не встретила тренера-наставника. Тут ведь орел-решка».

Некто вновь подталкивает меня: «Лешу Белова видишь? Нескладен, бледнолиц, застенчив. Даже его пятерки по всем предметам как-то не бросаются в глаза. И комсомольский значок потускнел на черном кителе, всегда застегнутом на все пуговицы. Ни в ком так не обманчиво внешнее впечатление, как в русском пареньке с пятерками (или даже тройками) в классном журнале. Леша — национальное достояние! Знай и помни. Его засекретят. Из него не вырвешь признания, что 1-й и 2-й внешний пояс противовоздушной обороны Москвы — включая местечко близ Шары — будут на его государственной совести. В Пентагоне почешут затылки. Там не любят множественное число: «коллектив разработчиков», «группа товарищей»... Там принят иной жаргон: «Этот парень, который запер русскую столицу с неба, превратил шифровки Пеньковского в кучу мусора. Где они его нашли? В каком колледже он учился?» Нашли в городке на Северной железной дороге, после школы учился в Ленинграде — в институте авиационного приборостроения на радиотехническом факультете. Работал в ВПК — в Протве, в Москве. Некоторое время в Египте. Да мало ли еще где: история — до поры — умалчивает». И все — правда, сущая правда! И спрошу я через 20 лет Алексея, когда он приедет в командировку в Свердловск: «Как жизнь?» И улыбнется он все той же неброской, скупой улыбкой: «Нормально. По Шарье скучаю. А ты?» — «Спрашиваешь!»

Опять толчок в локоть: «Взгляни на ряд у окна. Ты в матроске ходил в детский сад. И не с тех ли пор сердчишко екает при виде гюйса, рассеченного лентой с якорем, колет глаз лутик, летящий с пуговицы на бушлате. Замечаешь, моряки — любимцы Шары. Ведь за тысячи верст от моря, а обожает, балдеет от них городок! «Улица Адмирала Виноградова»... Да не о героях теперь речь». И Некто Всеведущий продолжает: «Посмотрите на Стакана Палыча! Глупое прозвище, но прилипло. Не станет он, Юра Кудрявцев, адмиралом. Как раз потому, что вершители армейских судеб в зеленых мундирах тронут в душе его гордую, большую струну — честь бело-голубого флага... А пока он сидит и глазеет (на уроке ботаники) на прибывший пассажирский поезд. Будущий храбрый офицер советского военно-морского флота. Выше всех званий, ибо звания присваиваются, а храбрость даруется — Господом Богом». Что ж, возразить нечего. Кое-что из сломанной офицерской судьбы Юрия мне известно. Однокашники.

«Это не все дорогой. Слушай меня внимательно...»

«Но не много ли — для одного класса?»

Некто, говоря обо мне, вспоминает Экзюпери: «Сам ты никаких высот не достигнешь и никаких солнц не затмишь. Трудом праведным не наживешь палат каменных: велосипеда, и того лишишься. Но писатель-летчик прав: самая бесценная, самая за видная на земле роскошь — это роскошь человеческого общества. Согласен?» — «В этом ведь может убедить жизнь, а я сижу в данный момент в школе, в 7 «а» классе, и тот же Антуан де Сент-Экзюпери еще не переведен на русский язык». — «И все же ты не можешь не видеть, что за четыре парты от тебя сидит девочка, которую зовут Лара. Мелькнут годы и...»

«Она станет красивейшей женщиной России? Это хотите сказать?» — «Да!» — «Но не лучше ли нам поменяться ролями? Жизнь спустя, я кое-что смыслю в женской красоте — потому хотя бы, что был членом художественного совета двух студий, участвовал в отборе актерских проб. Учился в институте кино, где первые красавицы России просто не могут не собраться — на актерском факультете».

Алла Ларионова, Зина Кириенко, Оля Бган, Люда Гурченко... ВГИК размещался на 4-х этажах недостроенного корпуса и походил больше на школу, чем на ВУЗ, — дружную, живущую одной семьей. Из мамонтовских изб, о которых я рассказывал в очерке о Николае Рыбникове, мы переехали наконец в новое общежитие. По воскресеньям танцы, где весь будущий цвет советского кинематографа. Наша 204-я комната души не чаяла в Иде Кириенко (она не хотела зваться «Зиной»), и как-то мы пригласили ее к себе — в перерыве между танго «Голубка» и «Вальсом цветов». Караглазая, белолицая, улыбчивая, с гибким, грациозным станом казачки. Прелестница разила наповал. Ей захотелось глотнуть чего-нибудь холодного, освежающего. Лимонад не водился в наших тумбочках, я предложил молока. Налил в стеклянную кружку, расцвеченную незабудками. «Ида, — говорю, — уверен, что с этого дня сия посуда делается реликвией. Обещаю сдать ее в музей кино, который когда-нибудь откроется. Только бы там не разбили, вырывая у меня из рук!» И хотя Ида снялась на тот момент лишь в короткометражном фильме «Надежда», посвященном Волго-Донскому каналу (провальном, хотя снял его сам С.А.Герасимов), она приняла комплимент как должное. А ведь до ее Натальи в «Тихом Доне» было еще ой как далеко! Женскую судьбу красоты прожектором высвечивает на годы вперед, но не говорю — до конца пути.

А как хороша была Люся Гурченко — на институтском вечере, на сцене с аккордеоном в руках! Тогда мировой экран признал королевой аргентинскую актрису Лолиту Торрес, и чем-то похожая на нее, в возрасте любви, в канун собственного триумфа «Карнавальной ночи» Люся пела ее песенки: «Кто был хоть

раз под сенью португальской ночи, тот позабыть ее не сможет, не захочет». И сидящие в зале понимали: эту миниатюрную, похожую на живую фарфоровую статуэтку девушку невозможно забыть, даже если очень захочешь.

Лишь один человек первым опускал руки в громовом прибое аплодисментов, мотал головой и говорил себе: «Нет, не Лара». Это был я. И меня мог понять только тот, кто знал Лару.

В сотнях фильмов за долгую кинематографическую жизнь я искал подсознательно встречи со своей одноклассницей. Тщетно! Что-то мелькнуло в Инне Гулая, в Валентине Малявиной, первая роль Цыплаковой — но нет, не то. Никогда я не верил в магию словесного портрета, а все же за строчками Бориса Пастернака в героине романа «Доктор Живаго» увиделась вдруг она. Тоже ведь Лара. Случайно ли? И в одноименном американском фильме некая аура шарыгинской девушки в актрисе несомненно присутствует. Совпадение? Красота женщин — не туман, который рассеивается под утро новых времен. Она кочует, передается: она Туманность Венеры во вселенной сердца — любого и каждого. Она вечна! Мне не нужна была подзорная труба, чтобы увидеть ее в 21-й школе на соседней парте. И я не знал, что Борис Леонидович Пастернак открыл ее много раньше, глядя в телескоп своего гениального романа. Но мы, не сговариваясь, дали звезде одно имя — Лара.

Впрочем, в шутку я называл ее «Коробочкой» — по литературе как раз проходили Гоголя: она не обижалась. Нашим девчонкам, хлебнувшим военного детства, недоставало роста. Лара сводила мальчишек с ума, но будь она чуть выше ростом, подтянувшись к героине фильма о Волго-Донском канале, в мужском обществе 21-й школы, мединститута г. Перми, в западном полуширии, на Кубе, а потом в Ижевске начался бы массовый психоз, ей-ей!

У нашей Лары (говорю так от имени всех ушибленных ее красотой) чарующие, гипнотические глаза — каштанового цвета с зеленоватым малахитовым оттенком. Прикрыты слегка утяжеленными веками, как у «Незнакомки» Крамского, они заманчивы и властны. Они не говорят: «Ты мой, я тебя съем». Лара не охотница за мужчинами и никогда ею не была. Они просто смотрят. А тот, на кого они смотрят, слепнет. Только и всего... В жилах Лары течет украинская кровь: она отчасти дивчина, за которую парубки кладут жизни... Если бы не губы, припухлые, сочные, развитые (позавидует негритянка), для обозначения которых в литературе существует слово «вожделенные», на миловидном ее лице смотрелись бы, замечались и короткий нос, словно выточенный из слоновой кости, и полные щеки с ямочками, что глубже всех бездн. Губы, однако,

завораживают! И завороженному, снедаемому вожделением, не до ямочек. В первые мгновения.

Я сказал уже — не доверяю словесным портретам. Читатель вообразит себе невесть что, а к Ларе это почти не относится. Ибо «красота есть тайна» по Достоевскому, и он прав. Стилисты изощряются в красках, народ же все вкладывает в простые, страшные слова, уже приведенные мною. Сколько я себя помню с 5-го класса, когда зеленоглазое чудо с косичками переступило порог моей школы, все с ним связанное, ему подвластное несло зримую печать той именно «сумасшедшинки». Мальчишки, словно красноармейцы на Карельском перешейке, ползли по сугробам к ее дому на Ульяновской улице — чтобы кинуть в окно снежок, вызвать на улицу. Потом следовали «разборки» между ними. Это порождало цепь пионерских сборов-разбирательств, классных и родительских собраний. Чем старше, тем Лара красивей, а парни — безумней. «Ну кто в нашем kraе Larису не знает: она так умна и прекрасна!» И тут пришлые «из-за линии» устраивают свалку в вестибюле, пытаясь проникнуть в школу — потанцевать с Челитой. И Валя Сулоев в новогоднюю ночь на лыжах прибежал из другого города (!), чтобы поводить «ручеек» на школьном балу и, взяв Лару за руку, не выпускать — пока сама не вырвется... А спустя годы — даже представить жутко — сын Болгарии, одареннейший инженер, красавец мужчина полезет в Гаване по отвесной стене небоскреба (не каждый альпинист решится), чтобы увидеть Лару в окне и умолять ее выйти за него замуж. Инсаров XX века! К счастью, он не сорвался, не погиб — получил отказ. Он имел смутное представление о России, но не о том растворенном в ее глубинах городе, в котором выросла не тургеневская Елена. С ее чисто шарьинскими понятиями о любви, долге, чести... И какая, я вас спрашиваю, кинозвезда, чья биография полна рассказней и басен, сочиненных журналистами, может похвалиться таким «скалолазом», таким эпизодом?..





# О ДЕТЯХ И ДЛЯ ДЕТЕЙ

Евстилия ПРОКОФЬЕВА

## КОЛЫБЕЛЬ МОЯ



х, что за дни выдались в ту давнюю осень! Солнечные, теплые, будто лето после дождливой поры вернулось. Даже яблони зацвели.

— Не к добру это, — говорили старики.

А какое зло от хорошей погоды и цветеня? Радость одна да красота. Хорошо было в те дни в лесу! Свободней и светлей стало.

Я любила ходить по лесным тропинкам. Иду, бывало, да палочку обстругиваю, авось на что-нибудь сгодится, за природой наблюдаю, птиц слушаю. Все увидеть, все запомнить хочется. Писать бы научиться. Научусь — все опишу.

А то к лесному прудику приду. Был такой неподалеку от кордона. Отец мой, лесник, в нем карасей развел. Лягу на прогретый солнышком берег, ногами в воздухе болтаю, на отражение кустарников в воде любуюсь, невольно встречая свой восхищенный взгляд.

Воды в пруду мало, а карасей — уйма. Как кочки, подернутые тиной, торчат. Рты разеваю, жабрами шевелят, пузыри пускают.

Лужок у пруда зеленый, мягкий. Маргаритки цветут, к себе манят. Отец скашивает их, а они опять цветут.

Я поднимаюсь с бережка и ложусь среди цветов. Гляжу: перед самым носом божья коровка по травинке ползет. Над стожком сена, на стожаре, ястреб, нахохлившись, дремлет. А кругом все лес да лес, такой яркий, милый, свой!..

Ах, прелест какая — лежать в этой зеленой колыбели да глядеть на все!

## МАШЕНЬКА

Скучно зимой на лесном кордоне, особенно в праздники. Леса, укрытые снегом, притихли, дорога лишь конная. Уходит вдаль между деревьями эта дорога, и кажется, к людям в селение зовет.

Вот и собирались Машенькины папа и мама к ее бабушке Марье Васильевне Новый год встретить. В доме ее просторно, приятно, гостей в праздник полон дом.

У крыльца нетерпеливо поскрипывал гужами вороной красавец Червонко. Машеньку усадили в окорчеве саней, на раскинутом тулупе с густой шерстью. В сорока одевках — кофточках, свитерочках, телогрейке и шубке, она походила на куль. А мама еще шалью с кистями обвязала этот куль, затянув на спине толстый узел. Укрыла полами тулупа.

Полозья под Машенькой тонко запели, дорога, казалось, сама под сани ныряла.

— Тпру-у! Тпру-у! — то и дело сдерживал отец Червонко, натягивая вожжи. Машеньке было неловко и душно. Она раздвинула полы тулупа, ловила свежий воздух. Мама, заметив это, стала пугать:

— Ой, волки! Волки! Целая стая. Бегут и хвостами следы свои заметают.

Ох уж Машеньке эта мама! На улицу не ходи — зайцы Машеньку залягают. Фортинку не открывай — вороны на гнездо к себе утащат. Теперь вот волки... Волки, думалось Машеньке, живут где-то в чаще, за ее домом. Их прогнал туда кто-то сильный и злой. Потому и воят ночами, да так, что Машеньке в ее кроватке под одеялом жутко бывает. Жаль ей этих серых больших собак, похожих на ее собаку Сиротку, которая так любит играть. Топать лапами, тявкать и так смешно носить в зубах ее, Машеньки, кукол по дому. Волки тоже хотят поиграть, потому

и бегут, решила она. Но Машенька скоро приедет к своей бабушке Марье. Та будет тискать ее, ужимать, совать ей и в руки, и в карманы платья то пирожки, то конфеты.

— Ешь, Машенька! Ешь, моя сладкая!

Потом каждый из гостей будет тискать ее, ужимать и совать ей гостинцы. Но Машенька совсем не хочет есть и очень устала. Кроме того, все это ей до смерти надоело — и шаль с кистями, и туалет, и косынка, которая так стянула лицо.

— Нет лучше на снег из саней, чем в гости, — решила девочка. Волки подхватят ее, унесут Новый год с ними у елки, засыпанной снегом, встречать. Там и Снегурочка будет, и Дед Мороз. Они ведь тоже, как волки, в чаще живут. Подарки детям там припасают на праздник.

Машенька начала двигаться. Но мамины руки в мягких варежках тут же укрыли ее — плотнее, чем было.

— Пусти-и! Машенька хочет бай-бай, — лепетала она своей маме и, притворно зевнув, прикрыла ресницами глаза.

Такое много раз уже было. Притворится девочка спящей в своей кроватке, мама обрадуется и тут же из дома: то сена скоту давать, то пойдет корове снести. Мама в дом, а дочка уже по улице мчится, только волосы мягкие, светлые ветер треплет. А то у открытой форточки на кончиках пальцев стоит и рукой воробушкам машет. Но мама снова и снова ей верит. Вот и в этот раз мама обрадовалась, решив, что ее дочка, согревшись в туалете, будет спать всю дорогу, и отвернулась к отцу Машеньки. Ей не терпелось ему что-то сказать, словно времени на это у нее больше не будет. Машенька вы свободила руки и вползла на искосину саней. Сани замахнуло, мама вскрикнула. Конь рванул и понес. Машенька замерла на снегу вверх узлом и дивится: «Чего же так медлят волки? Ну где же они?» А вокруг только сосны да ели, да белый до боли в глазах снег.

Над Машенькой склонилась мама в своей длинной овечьей шубе.

«Все пропало!» — испугалась Машенька и стала бить в снег ногами в серых валенках и кричать:

— Волки! Волки! Машенька не хочет к бабушке Марье! Машенька до смерти устала! Машенька хочет к волкам!

## КОМАР И МУРАВЕЙ

*Сказка*



видел однажды Комар Муравья, стал на лопухе, растопырил крыльшки, скрестил важно тоненькие ножки и говорит этак сверху Муравью:

— Все стараешься? От своих стараний совсем ты уже черный стал, усами землю задеваешь и вокруг себя не видишь ничего. Век тебе, Муравей, не знать, что такое комариная жизнь. Пора бы тебе, Муравей, знать, что умная козявка в общую кучу ничего тащить не торопится.

— А для чего мне жизнь твою знать? — спрашивает Муравей. — Мне и своей хватает. Некогда мне с тобой зря челюстями хлопать. Не мешай мне дело делать.

Однако остановился: уж больно ноша была тяжела.

— Темное ты насекомое, — сказал Комар. — Работа муравьев любит. А я вот летаю, свои собственные звуки издаю.

— Ну и летай себе, — говорит Муравей. — Чего тебе еще надо?

— Мне бы теперь только человеческой крови насосаться, — отвечает Комар, — остальное я все видел, все знаю. Еще когда я был водяным червяком и лежал в тине, понял я, что земная теснота не для меня. Не стану я, как ты, в земле копаться. Вот и расправил я свои крыльшки, взлетел и увидел, что на свете есть сосны, чтоб подпирать перед нами небо, а на небе есть тучи, чтобы давать сырость нам, комарам. И еще я слышал от знающих комаров, что, человеческой крови напившись, комар сто лет живет. Нет, не сравнить комариную жизнь с вашей, муравьиной. Вот пройдет человек и тебя сапогом раздавит, потому что ты ползаешь по земле, или медведь всю вашу кучу разворочает. А ведь среди муравьев не все живут, как ты. Известно ли тебе, что есть на свете летучие муравьи?

— Что-то не слыхал, — отвечает Муравей. — А ты не врешь? Ты сам-то их видел?

— Стоило бы мне с тобой разговаривать, — пропищал Комар. — Я тебя могу сегодня к ним свести. Может быть, и ты летать когда-нибудь научишься.

Призадумался Муравей. «А не плохо бы, — рассуждает он про себя, — летать научиться. Так-то я бы всю ношу вмиг к муравейнику доставил. Вон Комар, куда захочет полетит, кого захочет, того и укусит».

Посмотрел Муравей на свою ношу и видит: весу в ней на три дня таскать, так что не стыдно и на другой день такую ношу приволочь.

— А далеко ли бежать? — спрашивает он Комара.

— Совсем рядом. Вон за поляной да за ручьем.

— Ладно, — согласился Муравей. — Позапрячу я зерно под листом до завтра, а ты пока сведешь меня к летучим муравьям.

Так и справились они: Комар сверху с куста на куст перелетает, а Муравей внизу что есть духу бежит.

Долго ли, скоро ли — одолели поляну, впереди показался ручей.

— Погоди! — кричит Муравей Комару. — Мост построить надо.

— Экий ты, — пропищал Комар, — везде ты себе работу ищешь. Влезь на куст, раскачайся да перепрыгни.

— У нас так не делают, — отвечает Муравей. — Надо, чтобы любой работой и другие пользоваться могли.

Притащил Муравей длинную соломинку, набросил с берега на берег, сам перебежал и козявок пропустил.

Побежал дальше Муравей, а Комар сверху пищит и Муравью досажает:

— Не возился бы ты со своим мостом — теперь бы давно к летучим муравьям попал, а может быть, и летать бы уже выучился.

— Не твоя забота, — отвечает Муравей, однако поторапливается. Смотрит, а впереди дерево рухнуло и поперек пути лежит.

— Погоди! — кричит Муравей Комару. — Лестницу построю.

— Экий ты глупец! — пищит сверху Комар. — Влезай на ветку, с ветки на ствол, а по другую сторону опять же с ветки спустишься.

— Нет, — отвечает Муравей, — у нас так не положено. Принес хворостинку, поставил к дереву, а еще хворостинку приладил с другой стороны. Сам перебрался и жучков пропустил.

Отправились дальше, а впереди паук широкой паутиной тропу перегородил.

— Погоди! — кричит Муравей. — Паутину прогрызу!

Только успел перегрызть две главные нитки, на которых паутина держится, а Комар уже пищит сверху:

— Надоел ты мне, Муравей, со своею работой. Оставайся здесь, не стану я ждать тебя.

Что тут поделаешь? Проскочил Муравей под паутиной и побежал за Комаром. Долго бежал, наконец, видит: большой

муравейник возле пня стоит. Вокруг муравьи бегают, а на спи-не у каждого муравья крыльшки.

— А что вы, братцы, не летаете? — спрашивает Муравей.

— Нам работать нужно. Видишь, сколько работы: муравей-ник достроить, к зиме запастись.

— Выходит, и вы без дела не сидите?

— А как же, на то мы и муравьи.

— Эй, Комар! — кричит Муравей Комару. — Вот дам я тебе взбучку, чтобы честный муравейник не срамил.

Запищал Комар, рассмеялся:

— А ты взлети ко мне попробуй!

Что тут делать Муравью? Побежал он обратно, а Комар сверху летит да Муравья дразнит:

— Эй, послушай, ты, козявка! Вот погляжу я сверху: ты не муравей, наверно, а таракан. Уж где тебе летать, когда ты бе-гать толком не умеешь.

Бежит Муравей, обиду глотает. Пробежал Муравей под пау-тиной, а Комар в то время все кружился над ним, задел крыльиш-ком тенета да в паутине и завяз.

Запищал Комар от страха, задергался.

— Ой, братец Муравей, помоги мне, погибаю!

Перекусил Муравей три паутинки, упал Комар на землю, от страха еле дышит: чуть-чуть было его паук в мохнатые лапы не забрал.

Слиплись у Комара от паутины крыльшки — лететь не может.

— Мне бы теперь до солнечной поляны добраться. Я бы там крыльшки расправил.

— Ну что же, пойдем, — говорит Муравей.

Пошли они вместе. Муравей бежит себе, через ветки и ка-мешки перескакивает. Перебирает Комар тоненькими ножками, спотыкается, выбивается из сил.

Подошли к дереву, что поперек дороги лежит, перебрались через него.

— Ну как: пригодилась моя лестница? — спрашивает Муравей.

— Пригодилась, — пищит Комар.

Подошли к ручью.

— Пригодился мост? — спрашивает Муравей.

— Что и говорить, — еле дышит Комар.

Подкосились его комариные ноги, упал он и говорит:

— Ох, братец Муравей, совсем я из сил выбился — идти не могу. А все для тебя старался, хотел, чтобы у тебя крылья вы-росли. Ты бы взял и понес меня: ты ношу в три раза большую ношишь, что угодно таскать умеешь.

Взял Муравей Комара, потащил сквозь завалы. Тащит-старается, сил не жалеет, ног не бережет. Вынес Комара на поляну. На поляне солнце светит, над поляной шмели, бабочки летают.

— Послушай, Муравей, — просит Комар. — Поразгрызика, братец мой, паутину, что на крыльышки мне налипла.

Уважил просьбу Муравей: погрыз паутину, соскреб с Комара. Посидел Комар на солнышке, обсох, обогрелся, расправил крыльшки, загудел и в воздух поднялся. Покружила над Муравьем и спрашивает:

— Эй ты, темное насекомое, кто это там на поляне громадный стоит и целым деревом поляну выметает?

— А это человек, косарь траву косит, — отвечает Муравей.

— Он каждый день сюда приходит.

— Ага, вот его мне и нужно! — запищал Комар. — Давно хочу крови человеческой напиться.

Закружила Комар над косарем, пищит ему в ухо:

— Ты что руками машешь? Сейчас я кровь твою пить буду!

— Вот это дело. — Крестьянин остановился. — Давно тебя я жду. Только ты, Комар, скажи мне сначала, зачем тебе так кровь моя нужна?

— А потому что я сто лет хочу жить, летать и трубить комаринным голосом, чтобы все знали в лесу: Комар летит, а не какой-то там Муравей в земле ковыряется.

— То-то дело! — говорит крестьянин. — Садись-ка ко мне на ладонь.

— А зачем на ладонь? — спрашивает Комар.

— А за тем, что в середине ладони мягкое место есть и чтобы мне видеть да радоваться, как ты кровушку мою, Комар, будешь пить.

— Так и быть, уважу, — обещает Комар. — Мужику тоже какая-то радость нужна: путь и он посмотрит, как из него кровь сосут.

Сел Комар на широкую мужицкую ладонь, растопырился от важности. Только хоботок вонзил, а крестьянин другой ладонью — хлоп!

Посмотрел Муравей, как мужик Комара прихлопнул. «Ну, — думает, — теперь и я пропал, раздавит сейчас и меня сапогом».

Припустился во весь дух, в траве запутался. Увидел крестьянин Муравья, приподнял на соломинке. «Эка, работяга, умаялся-то — совсем как наш брат, крестьянин». Подул слегка да и сбросил потихоньку Муравья в его родной муравейник.

## СОРОКА И ВОРОН

### *Сказка*

Вышла однажды Сорока замуж за Ворона — чего не бывает в дремучем лесу.

Жил Ворон на великом дубу, что триста лет стоял и возвышался над лесом дремучим. С дуба Ворон голос подавал, и голос этот по всей округе разносился. Неказисто гнездо у Ворона, открыто со всех сторон, зато даль необъятную видно, и дышится легко.

Потрещала Сорока вокруг Ворона, повертелась вокруг гнезда и говорит:

— Что толку тут в твоей высоте? И словом перемолвиться не с кем, и в мусоре не поковыряешься, — ни одной свалки не видно. Для порядочной сороки никакой тут радости, никакого удовольствия нет, да и гнездо твое — чего уж тут скрывать, — хотя и высоко стоит, а и на полхвоста все ж ниже орлиного. Оно, конечно, поднимается, потому что дерево растет, а не потому, что ты все это заслужил.

— Что поделаешь — тому так быть, — отвечает ей Ворон.

— Как так быть? — протрещала Сорока. — Давай ниже опустимся. Этак я с тобой совсем от родни отбилась. Не понимаем, говорят, тебя, чего ты там нашла? С тобой не то чтобы в гнездо, по слухаю, чужое заглянуть, — сколько с тобою живем, а я еще ни на одной навозной куче не сидела — души не отвела. Темная ты птица. Смотри, как вон твоя родня, серые вороны, везде шныряют, как умеют все добыть, достать. Загубил ты всю мою сорочью молодость! Уж лучше бы я за сыча замуж выскочила. Тот по крайней мере ничего днем не видит, что его сорока у него же под боком творит.

— А вот ночью он тебя бы обшипал, — отвечает Ворон.

— А это не твое уж дело, кому и как мои сорочки перья щипать. Только так жить, как ты живешь, я больше не хочу. Или выше устраивайся, чтобы тебе царем птиц быть, а мне бы в любом мусоре раздолье было, или катись вниз, к моей родне поближе: там тебя уму-разуму научат.

— Не сорочьего ума дело, где и как Ворону жить, — отвечает ей Ворон. — Что-то, чую я, в небе неспокойно. Слыши, листвы шелестят, вершины елей тихо стонут. Взлечу-ка я над лесом, оглянусь окрест.

— И все-то тебе надо, — говорит Сорока, — сидел бы себе да кости обклевывал.

Не послушал ее Ворон, полетел над лесом и видит: мрачная туча с края неба заходит. Из тучи молнии страшно хлещут, разбивают деревья с вершины до корня. Мчится та туча силою страшной,

вот-вот на лес обрушится и всех, кто не успеет склониться, задавит или в клочья разнесет. А внизу — видит — солнышко еще светит, все звери и птицы живут себе да веселятся.

И взмахнул тогда Ворон крыльями во всю свою могучую силу, взметнулся высоко перед грозной тучею. Прокричал он раз так, что листья задрожали, прокричал два — и сухие сучья с деревьев посыпались, прокричал он в третий раз — и грянул страшный гром. Но звери и птицы голос Ворона раньше грома услышали, — успели спрятаться склониться. Только Сорока все трещала и после всех скувыркнулась в кусты.

Навалилась, нагрянула туча на дремучий лес, ураган вырывал и мял деревья, а самая большая молния ударила Ворону в гнездо.

Вскрикнул ворон в последний раз, да так, что голос его прозвучал сильнее ненастья. И вот никто его потом уже не видел никогда. Старый дуб с гнездом раскололся, вспыхнул огнем и разрушился.

Вскоре буря схлынула, проглянуло светлое солнышко.

Вышли звери, вспорхнули птицы. Поглядели, а у Сороки хвост покрылся синевой, окалиной от молнии. Подивились и снова жить начали. Да только после бури той все сороки стали вить себе гнезда в кустах, а все вороны — на громадных деревьях. И голос подавать перед бурею.

Фаина СОЛОМАТОВА

### «А Я НЕ СЕРЖУСЬ...»



ережа проснулся. В окно ярко светило солнце.

— Мама! — крикнул он радостно и громко.

— Ты чего орешь, забыл, где она? — недовольно отозвалась бабушка.

Он действительно забыл, что мама с Антошкой в больнице. Антошка — младший брат Сережи — хворает. Сереже скучно без мамы. Жаль ему и маленького брата. В больнице уколы делают, а это очень больно. Разговаривать с бабушкой не хотелось...

Мальчишка оделся и вышел.

На крыльце сидел дядя Витя, курил. Сережа попытался не заметно, бочком, прошмыгнуть возле него. Дядю Витю он тоже не любил.

— Куда намылился? — заорал дядя Витя. — Прежде чем сматываться, должен разрешения у отца спросить. Усек?

— Да... Разрешите, пожалуйста, недалеко от дома поиграть.

— Ну вот. С этого и начинай всегда. Разрешат — катись на все четыре стороны.

— Ты чего завелся с утра пораньше? — Бабушка вышла на крыльце.

— Дай, мать, опохмелиться, — канючил дядя Витя.

— Сейчас — разбежалась. К нему чего привязался? Пошел — и слава Богу. Есть, пить не просит, и с глаз долой.

— Воспитываю. Дисциплина должна быть какая-то. Могу для порядка его к Шарику на цепь привязать.

Сережка, услышав угрозу, сломя голову выскоцил на улицу. Далеко за калиткой перевел дух. Вечером, правда, надо возвращаться. Опять может крепко попасть.

«Бабушка и дядя Витя не любят меня, потому что я им не родной». Об этом же говорила и соседка тетя Таня. И еще про то, что они злые. А вот тетя Таня добрая. Она Сережку всегда кормит. И к маме в больницу они вместе ездили. И еще поедут, когда у тети Тани дел будет меньше. Сережка направился к ней, а по пути решил поиграть на песке около дома Максима. Вскоре Максим и его мама вышли. Они были нарядные и веселые. Сережка спрятал грязные руки за спину.

— Серега, ты почему в садик не ходишь? Болеешь, что ли? — деловито поинтересовался друг.

— Нет, — понурился Сережка, рассматривая свои босые ноги. В спешке он забыл надеть сандалии.

— Тогда пошли, — обрадовался Максим. — На песке и вечером поиграем.

— Максим, быстро идем. Я опаздываю, — торопила мать.

— Сережку давай возьмем. Мне без него скучно, — заныл Максим.

— Меня не возьмут, — грустно сказал Сережка.

— Еще как возьмут! Тебя все ждут, и я тоже. — Максим потянул Сережку за руку.

— Мне не разрешают. Дядя Витя и бабушка говорят: надо много денег, а у меня их нет...

— Нина Ивановна тебя, наверное, без денег возьмет. Я ее попрошу, а завтра ты пойдешь, договорились? — Друг на прощание помахал Сережке рукой.

А Сереже стало очень грустно. ИграТЬ в песочнице расхотелось. Сквозь железную сетку изгороди выползали ветки малины. Он полакомился ягодами. Потом нагнулся ветку ирги. Но сегодня ягоды не радовали, а может, он еще не успел проголодаться. Вспомнил о тете Тане и заторопился к ней, но тут из калитки соседского дома выбежала беленькая пушистая собачонка. Сережка с Максимом иногда играли с ней.

— Иди ко мне, Дианочка. Ты меня не забыла? Я друг Максима. Он в детском саду. А я вот один...

Собачонка весело посматривала на него.

— Можно я тебя поглажу? Я не обижу.

Собачонка узнала Сережу, завертелась около. Смешно подпрыгивала и старалась лизнуть руки.

— Давай дружить. А то мне скучно, — вздохнул мальчишка. — И тебе скучно бывает? У меня сегодня все скучное-прескучное. И ноги, и руки, и голова. И еще глазки тоже скучают. А когда глазкам скучно, они плакать норовят. Я не хочу плакать, но они плачут и плачут... Сейчас слезы потекут, если ты со мной не останешься.

Собака смотрела на Сережу озорно и лукаво. Он погладил Диану. Та взглянула на мальчика доверчиво, но строго.

— Ты со мной хотя бы немножко подружи, если долго не хочешь. У меня так-то друзья есть. Только сегодня я один. Без никого.

— Дианочка! Ты где, проказница!

Собачка со всех ног кинулась на зов. Она смешно крутила хвостом и лизала руки хозяйке.

— Ну хватит, подхалимка, — улыбнулась старушка.

— А я с вашей Дианочкой играл. И она дружить со мной собиралась. А вы ее заберете? — горчился мальчишка.

Сережа испугался: сейчас хозяйка уведет собаку, и он останется опять один.

— Мы на часик отлучимся. Вернемся, пожалуйста, молодой человек. Играйте с Дианочкой — я не возражаю.

— А часик — это долго? — Сереже так не хотелось оставаться одному.

— Не очень, — улыбнулась бабушка.

— Я обожду, — обрадовался мальчишка. — У вашей калитки можно сидеть?

— Пожалуйста. Мы постараемся скоро вернуться.

Но скучать Сережке не пришлось. На куст акации опустилась пестрая красивая бабочка. Мальчик завороженно наблюдал за ней. И только сделал шагок в сторону куста, как бабочка вспорхнула и улетела.

Редкие прохожие не обращали внимания на Сережу. Его вновь охватила тоска, и очень захотелось к маме. Так захотелось, что терпеть он больше не мог. И маме, наверное, очень грустно без Сережки.

«Ты знаешь, Сережка-горешка, как я тебя люблю?!» — вспомнил он слова матери.

«Мы оба любимые. Да? Потому что оба любим. Ты — меня, я — тебя...»

Сережа задохнулся от радости. Он должен сейчас услышать вновь мамины ласковые слова, прижаться к ее груди и рассказать, как ему плохо без нее. Так он больше не может.

Сережа внимательно осмотрелся. Вот тут они проходили с тетей Таней, когда ездили в больницу к маме. Он пропустил по улице. Быстро нашел остановку, где они садились. Теперь Сережка обязательно отыщет маму и Антошку.

Подошел автобус. Он быстро юркнул в двери и уселся на свободное место у окна. Как тут было здорово! Вначале автобус мчался по улицам города. Сережка завороженно смотрел на дома и прохожих. Он забыл про все на свете! И о дяде Вите, и о бабушке, и о том, что отправился на поиски мамы и Антошки. Кончился город. Автобус поехал по лесу. «Вот здесь и живут звери. — Сережка прильнул к окну. — Может, за той огромной елкой притаился живой волк рядом с настоящим медведем? А зайцы, наверное, от них прячутся». Вдруг внизу мелькнула огромная река. Сережке показалось, что автобус летит в нее. Он зажмурился.

— Мама! — громко крикнул Сережка. И прижался к рядом сидящей женщине.

— Ты, мальчик, с кем едешь? — поинтересовалась соседка.

— Я — один, — отозвался Сережка. И со страхом покосился на окно. Реки уже не было. Но на всякий случай он отодвинулся от окна.

— А куда ты едешь? — вновь поинтересовалась женщина.

— К маме в больницу.

— Ты сел в городе?

— Да. Тетя, посмотрите, сколько коровушек. И дядя на лошадке едет. — Сережка вновь прильнул к окну.

— Как звать-то тебя?

— Сережка. Тетя, а дядя лошадку палочкой стегнул. Не надо ее обижать.

— Он не больно. Сережа, а как твоя фамилия?

— Я Сережка-горешка. Так меня в садике дразнят. Только я не сержусь. Мне даже нравится. У нас с мамой была фамилия Горехины. Потом мы переехали жить к дяде Вите, и у нас стала другая, — мальчишка неожиданно оборвал разговор и нахмурился.

— А какая?

Тетя подала Сережке большое красное яблоко.

— Спасибо, — обрадовался мальчишка. — Дяди Вити фамилию я забыл, потому что она мне не нравится.

— А дома знают, куда ты отправился?

— Нет, я убежал от дяди Вите. И еще от бабушки. Потому что они злые. Дядя Витя хотел меня на железную веревку поса-

дить к Шарику. Он большой и тоже сердитый, а я люблю только маленьких собачек. Я у мамы останусь, вот, — улыбнулся довольный Сережа.

Вскоре автобус остановился, и все пассажиры стали выходить на улицу.

— Тетя, вы меня, пожалуйста, отведите к маме в больницу, — попросил мальчишка.

— Пойдем, Сережа...

На улице она долго разговаривала с водителем автобуса. А Сережа был занят голубями. Птицы ничуть не боялись мальчика. Они важно, не торопясь, подбирали хлебные крошки. Их кормила девочка с огромным бантом. Она была нарядная и красивая.

— Дай мне немножко хлеба, — попросил Сережа у девочки, — я тоже хочу птичек кормить.

Девочка показала ему язык, бросила кусок батона и убежала. Сережка подобрал хлеб, стараясь подкинуть каждому голубю. Отщипывал птицам и кусал сам. Он проголодался, но и с птицами хотелось поделиться. Сережка не жадный.

— Ну, путешественник, птах накормил, теперь и самому пора поклевать, — улыбнулся шофер. — Айда в столовую...

Сережка съел суп, котлету, выпил чай.

— Вкусно? — поинтересовался водитель.

— Да. Так в садике кормили, — выдохнул Сережка.

— А ты хочешь туда?

— Очень! Мама вернется и отведет. У меня там много друзей. И еще воспитательница добрая-предобрая Нина Ивановна, — рассуждал Сережа. Ему понравился дядя шофер, и хотелось поведать обо всем на свете.

— А садик твой «Солнышко» называется?

— А как ты, дядя, догадался? — удивился мальчишка.

— А я все, брат, знаю, — рассмеялся шофер. — Сейчас поедем к Нине Ивановне. Идет?

— Еще как идет! — обрадовался Сережка. — И к маме надо. Я так соскучился. Буду всегда с ней. В больнице жить останусь.

— В больнице здоровые не лежат. Усек? А вот спать ты, другожок, хочешь, — улыбнулся шофер.

— Опять догадался! Очень хочу.

— По закону Архимеда, после вкусного обеда полагается споспать. — Шофер подхватил мальчишку на руки. Сережа доверчиво прижался к шоферу, смузкаясь, поцеловал его в щеку.

— Когда я вырасту большой, то буду такой же сильный и добрый, как ты, только работать буду милиционером.

Всю обратную дорогу мальчишка проспал. И ему приснилась мама. Она улыбалась и целовала Сережку...

— Засоня, подъем, — кто-то ласково тормошил его, — вставай, лежебока.

Сережка слушал знакомый голос, но не открывал глаз. Ему так не хотелось расставаться с мамой...

— Утрясло беглеца. Ты отчима и бабушку предупреди, что он у нас круглосуточно будет. Адрес запомнил, Володя?

Сережка открыл глаза. Нина Ивановна — его любимая воспитательница — разговаривала с шофером. А потом он ее поцеловал. Сережка задохнулся от обиды, быстренько вскочил на ноги.

— Ты зачем ее целуешь? Она моя!

— Я выполнил обещание, а он еще ругается. Завтра к матери в больницу скатаемся, если не будешь такой сердитый.

— Правда? — засомневался Сережка.

— Вот чудак. Я маленьких не обманываю.

— Замечательно! А вы, Нина Ивановна, поедете с нами?

— Конечно.

— Все у меня теперь хорошо. А было так плохо одному.

*Владимир СТАРАТЕЛЕВ*

## НИЧЬЯ, РАВНАЯ ПОБЕДЕ



завком «почтового ящика», где работала моя мать, пришла бумага спортивного содержания: предприятие должно выставить футбольную команду на первенство района. В поселке эту бумагу восприняли как курьезную. Мать говорила мне, смеясь:

— Бабскую, что ли? У нас на заводе одни бабы.

Я сразу побежал к Шурке Пузыреву, нашему капитану. Мы уже подумывали играть на район, но не было у нас ни формы, ни бутс, ни путного мяча, а главное — не было повода.

— Шурк, а?

— Без толку, — сказал Шурка. — Тебе четырнадцать?

— Четырнадцать.

— И мне четырнадцать. А на район только с шестнадцати берут.

Зашли к Вадьке Скородумову, третьему нашему закадычному дружку. Вадька был за то, чтобы ныть. Это такой нехитрый способ говорить с плаксивой рожей одно и то же: какие мы хорошие и как нам не дают проявить себя. Шурка посмеялся Вадькиной наивности, но футбольная команда неожиданно поддержала Вадьку.

И мы «донылись» до того, что нас принял сам директор «почтового ящика» Жаринов.

Это был толстый, в военной форме без погон, человек. Его бритая голова отсвечивала в проходной по утрам. Страх он внушал именно утренним бдением, засекая тех, кто опаздывал на работу. Когда мать просыпала смену, это был какофония кошмар. Ужас сковывал ее движения, обескровливал лицо; она выскакивала на дорогу полураздетая, оставляя меня в страхе на целый день. Жаринов обычно стоял перед вертушкой и смотрел на карманные часы. Наказание опоздавшему следовало не сразу, а чаще всего тогда, когда он меньше всего его ожидал: директор оправдывал прозвище «лютый». Он мог отказать в машине: привезти, например, сено. Скоро зарядят дожди, а сено в копнах, за болотом. Так и мается оно там всю зиму, и приходится по воскресеньям впрягаться в санки, чтобы вытащить его. Но это еще ничего. В его власти было пять минут опоздания приравнять к году тюрьмы. И он приравнивал...

Шесть километров до завода мы, одиннадцать мальчишек, оттопали гурьбой, а перед проходной Шурка нас построил, и мы зашагали в ногу и даже запели. Во дворе завоуправления путь нам преградила большая лужа. Лужа эта, как впоследствии оказалось, поколебала решение Жаринова отказать нам, а именно для этой цели он нас и вызвал. Лужу мы сначала вобрали в свои ботинки, а потом ее уменьшенная копия возникла в кабинете Жаринова.

Директор, справившись о нашей учебе, о том, помогаем ли мы матерям, неопределенно как-то махнул рукой (дескать, беру грех на душу) и сказал:

— Всем добавляю по два года, чтобы вас допустили к соревнованиям!

Мы дружно кивнули.

— В карточке каждого будет записано: «Ученик слесаря». Запомнили?

Мы не могли скрыть восхищения. Вот тебе и Жаринов, вот тебе и «лютый». Что ж в нем лютого?

— А сейчас марш на станцию фотографироваться. Как только будут готовы карточки, подадим заявку — получите форму.

Машина, посланная за нами вдогонку, чтобы подвезти к станции, не обнаружила нас на дороге. Мы спрямили путь: сначала к реке, переплыв ее с высокой поднятой над головами одежонкой, потом бежали, чтобы согреться, потому что вода в мае — бrr, кусается. К неудовольствию шофера дяди Паши, показались на станции с противоположной стороны, но директор, когда ему сообщили об этом, остался доволен:

— С характером мужики. А характер в жизни — все!

Выбежав на поле соседнего городка в первый раз, мы услышали за спиной хохот. Болельщики, показывая на нас пальцем, спрашивали друг друга:

— Что за шмокодяявки?

Судья подозвал Шурку Пузырева и переспросил, команда ли это «почтового ящика»? Шурка с достоинством подтвердил, но болельщики в продолжение всей игры издевались над нами. «Отдай ребенку мяч, — кричали они, — не видишь: сейчас заплачет!» Или что-то в этом роде.

Самым слабым местом оказались у нас, как ни странно, бутсы. Трусы и майки мы ушили по фигуре, но бутсы оставались на четыре-пять номеров больше, их не ушьешь. Кто в носы бумаги натолкал, кто портняки подвернулся, но все равно они болтались на ноге и больше мешали, чем помогали. В этих бутсах нас хватало обычно на первый тайм. Во втором мы уходили в глухую защиту и проигрывали. Со временем и защищаться мы научились, но вратарь наш Ленька Федотенков, по прозвищу Федот, был низкорослым и легко пропускал верховые мячи.

Не стану описывать игр в поселке. На первую собрались чуть ли не все жители, а на последнюю не пришел никто. Нам давали кучу советов, ругали на все лады, но мы все время проигрывали. И вот остались две игры на выезде, обе с лидирующими командами, шедшими очко в очко.

На выездах мы чувствовали себя свободнее, потому что за нас переживал один дядя Паша, добровольный наш тренер. Время от времени он выбегал на поле и кричал: «На вороты!» Это когда у нас получалась атака. А когда она срывалась, он напоминал: «Домой! Домой!» Если кто-нибудь из наших проигрывал единоборство, дядя Паша просил: «Запомни финт!», а если следовала подножка или грубый толчок без мяча,

шофер требовал отомстить: «В кость его! В кость!» Понурые, мы залезали в кузов под брезент и плакали. Лучшим из нас был Шурка, но одному ему трудно было справиться с защитниками, а мы не успевали помочь.

Наша команда легко играла первые двадцать минут. Мы словно забавлялись с могучими тяжеловесными дядьками, «женатиками», как мы их называли, но потом следовал удар по нашим воротам, обычно издали, какого-нибудь хитроумного защитника... Мяч летел по высокой траектории, и у меня закрадывалось предчувствие гола. Сейчас Федот взмахнет короткими ручками и... так и получалось. Нащупав уязвимое место, соперники лупили по нашим воротам от центра поля. Мы сникали и никак не могли наладить игру.

Предпоследнюю встречу мы проиграли «мясникам» (рабочим мясокомбината) с неожиданным счетом 7:8! Первый тайм вели 5:2, но во втором не смогли сдержать напора «мясных туш», которые, озлившись, толкали нас налево и направо. Дело двигалось к ничьей, но последние минуты игра шла в нашей вратарской площадке в невообразимой толчее, когда движение мяча непредсказуемо, и вот один такой непредсказуемый отскок и решил исход не в нашу пользу.

Мы не радовались, но и не плакали. Дядя Паша не мог скрыть изумления: «А ведь чуть не забодали этих козлов! Ну, пацаны, даете». Шурка забил три гола, мы с Вадькой — по одному. До сих пор мы забивали дуриком, а в этой игре голы получились чисто комбинационные, когда я, Вадька, а чаще Шурка (мы играли в нападении) высекали на свободное место перед воротами и били без подготовки. Мяч влетал в сетку, а мы какое-то время не верили, что забили, потому что до сих пор еще не забивали. На последнюю игру с авторемонтниками нас повез сам Жаринов.

“Опупели? — загремел он, встав на подножку и стуча по брезенту. — В район хоть не показывайся. Хожу с ярлыком «гробового ящика»!” Мы притихли в кузове, ожидая, что будет дальше, но дядя Паша завел мотор и тем самым выручил. «Проиграете, — все же отыскал нас голос Жаринова, — пешком пойдете. В чем мать родила пойдет!»

Когда выбежали на разминку парни авторемонтного завода, крепкие, ладные, настоящие слесари, не то что мы, липовые, Жаринов понял, что нам с ними не справиться.

— Играять кучей, — приказал он, — кучей вперед, кучей назад. Не лезьте в середину. Численное превосходство на краю. В случае чего — в аут.

— Мы играем по английской системе,—вразвал Вадька.

— Проигрываете! — рявкнул директор.

О том, как будем играть, мы договаривались обычно по дороге. В этот раз Шурка предложил сыграть сильно в первом тайме. А дальше как получится. И вот Жаринов приказывает обратное: тянуть резину. Мы не посмели ослушаться, иначе прощай форма, бутсы и вообще — футбол! Дядя Паша подал знак: делайте, как велят.

Начало вышло забавным. Мы навязали ремонтникам свою игру. Постепенно они сбились в кучу и охотились не столько за мячом, сколько за нашими ногами. Игра в мелкий пас лишила их преимущества, к тому же они любили обводку, и мяч буквально застревал в частоколе наших ног. Жаринов снял френч и щелкал подтяжками от удовольствия. Но вот последовала одна длинная передача, вторая, мы заметались по полю, куча наша рассыпалась, и один за другим два мяча влетели в сетку наших ворот. Директор в сердцах порвал подтяжку и приказал дяде Паше отчаливать.

Дядя Паша, всегда такой дисциплинированный, точный, исполнительный, впервые ослушался своего начальника. Бритая голова директора угрожающе наклонилась к нему, но он в ответ лишь швырнул ключи от машины. Вот что делает с людьми футбол! И кто знает, может быть, с этого противостояния дяди Паши, самого преданного нашего болельщика, и пошла у нас игра во втором тайме.

Вышли в бутсах, судья дал свисток, и второй тайм начался. Но вот один разился, второй, третий... Дядя Паша только успевает собирать бутсы на поле. Судья видит, что мы босиком, но молчит. Слесари иронически улыбаются. Однако... Шурка обогнал с мячом соперника, потом я, потом Вадька... Бегу параллельно с Вадькой, знаками показываю, чтобы отпасовал мне, Вадька пасует, я делаю обманное движение, защитник попадается на него, но успевает задеть меня плечом. Прежде чем упасть, хлестко, с какой-то злостью бью по мячу: гол! Второй забивает Вадька. Шурка навесил в штрафную, несколько игроков хотели отбить — не достали, а Вадька выпрыгнул перед вратарем и перебросил через него.

Капитан аэрэшников показывает судье на наши мелькающие по всему полю голые пятки, мол, нарушение формы, но дядя Паша с Жариновым вопят: “На вороты! Даешь, «ящик!»” Им помогают «мясники», которые пришли поболеть за нас. При ничейном исходе им достанется первое место.

3:2! Опять проигрываем. Федот пропустил верховой мяч. Неужели... Самый быстрый все-таки Вадька, мотор команды. Все уже сдохли, а он еще нет. Вот он обходит одного, второго... Мы с Пузырем не успеваем, мы видим, как Вадька неестественно высоко взлетает: подножка. Судья трусоватый попался, но в этот раз засвистел: одиннадцатиметровый. То есть пенальти. Вадька поднимается, грязно-зеленый, с пепельными глазами, и говорит хрипло Шурке:

— Бей.

Судья смотрит на часы.

Вот бы где пригодились бутсы! Но они у дяди Паши в кузове.

— Может, стукнешь? — оборачивается Шурка ко мне.

— Подожми большой палец, — с трудом отвечаю я Шурке, ставя мяч на едва приметный бугорок, — и лови на подъем.

Шурка тушуется, боится промазать. Тогда разбегаюсь я, но лишь имитирую удар. Вратарь дергается впустую. Судья дает длинный свисток: игра кончилась. Но пробить мы имеем право. И тогда Шурка бьет, и бьет хорошо. Мяч летит прямо во вратаря, но перед самой его грудью неожиданно срезается в сетку. Крученый удар!

Назад Жаринов возвращался с нами в кузове: Вадьку с Шуркой посадил в кабину.

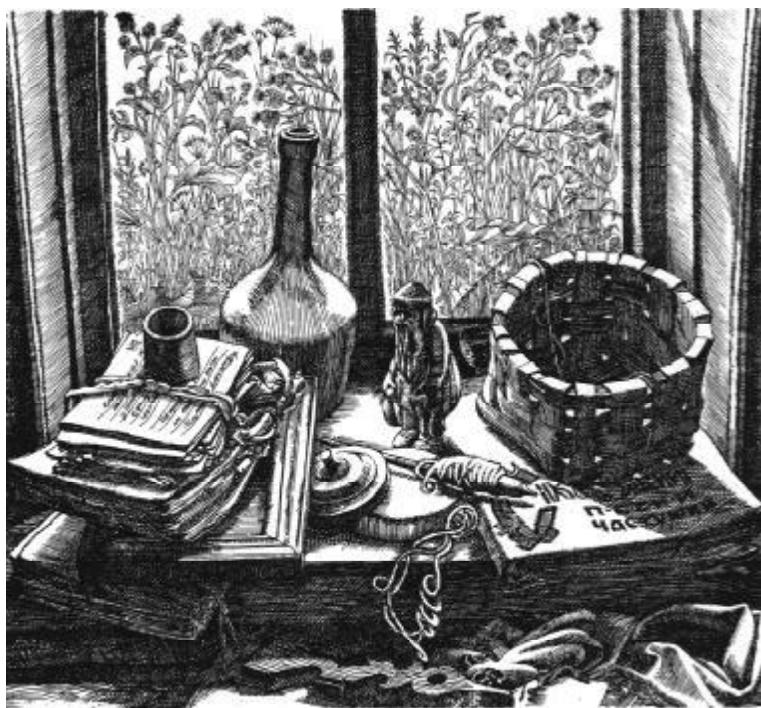
— Достали вы меня, мужики, достали! — радовался он, прижимая нас, мокрых и грязных, к теплому своему животу. — Каждому бутсы на заказ сошью, каждому! Они еще узнают, что такое «ящик»! Даешь, «ящик»!

— Даешь! — откликнулись из кабины.

— А тебе, Павел, наказание: найти сапожника. Не найдешь — сам будешь шить!

Слесари опротестовали игру и добились первого места. Но на поле они у нас не выиграли. На поле была ничья. Для нас — все равно что победа.





# Поэзия





Вячеслав ШАПОШНИКОВ

## НОЧНАЯ ДУМА

Звенит, поет вода близ дуба,  
чуть различимого в ночи.  
Сомкни во тьме глаза и губы.  
Не шелохнувшись, помолчи.

В присутствии ручья и древа,  
в объятьях плотных тьмы густой,  
под эти звоны и напевы,  
под эту немоту — постой...

Пробрезжит дальний свет, и снова —  
такая чернота вдали,  
как будто силы духа злого  
места родные облегли...

Ах, не как будто, не как будто...  
Все так и есть, все так и есть...  
Вся Родина объята смутой,  
и козней дьявольских — не счасть.

В тревоге темной думы тонут.  
Какая сила их спасет?..  
И взгляд затянут, будто в омут, —  
в глухой полночный небосвод...

Как обморок — молчанье ночи.  
И кажется, что всюду — сон...  
Но! Ручеек светло лопочет.  
Но! Дуб в раздумье погружен.

Как он связал земное с горним!  
В нем жизни истинной закон:  
в земле его скрыты корни,  
но весь он к небу устремлен.

А ручеек, что в русле тесном  
лопочет — у его корней?!.  
С утра он дивом был небесным,  
что света самого белей!

Кому спешит он на подмогу?  
Ему дано об этом знать:  
вода к воде найдет дорогу,  
чтоб морем неоглядным стать!

До них — великих, но безвестных,  
соединивших глубь и высь,  
до них — земных и поднебесных —  
не сизойди, но — поднимись!

До этой песенки-журчанья,  
до этой немоты святой —  
до сокровенного молчанья  
ночного древа над тобой.

## РУССКИЙ ДЕНЬ

Всем музы́кам — м у з ы́ к а  
(слышу — сердце щемит):  
одинокий курлыка  
над болотом кружит...  
Небо — в плаче и стоне.  
Меркнет пасмурный день.  
Мглится на небосклоне  
крестовидная тень.  
Будто вовсе не птица  
там кружит не спеша:  
в горе где бы забыться —  
ищет чья-то душа...  
Средь глухих, волокнистых,  
мертво-пепельных туч,  
как средь зимних скалистых  
голых северных круч,  
ищет, ищет приюта  
и не может найти...  
Непогодная скутина  
там везде на пути...  
Этой скутино-мглою  
я средь топей накрыт.  
Русский день надо мною  
журкой стонет-кричит...

## В НЕПОГОДНУЮ НОЧЬ, В НЕЗНАКОМОМ СЕЛЕ

— Эй, хозяева!.. Оглохли?!. —  
Нет ответа. Ни гу-гу.  
Только ставень глухо грохнет,  
как на дальнем берегу.  
Только визг и стон по струнам  
еле зримых проводов.  
При затучном свете лунном  
так поймешь вдруг слово к р о в!..  
Где-нибудь сейчас укрыться,  
ощутить тепло избы,  
пред печуркою забыться  
под звериный вой трубы...  
Только всюду окна глухи,  
хоть едва ль там крепок сон.  
У хозяев «тугоухих»  
«не расслышать» есть резон...  
Нынче всюду бродит лихо!  
Попроверь запор дверей  
да и жди рассвета тихо  
в малой крепостце своей...  
Мысль кольнула: «Может статья —  
посреди страны г л у х о й  
р у с с к о м у не докричаться  
до собратьев в час лихой....»

## ПОХОЛОДАЛО...

Новость свежая: похолодало.  
Новостей не бывает свежей.  
Как душа-то оголодала —  
не насытиться свежестью ей!  
Мир притих, как покинутый остров.  
В пол-окна ледяная броня.  
Вновь дано мне почувствовать остро  
вкус простого житейского дня.  
Встали реки, застыли озера,  
но под их убывающий свет  
по домам завелись разговоры,  
потекли ручеечки бесед...  
Вот и я, поиспытанный веком  
(хоть с тюрьмой и сумой не знаком),  
с понимающим человеком  
засиделся за крепким чайком.

Не горенье в подтопке — сраженье:  
в лад с беседою нашей крутой  
расстрелялись, что ружья, поленья.  
К лютой стуже, наверно, сей бой...  
Обложила нас сутемень волчья.  
Подошли мы к опасным словам:  
как спасти можно Родину нам...  
  
Но... об этом подумаем — молча...

## ГЛУХОМУ

— Как-нибудь заходи...  
— Да ладно...  
Как-нибудь, может быть, зайду...  
  
Смотришь ты на меня прохладно,  
будто выпроводил беду  
и боишься ее возвращенья...  
Без тревожных-то слов моих  
жил себе ты — в своем затаенье,  
жил, как множество прочих г л у х и х...  
Много, много вас по России, —  
не желающих слышать, знать!..  
Ох, зомбированные разини!..  
Вам средь гибели — тиши да гладь...  
Жаль мне слов моих, что остались  
среди стен твоих сиротеть.  
Все глухому они достались.  
Нерассыпанных, ждет их смерть...  
Вот сейчас клацнет дверь запором,  
поворнешься ты к ним лицом,  
назовешь их, с ухмылкой, в з д о р о м,  
да на том — и дело с концом...  
Думал: нес их е д и н о в е р ц у...  
Слыши, будто издалека:  
«Ты не все принимай так к сердцу.  
Перемелется — будет мука...»  
О совет этот, посланный в спину,  
а попавший (опять же) в грудь!..  
«Не премину, — шепчу, — не премину  
им воспользоваться как-нибудь...  
Перемелется наше лихо...  
Как же, как же! Надейся, верь!..  
Как в тебе, на той «мельнице» тихо,  
на замке непроломная дверь...»

## СОБИРАЮСЬ РУБИТЬ БАНЮ

На воле погода — по времени года.  
Ну что ж — снарядимся по ней!  
Тут лучше одежка простого народа —  
без всяких нелепых затей.  
Сойдут телогрейка да шапка-ушанка.  
Потуже затянем ремень.  
Махать топором — это вам не гулянка!  
Дай, Господи, добрый мне день!  
Приступнуть осталось слегка кирзачами:  
тепло и удобно ногам.  
Топорное лезо сверкнуло лучами:  
«Не баньку срубить бы, а храм!...»  
«Куда нам! — шучу. — Виши, на что замахнулось!  
Не те нам таланты даны...»  
Но чувствую, как отвалилась сутулость  
пластом снеговым от спины.  
И дверь отворяю я с бодренным духом.  
Морозно вздохнуло крыльцо.  
И веет холодным щекочущим пухом  
студеное утро в лицо.

## ОТПУСКАЯ НАРОД...

С крестом отпускаю народ от обедни.  
Ну вот — п р и л о ж и л с я и самый последний.  
Крестом осеняю застывших поклонно.  
Как трудно уйти мне сегодня с амвона...  
Как будто течет все людская чреда,  
а в ней что ни взгляд, то — беда иль нужда...  
Как будто прочитана горькая книга,  
где ты не познал радослезного мига...  
Как мало счастливых я знаю в приходе...  
Во счастье-то в храмы немногие ходят.  
Хоть что оно — счастье-то, если без Бога?!.  
Игрушка-пустышка. Убого, убого...  
Какая же стужа прошлась по народу!  
Как будто за окнами времечко года —  
не лето зеленое... Белая мгла  
морозным дыханьем меня обожгла...  
И, стоя с крестом на амвоне под нею,  
одно ощущаю: седею, седею...

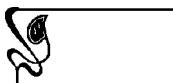
\* \* \*

Над округой зависший снег.  
Сказка ангела. Божья сага.  
Тише тени прошел человек.  
Робко тявкнула где-то дворняга.

Прошепталось вдруг: «Боже мой!  
Из руки Твоей — эти мгновенья.  
Положи в меня белый покой  
мной забытого отдохновенья...»

### **БУДЕМ ЖИТЬ!**

Будет все впереди:  
грады и буреломы,  
и снега, и дожди,  
будут молнии-громы...  
Через все «не могу»  
будем жить! Не завянем!  
А согнет коль в дугу,  
что же... радугой станем!



*Виктор ЛАПШИН*

### **ЗАХОЛУСТЬЕ**

Беспросветно бывает порою,  
И не можешь в сердцах не сказать:  
Как с такою глухою дырою  
Ты посмел свою долю связать?

Не от мира сего — что ты значишь?  
Ты чужой — и друзьям, и родным;  
Дар небесный опасливо прячешь,  
Чтобы не надругались над ним.

Как на родине скучно и жутко!  
Не с того ль раскуражился хмель?  
Под звериною властью желудка  
Ни к чему соловыиная трель.

Все родное враждебно до дрожи —  
Край забвенья, измен и утрат,  
Край томленья пустого, — и все же  
Я кругом перед ним виноват.

Я забыл, что покровом Пречистой  
Спасены все углы, все концы,  
Что на этой земле неказистой  
Просияли святые отцы.

Я забыл, что из глины ничтожной  
Наша богоподобная плоть,  
Что поре, небывало тревожной,  
Только нас и доверил Господь.

Или нашу — или никакую  
Землю дал и собой освятил.  
Почему-то и в горе ликую,  
Словно ангел меня посетил.

## У КОСТРА

Дороги медленной стремительны зигзаги,  
Простора отчего враждебен окоем.  
Кто там топорщится зловеще на коряге?  
Бес? Нищий? Все равно: я позабыл о нем.

Безлюдье дремное заволокло туманом.  
Невольно праведен в святом лесу ночлег.  
Усталая душа верна земным обманам, —  
Я ею пренебрег, я, вольный человек.

Как все, я одинок, и только в том отрада,  
Что, не в пример другим, об этом знаю я.  
Любовь? Богатство? Власть? Мне ничего не надо.  
О славе помышлять — забота не моя.

Сидеть бы целый век у речки говорливой,  
Да чтоб сосновый дух и шум с окрестных гор!  
Кто смеет говорить о жизни несчастливой?  
Не счастье ли глядеть в сияющий костер?

Лик пламенный его... ликующие искры!  
Как будто смертный грех испепелен в огне!  
Путь вечен предо мной, но благодатно быстры,  
Мгновенны Божьи дни, дарованные — мне.

\* \* \*

Не свет мне белый опротивел —  
Им помыкающая мгла!  
И я тебя не осчастливила,  
И ты мне счастьем не была.

Не полагались мы на случай,  
Да все свершилось невзначай.  
Напрасной памятью не мучай,  
Надеждою не обольщай.

Воспоминаний, упований  
Сродни туману череда.  
Какие песни мы певали!  
Уже не спеть их никогда.

Давно безмолвно или немо  
Бредем по разным сторонам,  
Но Судный день Господня гнева  
Встречать придется вместе нам.

Иль ангелы протянут руки,  
Иль адовы нетопыри...  
Не говори мне о разлуке,  
Не говори!

## ОН

На холме, в зеленой тьме  
Нелюдимо ветер дышит;  
Вспоминая о зиме,  
Он черемуху колышет.

А она-то, а она —  
Снега первого белее.  
Дремлет девушка под нею,  
Даже и во сне грустна.

Не смутят ее покой  
Шум далекий городской  
И глубинный гул небесный.  
Юной статью хороша,  
Дремлет русская душа  
В знойный полдень, в день воскресный.

Что ей видится во сне?  
Только Бог ответит мне,  
Или мне тот сон приснится.  
Дремлет на бедре крутом  
Тютчева старинный том,  
И закладка шевелится.

Что ни снится — все ее.  
Не забвенье — забытье:  
И сквозь дрему явь любима.  
Вся она — в красе своей,  
Но морщинка меж бровей  
Глубока неизгладимо.



Леонид ПОПОВ

\* \* \*

Пушкин — солнечен!  
Блок — серовато-сиренев...  
Полон Лермонтов  
мстительной синью  
над миром кружашей грозы.  
Краской легко летнего неба  
расцвечен Есенин.  
Близок Тютчеву высверк  
алмазной чистейшей слезы...  
Не разгадано чудо:  
слияние цвета и звука,  
Ярких красок звучанье  
и — звуков трепещущий цвет.  
Чем окрашено слово  
такое тугое: «Разлука»?  
Чем просвещено  
зябкое слово такое: «Рассвет»?  
Волен русский язык  
сочетать робкий выдох  
и — ропот,  
Буйный выкрик зари  
и — невнятную песню небес.  
Волен в жаркие краски  
облечь и полуночный шепот  
И кричащие клятвы  
обратить в бесполезность словес...

\* \* \*

Александр Сергеевич! Вашей благодатью,  
Жаркой кровью Вашею — живы мы пока!  
Пусть мы и не стали — слава Богу! — знатью,  
И коряво ладится зябкая строка,

Но честны пред Русью мы и пред словом Вашим,  
Неподкупно веруем в Родину до слез.  
И по-русски думаем, и поем, и пляшем —  
По молитвам Вашим, вот какой вопрос...

Все слова промолвлены, песни перепеты.  
(А уж не до плясок, это — не в чести!)  
Только вот родятся на Руси поэты,  
Пусть и невеликие, Господи, прости...

\* \* \*

Прилежным светом день январский  
Вдруг явит нам — пустым на страх! —  
Как щегольской, заморской, барский  
Снегирь пылает на ветвях!

Грешит повторами природа,  
Все вроде в ней наперечёт,  
Но только тут и есть свобода:  
Нас изумлять из года в год.

Снегами русскими укроет  
Разор бесстыдства, прах пустой.  
И вдруг нечаянно откроет,  
Что мир — пречуден, Бог ты мой...

\* \* \*

Думал, только тоска  
      в кислой зимней крови,  
Но нежданно надежде моей  
      Тополевая почка подскажет: «Живи...  
Да о прошлой любви не жалей».  
Скоро грянет весна  
      по округе лесной,  
Непросветную стужу губя.  
И другая — родная! —  
      на свадьбе честной  
От обиды излечит тебя...

\* \* \*

Наши тихие нивы не тучны,  
И постыдно низки небеса,  
И заботы — вседневные! — скучны?  
Знать, с того и глухи голоса?

«Что за низость — навоз да скотина...  
Разве здесь воспарили б крыла?!..»  
Где тут вспомнить, что эта равнина  
Нам возможность родиться дала,

Милосердно дала опериться,  
Чтоб беспамятством сытым кичась,  
Раз в году заглянуть — побраниться  
Да и плонуть в родимую грязь...

\* \* \*

Пожалеть бюрократа —  
собакина брата,  
Только, Господи, грех мой прости:  
Я не стану глаза опускать виновато, —  
На Руси нынче все не в чести.  
Ах, как скурвилась жизнь...

От Великой и Древней —  
Только срам, только прах, только  
вой...

От седого Кремля до последней  
деревни —  
Всё царьки с нежилой головой.  
Возопить бы: «Народ!..»  
Но безмолвны и глухи  
Стали к совести все в страшный час,  
Только в божих церквях  
с жаркой верой старухи  
Молят Господа помнить о нас...

\* \* \*

Ах, поздняя осень — унылое время,  
И нашенский возраст ей в пору как раз.  
Чего уж скулить про недуги и бремя,  
Когда это послано небом для нас.

Пора уж сознаться — не сроки, не сроки  
Мечтать о великом да взмыть над городом...  
А прожитой жизни грехи и уроки  
Уже подытожить такой вот порой...

\* \* \*

\* \* \*

Рученьку дорогую  
Пряча от губ моих,  
Бросит: «Найди другую...  
Мало неужто их...»

Истинно... Только нету  
Сил, чтоб судьбу бранить,  
Взять — да навстречу  
ветру —  
В ночь: и забыть, забыть...

Горьких речей — отрава,  
Сладких речей — вранье.  
Я для нее — забава...  
Счастье, что — для нее...

Пустили по миру народ,  
Пустили прошлое в расход,  
И доторай, лучина!  
Чего сгоревшее жалеть,  
Куда надежней руль да плеть,  
Смекаешь, дурачина?  
Ох, велика держава Русь!..  
Но ты, разумненький,  
не трусь —  
Круши ее твердыню,  
Крутись, как велено, хитро,  
Отринь отживвшее добро —  
И совесть, и святыню.  
Ведь ты такой сегодня стал —  
Копи крамольный капитал  
В своем kraю безвестном.  
Как вождь воззвал:  
верши свой путь!  
Но об одном — молю! — забудь  
О русском слове честном...

\* \* \*

Самое время подумать о смерти:  
Час до захода.  
Выдохну: «Жить неохота...»  
Не верьте!  
Ох как охота...  
Что нас — веселых —  
калечит и старит  
В гуще привычной?..  
Жиденькой кровью  
закатною залит  
Дворик больничный.  
Кто нас — разумных —  
потчуэт вестью,  
Горькой от страха?..  
Скоро, уж скоро прощальную  
песню  
Выезнобит птаха...



## Сергей ПОТЕХИН

\* \* \*

Ты не спиши, и мне не спится.  
Размечтались об одном.  
Наша встреча состоится  
В тихом тереме лесном.

Дорогая, будет лето.  
На вино не налегай,  
Неслагаемых запретов  
На себя не налагай.

Не закапывать же в глину  
Неразменную красу?  
Станем ягоду малину  
Собирать в своем лесу.

Посвящать нельзя подружку  
В то, что я тебе пою.  
Придави щекой подушку.  
Баю, баюшки, баю...

\* \* \*

Где ягодки? Где цветочки?  
Зимою — ни тех, ни тех.  
Я снова дошел до точки  
И снова готов на грех.

Ты думала, я — насмешник,  
Любитель играть с огнем.  
Бедняжка, ты — мой подснежник,  
Пробившийся зимним днем.

В морозы земля горела,  
Мог бог в порошок стереть.  
Дышу на тебя несмело,  
А все не могу согреть.

Накрёнилась ось земная.  
Сердечко твое молчит.  
Дождемся весны, родная.  
Она уж в окно стучит.

\* \* \*

Любовь — не помеха утехам,  
Доступным зверью.  
«Куда же ты, милый, поехал?»  
«Встречаю зарю».

«Опомнись, уж полдень пробило.  
Какая заря?»  
«Которую лето забыло  
В лесах октября».

В медвежьем углу и лосином  
Законы свои.  
Березам поют и осинам  
Мои соловьи.

Богатый у странника выбор.  
Почет журавлю.  
Однако одну из кикимор  
Всех больше люблю.

\* \* \*

\* \* \*

Умница, красавица,  
Ты — мой майский сад.  
Прочих не касается,  
Грешен я иль свят.

Змею-искусителю  
Места нет в саду.  
У ворот обители  
Все дары кладу.

Белыми сиренями  
Говори со мной.  
Бродят львы с оленями  
По тропе одной.

Мурава под липками  
Зеленей в тени.  
Золотыми рыбками  
Проплывают дни.

Сколь их в нашем озере,  
Не скажу врагам.  
Упадет по осени  
Яблоко к ногам.

Холодней ты час от часу.  
Не узнать любимую.  
С горя взял и выпил квасу  
На меду с рябиною.

Мог бы выпить и не с горя,  
А за радость вечную.  
Про любовь с тобой гуторя,  
Тешил бессердечную.

То ли вышел из доверья,  
То ли встретил Каина?  
За окном шумят деревья  
Как-то неприкаянно.

Не свалить мою аллею  
Ни тоске, ни ревности.  
Как-нибудь переболею,  
Что случалось в древности.

Упокоится обида  
За покатой горкою.  
Никогда еще рябина  
Не была столь горькою.

\* \* \*

\* \* \*

Что я, пугало, наделал?  
Оскорбил тебя всерьез.  
Что болтал — и сам не ведал.  
Несусветный ужас нес.

Ты нешибко испугалась,  
Только дернула плечом,  
Удивляясь: что за гадость  
Этот сивый дурачок?

Ты божественно красива,  
Не боишься воронья.  
Кирпича всегда просила  
Харя наглая моя.

Не совсем пропащий вроде.  
Не выбрасывай, оставь.  
Будет лето — в огороде  
Между грядочек поставь...

Точит камушек вода,  
Капая по капле.  
Не беда мои года,  
Крылья не ослабли.

Победить могу врага.  
В норме ум и сила.  
Ни копыта, ни рога  
Время не отбило.

Разве только борода  
Поседела малость.  
Так и это ерунда,  
Прочее осталось.

Задымился чернозем,  
Ясень закачался.  
Снова старый стрекозел  
К лебедям помчался.



Елена БАЛАШОВА

\* \* \*

\* \* \*

Этот угол медвежий,  
Тропок милая вязь  
Там, где ноги мне нежат  
И осока, и грязь.

Там фиалка ночная  
Хрупкой свечкой горит  
И, мой путь освещая,  
Мою душу хранит.

Там тугие туманы  
Пеленают зарю.  
Светом тем осиянна  
И живу, и творю.

А я все та же, я все та же.  
Путь обо мне тебе расскажут  
Деревья, травы, и тропинка,  
И эта тонкая былинка,  
Что повстречаешь у дороги  
Среди других былинок многих.  
И радость, и печаль порою,  
Я ничего уже не скрою.  
А я все та же, я все та же,  
А остальное все — неважно.

\* \* \*

«Милая, пенсии-то не дают?  
Слышино, вчера за второе давали.  
Значит, и завтра получим едва ли...»  
Господи, видишь ли: все еще ждут.

«Дочка-то тоже без денег сидит.  
Хлеб да картошка, а детки-то малы».«  
Господи, легче ли, если б молчала?  
Прямо в глаза мне покорно глядит.

Что ей отвечу? Какие слова  
Я отыщу, чтобы не были всуе?  
Чаша сия да меня не минует,  
С вами я рядом, покуда жива.

\* \* \*

Прошумела молодость, как птица,  
Легкими крылами надо мной.  
Вспыхнула мгновенною зарницей,  
Прозвенев натянутой струной.

Молодость далекая девичья.  
Юные бессонницы. Рассвет.  
Мы с тобой отпраздновали нынче,  
Милая, не помню, сколько лет.

Слышу звон... О молодость, не ты ли  
Вновь со мною, нежностью дыша?  
И шумят серебряные крылья,  
И ликуют девочка-душа.

\* \* \*

Кто Ты, которого я знаю,  
По имени не называя?

Ты — это свет зари вечерней,  
И легкий вздох, и сердца стук,  
И вдохновенье, и испуг,  
И путь среди волчцев и терний.

Кто Ты для тех, кто наг и сир,  
Создавший этот дивный мир?

Присутствие Твое я слышу  
В душе. И сладче мига нет,  
Чем этот первозданный свет,  
В котором все любовью дышит.

\* \* \*

Листва под ногами уже не шуршит,  
Не тянет паук путину-преграду.  
Картину печальную пусть завершит  
Пора осторожных глухих снегопадов.

Все раны земные покроет снежок,  
И ляжет снежинка тебе на ладони.  
Пора подводить нам с тобою итог:  
Готовы ли сани и резвы ли кони?

Пора в путь-дорогу... Но, знаешь, постой,  
Чуть-чуть придержи, я еще не готова,  
Еще не привыкла я к мысли простой:  
Теперь не всегда ведь к лицу нам обновы.

Листва потемнела, пожухла давно,  
Но горько и нежно пылают рябины.  
Так выпьем с тобой молодое вино  
За нашего — мной нерожденного — сына.

## КАРТОШКА

Перебираю картошку — хлеб второй.  
Хотя и уродилась, но гниет очень.  
Перебираю клубни... Этот — сырой...  
Но картошка — это так, между прочим.

Не о картошке же в стихах говорить,  
Да еще и гнилой к тому же наполовину.  
Ну ничего... Вот эту можно еще сварить.  
Надо, пожалуй, встать и выпрямить спину.

Вы говорите: проза, а я вам — Поэзии суть,  
И — жизнь. И никуда о ней не сбегаю.  
Надо просто немножечко передохнуть,  
И вновь — не Америка, а Россия увидится раем.

Мне даже гнилая картошка милее окорочек.  
Я ее своими руками перебирала  
Три целых дня, и все — молчком.  
Думаете, для Поэзии этого мало?!

## КЛЕВЕТА

Посмеюсь, поплачу, погорюю,  
Дальше буду жить, как и жила,  
Клевету — бесстыжую и злую —  
Презирая, вот и все дела.

Солнце светит, небо надо мною,  
А в душе такая благодать,  
Что не стоит, право же, не стоит  
Небо клеветою закрывать.

\* \* \*

Да не коснется грязь души!  
Молчи, не говори ни слова.  
Пусть в этом мире все не ново,  
Грех стар, как мир, но не спеши  
На землю возвращаться эту,  
Где можно все и — ничего,  
Где ложь, где грех, где грязь кругом,  
Где нет прибежища Поэту.  
Молчи. Мне посмотри в глаза.  
Свои — не отпущу под взглядом.  
Да, здесь — мне ничего не надо,  
А там — лишь детская слеза  
Сверкнет, быть может, на ресницах.  
Но ты ни в чем не виноват.  
Сияет праздничный закат,  
И неизбежное — свершится...

\* \* \*

Уходя, оглянусь: свет в окошках горит,  
Раным-рано затопятся русские печи,  
А погода-то нынче дурит, и дурит,  
И швыряет сугробы, щутя, мне на плечи.

Уезжаю и вновь возвращаюсь сюда.  
Слава Богу, что есть мне куда возвращаться,  
Где и горе — не горе, беда — не беда,  
И где сны золотые по-прежнему снятся.

Уходя, оглянусь, и увидятся мне  
Эти вешки у тропки да мгла ледяная,  
В семь домов деревушка на малом холме...  
Сердце бьется: живая, живая, живая!



\* \* \*

Здесь ойкумены воздух пахнет сарматским сыром.  
Не Адыгея это, это — почти Колхида.  
Мы не нашли друг друга, встретившись с этим миром.  
Правда, запомнил имя. Звали тебя Саида.

Время изменит лица, даденные судьбою.  
Души — и те изменит шорох минутной стрелки.  
Было ли что на свете — не у меня с тобою —  
у Человека В Прошлом?.. Леты притоки мелки.

Не перейти, конечно, смертному этой ртути.  
Но на руках подъятых — перенести бы душу,  
где ты живешь, Саида, — истинная, по сути,  
где твоего покоя помыслом не нарушу.

Было ли что на свете выше у нас с тобою,  
чем дуновенье это над поцелуем судеб?..  
И убедиться можно (небо ведь голубое) —  
не было и, наверно, тысячу лет — не будет.

\* \* \*

Вдоль моря Галилейского бродя —  
водой и сущей, и опять водою, —  
увидел Он, что сети под пятою  
пусты совсем, заброшены хотя.

И Он наполнил рыбой ячеи,  
и стали сети рваться под уловом...  
И Симон в лодке, пораженный Словом,  
на миг забыл сомнения свои

и тоже встал на зеркало воды,  
чтобы идти за Ним вдоль Галилеи.  
Но — оступился чуть и, тяжелая  
сомнением, поплыл... Уже следы

на водной глади испарились, но  
за Иисусом шли Андрей и Симон.  
И в небесах над Иерусалимом  
в тот час УЖЕ ВСЕ БЫЛО РЕШЕНО.

## «ВАВИЛОНСКАЯ БАШНЯ»

Из цикла «Питер Брейгель»

Камень уходит в землю. В небо уходит камень.  
Козы на нем пасутся. Люди его мытарят.  
Мажут раствором тучи, в тучах разводят пламень.  
То ли известку сушат, то ль мосолыгу жарят.

Нимрод зашел на стройку. На голове корона.  
Рядом снуют прорабы (те, что кирпич воруют).  
Славное нынче время! Выше уж Вавилона  
места не обнаружить, где так печет и дует.

Баржи плывут Евфратом. Тигром плывут другие.  
То-то скрипят лебедки! То-то кувалды стонут!  
Нимрод зевает, впрочем. (Время — есть отбивные.  
Время — искать гарем свой в тысяче тысяч комнат.)

«Боги, ау!.. Не слышно. Надо поставить раструб,  
чтобы не драть напрасно глотку, зовя прислугу».  
Нимрод спустился с кручи. С неба спустился ястреб,  
сел ему на перчатку, ласково клюнув руку,

что повелела: в небо, в небо торить дорогу!..  
(Камень трещит ночами. Ропщут, но лезут выше.)  
«Только бы не поперли скопом, — подумал, — к богу, —  
Нимрод, жуя арахис. — Из черепицы крыша».

## РОЖДЕСТВО

Очнись перед зимним окошком.  
На месте души — пустота.  
Пусть птицы находят по крошкам  
твою доброту у куста.

Пусть вера отложит рубанок,  
которым выстругивал крест.  
Занозы — не главное... Санок,  
поди, не хватает окрест.

Повыстругай... Пусть неохота, —  
поскольку все дети умрут,  
состарившись... Нынче суббота...  
Воскреснем — умершие тут.

Не этой заботой фуфайка  
должна истираться твоя.  
Ведь ясли — по сути, сарайка.  
А свет излучала — семья.



### ЗАВЕТ

Я помню, как в последнее свиданье  
Отец сказал в больничной тишине:  
«Земля красна не яркими цветами, —  
Красна людьми, живущими на ней».

И сверху оркестрового надрыва,  
Над скорбью, что и выплакать нельзя,  
Беззвучная кружила эскадрилья —  
Его однополчане и друзья.

И вот тогда  
В невыспевшую душу  
Вошло, ее навечно окрыля:  
«Я все пройду. Я все приму. Все сдюжу,  
Чтоб мной гордилась отчая земля».

Из года в год в лугах менялись травы  
И тяжелела ноша на плечах.  
Но не мои ни почести, ни слава,  
Ни угрозенья совести в ночах.

Я не живу расчетливо и мудро,  
Но оттого, что жизнью дорожу,  
Перед отцом, как перед чистым утром,  
За каждый шаг свой я ответ держу.

И прямиком иду, а не кругами,  
И помню, и напутствую детей:  
Земля красна не яркими цветами, —  
Красна людьми, живущими на ней.

### ВОЛЖСКИЙ СЕВЕР

Лежат лавиной жгучие снега...  
А кто-то не видал ни разу снега,  
Не находил лосинные рога,  
На тихих лыжах крадучись по следу.

Народ здесь горд: не ходит семеня.  
В себе уверен в ясный день и в серый.  
Но есть еще и севернее Север.  
И значит, что-то скрыто от меня.

## ВОСПОМИНАНИЕ

Внезапно — как с дороги телеграмма —  
Вдруг снег упал. А быть пора весне.  
Поспешно я распахиваю раму,  
Смотрю, а снег влетает в дом ко мне.

Моя последняя на Вятке ночь...  
Пронизанная светом, в кличе гулком,  
Как будто догадалась, что разлука —  
И та бессильна сердце превозмочь!

А это прилетели журавли.

\* \* \*

А мне за норов дали нагоняй.  
А для меня, как прежде, все бесспорно,  
Как то, что там, за далью заозерной,  
Никто к воде не выведет коня:  
Там не живут. Там топь и бурелом.  
Там я хожу по гибельному kraю.  
Кому-то страшно, что с огнем играю —  
А мне собою быть не тяжело.  
... Туман урочный медленно ползет,  
И все деревья слаженно безлики.  
Роняют лист. А веточка бруслики  
Под снегопад зеленая пойдет.

\* \* \*

Сестре Вале

Еще в делах. Работы — невпродых,  
Так в роднике вода не переводится!  
Еще в заботах женщин молодых,  
А в общем-то, пора бы не заботиться.  
А в общем-то, пора умерить бег  
И полюбить целебность расписания,  
Пора не ощущать летучесть век,  
Когда зовут на скорое свидание.  
С фантазией расстаться бы пора,  
Оставить ремесло сложенья песни.  
Оно не даст ни славы и ни пенсии,  
А только мучит с раннего утра...  
Но как уйти от самое себя,  
От молодости вечной, от открытый?..  
Заокоём зовет, глаза слепя,  
И вновь спешу по собственной орбите.

\* \* \*

Чуть еще понагреется вечер —  
Затоскуют дороги по мне,  
Рюкзачок перекину за плечи,  
«До свиданья!» — скажу Костроме.  
Ты признай меня, ветер скитанья,  
Молодею в людской толкотне!  
Неожиданного ожиданье  
Увеличивается вдвое.  
И до Вятки пойду, до Невы ли,  
Или до вологодских озер —  
Все дороги мои долевые,  
Да сейчас не про то разговор.  
Может быть, занесет до Байкала.  
Сто часов будет поезд трясти.  
Только знаю: и этого мало,  
Так чего-то мне и не найти.  
И окликнет — однажды и немо,  
Остротою внезапной озля, —  
Корневая моя система,  
Костромская моя земля.  
С этим зовом мне жить,  
Как под гнетом,  
Будто ждет меня кто-то больной...  
И обратно примчусь самолетом,  
И умоюсь из Волги волной.

### ОТВЕТ

Куда уж там о славе помышлять,  
За нею круглосуточная давка!  
То денег нет, то времени в обрез,  
И не по мне вся эта лихорадка.

Мгновенность пребыванья на земле  
Определила мне глухое место  
И повелела в слове изваять  
Души людской незавершенность жеста.

И — то ликую, то — удручена,  
То день не истечет, то длится вечер,  
Устало сердце, глаз не безупречен,  
А время подгоняет и не ждет!

Кому ведь что... Я вижу иногда  
На горизонте праздничные крыши,  
И славы бренной мыльные шары  
Над ними разрываются неслышно.

А время подгоняет и не ждет.



## БРЕМЯ ДОСУГА

Понемногу, с трудом, отвыкаю  
От всего, чем я жил-дорожил.  
Откровенно себе потакаю:  
Отдыхай, говорю, заслужил.

Чем, скажите вы мне, не заслуга:  
Для меня — каждый день! — выходной,  
Все сокровища леса и луга,  
Речки-реченьки — все до одной.

Отсыпайся за все недосыпы!  
Нагостишься за былой недосуг!  
Он разъят наконец — ненасытный,  
Нескончаемый замкнутый круг:

Дом — работа.  
Из этого круга,  
Мне казалось, и выхода нет...  
Что ж ты тянешься, бремя досуга,  
Год прошел, а как тысяча лет!..

\* \* \*

Всем моим чувствам положен предел,  
Я это знаю, и это ужасно.  
Крошатся зубы, и чуб поредел,  
Тянет к забытым давно дилижансам.

В детство впадаю? А дальше — маразм?  
Скепсис? Брюзжанье? Тоска? Сантименты?  
Что там хвалил Роттердамский Эразм?  
Глупость хвалил, а себя обессмертил.

Так ли уж важно, о чем говорить?  
Все во Вселенной, чего ни коснитесь,  
Жаждет хоть как-то себя повторить...  
Люди, не зря вы так часто мне снитесь!

Кто — из каких вы пространств и времен?  
Что вы там думали, знали, любили?  
Сонмы ушедших — ни лиц, ни имен!  
Словно и не было вас, а ведь — были!

В чьи сновидения я превращусь —  
Я же ведь знаю, что это бывает?  
Вспомнить забытое предками тщусь  
И забываю, свое забываю.

## БАЛЛАДА О ГРИБАХ

Мы в юности ходили за грибами,  
Она и я.

Вдвоем.

На целый день.

Пока не жарко и пока не лень,  
Мы деловито листья разгребали.  
Я находил боровики и грузди,  
Она ж их обходила стороной.  
И стоило немалого искусства  
Подсовывать ей найденное мной.  
Отыщешь гриб и ходишь, как не видишь,  
В конце концов увидит и она.  
А кроме этой хитрости невинной,  
Была еще невинная одна.  
Я так хвалил болотные обабки,  
Что если ей не жалко их сменять,  
То уж никак не выйдет без добавки:  
Не гриб за гриб, а за обабок — пять.  
Мы ползали, дурачились, смеялись,  
Потом лежали на траве в тени.  
Она меня, мне думалось, боялась,  
И я был, наверное, сродни.  
Мы возвращались к вечеру, шальные,  
В моей корзинке видно было дно.  
А что о нас подумают иные,  
Нам было абсолютно все равно.  
Прошло сто лет,  
А если нужно точно,  
То двадцать два, и все, конечно, врозь.  
Ни разу — ни случайно, ни нарочно —  
Увидеться нам с ней не привелось.  
Но есть же чудеса на белом свете!

И ты, читатель мой, не обессудь:  
Негаданно-нежданно этим летом  
Мы встретились... И где? Да в том лесу!  
— Ну, здравствуй!..  
— Здравствуй!..  
— Ты? Или мне снится?  
— Не зря же говорят: гора с горой...  
(И рада, и нисколько не боится,  
Да я и сам, признаться, как герой.)  
— Ну, как грибы? Ого!  
— А у самой-то!  
— Твои красивей...  
— Что ж, давай махнем...  
— Ох, и была бы мне головомойка,  
Когда бы мой увидел нас вдвоем!  
— И мне б не поздоровилось...  
— Ну как ты?  
— Да я-то что, а ты сама-то как?  
— Я счастлива...

И в подтвержденье — факты:  
И муж-то чуть не носит на руках,  
И пьет не лицшку,  
И завел сберкнижку,  
И бережет — работать не велит,  
И дочь, как ангел...  
— Надо б и сынишку...  
— Да ну-ка, напророчишь, не мели! —  
И рассмеялась всем лицом и телом.  
Фальшиво, как на сцене, не в лесу.  
И вдруг, как будто плетьью по лицу:  
— Я от тебя сынишку-то хотела...

Пытаюсь шутку выдавать:  
Мол, что же,  
Заказывай,  
Охотно помогу...  
— Заткнись, «охотник»!  
Дать бы вот по роже,  
Да ладно уж,  
Ладонь поберегу...

Мы возвращались крадучись, как воры.  
Сначала — я, а погодя — она.  
Хоть связывали нас лишь разговоры,  
Да и не наша в том была вина.



## ПОГОРЕЛЬЦЫ

Брели понурые пришельцы.  
Змеился по лугу обоз.  
Шептали бабы: «Погорельцы!»  
Крестили лбы: «Спаси, Христос!»

Нам, пацанам, все интересно:  
Кого там доля привела.  
Дохнула жаром неизвестность  
И наши души обожгла.

Все ближе, ближе хвост змеиный  
Ползет, охватывая нас.  
Бедой надломленные спины  
И пепел выплаканных глаз.

Казалось, пропитались сажей  
Телеги, люди — все вокруг.  
И солнце потемнело даже,  
Покрывшись черной дымкой вдруг.

И постаревшие подростки,  
Крестясь, наверно, в первый раз,  
Благодарили за обноски,  
За хлеба кус, за «Бог подаст».

Мы повзрослели в одночасье  
В том незапамятном году.  
В чужое погрузясь несчастье,  
Свою увидели беду.

\* \* \*

Парfenьево — черемуховый край.  
Как без него я жил — не понимаю.  
Парfenьево, ворота отпирай,  
Я возвращаюсь на исходе мая.

Встречай меня кукушкою в бору,  
На вырубках цветущей земляникой,  
Заброшенной церквушкой на юру,  
Осиротелой яблонею дикой.

Спешу к тебе — душою наг и бос —  
В чужих руках затасканным алтыном,  
И кудри распустившихся берез  
Склоняются над блудным сыном.

Парфеньево, мне душу разогни  
По-матерински нежными руками,  
И пусть твои приветные огни  
Для всех заблудших вспыхнут маяками,

Взорвутся звонами твои холмы  
И растворятся в запахах сирени.  
Храня нас от сумы и от тюрьмы,  
Загомонят усопшие деревни.

\* \* \*

Тихая уютная квартира  
В деревянной сельской стороне.  
Ничего от суэтного мира  
В необычно чистой тишине.

Рамки фотографий пожелтевых  
Да иконка мамина в углу.  
И глядит на мир осоловело  
Старый кот, разлегшись на полу.

Вкусно пахнут свежие лепешки.  
Замерла натопленная печь.  
Дремлет ванька-мокрый на окошке  
И грустит, что некуда прилечь.

А над всей недвижностью и тишию  
Ходики воркуют на стене.  
Звуков нет торжественней и выше.  
Сквозь года и версты я их слышу,  
И ничто не помешает мне.

\* \* \*

Над полем темень да пурга,  
Ни огонька кругом.  
И вдруг сквозь версты и снега  
Спасительное «бом-м-м».

Метель такая на земле,  
Что не зажечь фонарь.  
Зовет блуждающих во мгле  
Невидимый звонарь.

Мне этот звук давно знаком,  
Несущийся сквозь тьму.  
И без дороги — прямиком  
К нему, к нему, к нему.

А он пронесся и затих,  
Стихией укрощен,  
Как мой рождающийся стих,  
Ничем не защищен.

Но упираясь в полночь лбом,  
Я постигаю мир,  
А мне наградой снова «бом-м-м» —  
Живой ориентир.

Коль вдруг нежданно я споткнусь  
Под верстовым столбом,  
Меня во тьме помянет Русь  
Своим стозвонным «бом-м-м!»

\* \* \*

Мне сторона заброшенная эта  
Всех городов милее во сто крат,  
А звание уездного поэта  
Дороже государственных наград.

Я не хочу зависеть от кого-то,  
А значит — не хожу и не прошу.  
Я счастлив здесь, где ждет меня работа,  
Где я пишу свободно и дышу.

Искать удачи в коридорах власти  
Давно я отказался наотрез.  
Ты для меня единственное счастье,  
Среди лесов затерянный уезд.

Друзья напасти от меня отводят.  
Лежат перо с бумагой на столе.  
Звезда моя за Неею восходит.  
А что еще мне надо на земле?

## ЧУДО

(из поэмы «Кострома»)

Шли по земле татары,  
Словно исчадие ада.  
Ни молодым, ни старым —  
Нет никому пощады.

Русичи малой ратью  
Вышли врагу навстречу.  
Смилуйся, Божья Матерь,  
Даруй победу в сече.

Верная Божьей правде,  
Выплыла из заката  
И у озерной глади  
Встретила супостата.

Грозный свой лик явила  
Огненной позолотой.  
Стали врагам могилой  
Топи да гниль болота.

Из глубины озерной  
Стоны летят ночами.  
Сеющий злые зерна  
Добрых не получает.

Солнце встает литое  
Из глубины столетий.  
Озеро спит Святое —  
Чуда немой свидетель.

с.Парfenьево



Владимир МАКСИМОВ

## МОРОШКА

Что-то кислого охота,  
Кисленького так хочу!..  
Коль пойду за ней в болото,  
То ведерко прихвачу.

Приведет немая стежка  
Прямо в гости к кулику...  
Красна ягода морошка —  
Вся ладонь моя в соку!

Испеку в печи ватрушки,  
Заварганю кислый квас...  
Этой ягоды сам Пушкин  
Попросил в свой смертный час.

## ВЕЧНОЕ СЛОВО

Как музыку, я слушаю слова...  
Рождение таинственного слова  
Старо, как мир, но вслушиваюсь снова —  
И кружится от счастья голова.

Оно еще таинственнее ночью,  
И, может быть, поэтому не сплю:  
Ну до чего же беспредельно точно  
Хотя бы это вечное — «люблю»!

Огромное, рожденное давно, —  
В нем радость откровенная и мука,  
Но страшно мне: а если только звуком,  
К тому ж пустым, окажется оно?

## ДОЖДЬ

Я был с тобой неумным и несмелым,  
А этот дождик, не смутись ничуть,  
Лепил тебя:  
Он мокрым платьем белым  
Обтягивал фасонистую грудь.  
Он делал то, что никогда не смели  
Вот эти руки, что боялись сметь.  
Глаза твои так странно потемнели,  
А вот волос не потемнела медь.  
Тот дерзкий дождь с неслыханным упорством  
Лепил тебя — повеса и нахал,  
Потом, тобой любуясь, замирал...

\* \* \*

И мне бы с цыганами! Я бы  
Коней облезжал поутру...  
Незваным пожалую в табор,  
К цыганскому сяду костру.

За городом, у полустанка,  
Где пенится спелая рожь,  
Наври про судьбу мне, цыганка,  
Ты сладко, цыганочка, врешь.

Так сладко, что, знаешь, ей-богу,  
Я даже поверю всерьез:  
И дальняя будет дорога,  
И сбудется, что не сбылось.

## МОСТ

Через Волгу мою красиво,  
В величавости строг и прост,  
Перекинулся, словно диво,  
Под колеса бегущий мост.

Мертвой хваткой быки связали  
Полторы голубых версты.  
... А ведь было так:  
Отступали,  
Рвали собственные мосты.

\* \* \*

Так по ночам в трубе свистело,  
Как будто пело что-то там...  
Я прижимал худое тело  
К печным горячим кирпичам.  
И слушал свист...  
Его истоки  
Рождались где-то высоко...  
Лежал парнишка синеокий  
Под деревянным потолком.  
Лежал парнишка,  
слышал пенье,  
И мир понятен был и мил.  
...Я первое стихотворенье  
На этой печке сочинил.

\* \* \*

Я приду, восхищенный, приду — и увижу  
Ту крылатую песнь, что звучала в былом:  
В знаменитых Кижах, а по-местному в Кийках,  
Запевал ее дерзкий мужик топором.

Я стою, замерев... Я стою — и ни с места!  
Сколько минуло лет, посчитай-ка, с тех пор,  
Когда сам, потрясенный дерзанием, Нестор  
Вдруг в глубокую воду забросил топор.

Но проходят года, и счастливой невестой  
Где-то встанет изба, что за чудо сочту,  
И невольно подумаю: «Это же Нестор  
Помогает потомкам творить красоту».



## ГОРОД

Полуподземный, полу воздушный,  
между великой рекою и топью  
город как часть заселенная суши —  
Азии, глазом косящей в Европу.

Здесь по татарским проулкам слободки  
крутит песок и цементную пудру,  
шабрят бока перевернутой лодки,  
груды листвы наметает повсюду.

Здесь в новолунье шалеют собаки,  
голуби щебень фарфоровый в горле  
нежно полощут, небесные знаки  
падают наземь кристаллами соли.

Сносит мазутные пятна к Казани,  
и в базиликах подводного царства  
стай крылатых прозрачных созданий  
метят жемчужной икрою пространство.

Здесь еще воздух гудит опереньем  
битвы озерной, здесь пахнет пожаром,  
лечат напасти здесь варварским пеньем,  
словом заветным, полынным отваром.

Но протянулись уже эстакады —  
архитектура времен безвременья —  
сквозь эти улочки, срубы, ограды...  
Кризис жилья, дефицит вдохновенья...

Что эта часть заселенная суши,  
землеустройство когда, как стихия?  
И нерушимое можно разрушить!  
Время лихое — и люди лихие.

Есть Города в вечном Поясе Славы.  
Этот считался всегда захолустьем.  
Вот он — в простой деревянной оправе  
между истоком России и устьем.

Только своей стариною и молод  
этот ушедший и будущий город  
с облаком, некогда званным Успенским,  
с белой беседкой, с прудом Пионерским...

## ОСЕННЯЯ ЛЮБОВЬ

Вереска ворох ты в воду бросаешь  
и о любви говоришь,  
но о любви ничего ты не знаешь —  
самое легкое лишь...

Взгляд твой кочевен — в нем нету покоя,  
чтобы сбываться судьбе.  
— Слушай, опомнись, я видел такое,  
что и не снилось тебе!

В этом мерянском kraю на Купалу  
косят траву у реки:  
 первую — девам, вторую, отаву, —  
женам вплетают в венки.

Звон по лесам. Пересмешник смеется.  
Ливень вдоль просеки. Стынь  
к осени ближе...

В черном озерце  
светится горькая синь.

Вереска ворох — забвенье, утрата...  
Птиц отлетающих крик.  
Только и счастья, что веришь ты свято  
в этот единственный миг.

В косы твои стебельки я вплетаю.  
Эхом за мной повторишь:  
— Ах, ничего о любви я не знаю —  
самое легкое лишь...

\* \* \*

Знаю, что будет и это со мной:  
вот обернулись мама с отцом,  
к черному лесу встали спиной,  
к белому полю стоят лицом.

Что там затеяли про меня?  
Что на морозе? Домой нейдут...  
Крикнуть хочу им, что нет меня!  
Только стоят, не уходят — ждут.

Было это давным-давно.  
Я ли хотел — и не поднял век?  
Смотрит отец — черным-черно,  
мама глядит — слепит снег.

Захолонет ли душа в груди?  
Лица родные меня окрест.  
Все впереди еще, лишь позади  
белое поле их,  
черный их лес.

## ВЕЧЕР

Дверь в дом осталась приоткрыта —  
оттуда света полоса,  
смех детский, взрослых голоса...  
Газета на крыльце забыта,  
и окна все плющом обвиты...  
Через каких-то полчаса  
звезда чиркнет о край корыта —  
и брызнет по траве роса,  
метнется через двор лиса,  
и, как подвода с первым житом,  
луна объедет небеса.

\* \* \*

Вода погасла. Свет пропал.  
Валун в песок и ил зарылся.  
И человек к воде припал,  
и вздрогнул вдруг, — и отстранился.

И удивился, что легки  
дни и его преображенья, —  
вся жизнь плыла по дну реки  
и не имела отраженья.

## ПРОЩАНИЕ С ДОМОМ

Пока еще не посох, не сума,  
и в щели крыши просвещивают звезды,  
восславим наши хрупкие дома  
и под карнизом ласточкины гнезда!

Восславим форточки с выбитым стеклом,  
площадки лестниц с выводком кошачьим,  
трубу печную и ведро с углем,  
свое житье, где мы хоть что-то значим.

И иногда вдруг заорет петух,  
когда-то в жертву принесенный дому.  
Наш дом снесут, но обостренный слух  
все будет внемлить птице-домовому.

И век любой — парад архитектур  
иль что-то наподобье. И, быть может,  
и каменщик придет, и штукатур,  
и новый дом на этом месте сложат.

Ну, постоим еще чуть-чуть совсем,  
оглядывая все, и — выше, выше...  
И уходи совсем, иди — со всем,  
и с петушиным гребешком над крышей!

г.Кострома



Ol'ga KOLOVA

\* \* \*

Словно благовест, манит сиянье берез —  
Чистоты древнерусской приют белоствольный,  
Чтобы высветлить душу до радостных слез  
И по-русски вздохнуть — глубоко и привольно.  
Против ветра расправить два сильных крыла,  
Приподнявшись над призраком злого Содома,  
Защищая святыню, что не умерла,  
Чтобы знала душа:  
я — в России,  
я — дома!

## В СУМЕРКАХ

«Мотри, как день-то пригняло.  
Ан ровно и не рассветало.  
В окне забластило, я встала, —  
Смякнула: время уж пришло  
Вставать да хлопотать по дому.  
Да ноне много ли хлопот...  
Зима — бездельница: все в дрему  
Кидает. Так и день пройдет  
За прялкою. Прядешь да дремлешь.  
И за день дела — с гулькин нос.  
Напрясть лишь на носки сумеешь.  
А все внучок не будет бос!  
Потом свяжу. И то — отрада!  
Все старая еще нужна  
Кому-нито... Как без труда-то?!

Я в прежние-то времена  
Нали спины не разгинала.  
В работе сзызмалу была:  
Корову с зорькой обряжала,  
Когда у мамоньки жила.  
Потом — семья: семь ртов, не мене.  
Всех обихода да накорми.  
Да и в колхозе все — без лени.  
А тамоди за трудодни,  
За «палочки» тода ломили.  
А денег не видали, нет.  
А как мужей-то проводили  
На ту войну, хватили бед.  
Косили, жали и пахали  
Все бабы. Бабы да быки!..  
И в Галич на быках езжали.  
Лошадки, как и мужики, —  
На фронте. Ох,хватило лиха  
И им, и нам. Вялик наш Бог!  
Все сдюжили. Хоть и из жмыха  
Был хлебушек не так уж плох.  
И из травы ись приходилось.  
А ноне!.. Ноне режь да ешь —  
Любых сортов. Али не милось?!.  
Да токо без охотки, где ж?..  
Коли в душе дыра большая,  
И ветр до лихоманки бьет.  
Ведь всем нам посулили рапа,  
Да вышло-то наоборот-о-т!..  
Теперичи не жись — потемки!  
Куды в потемках-то итти?!

От церкви, вишь, — одни обломки.  
Лоб не на что перекрестить.  
Мотрю в киот, святому лицу  
Молюсь: «Помилуй, Боже, всех!»  
Как мир-от пригняло... Мотри-ко!  
Знать, тя-я-жкий совершили грех...»

\* \* \*

Под древнею строкой Екклесиаста,  
Что суета сует — все суета,  
Давно уже подведена черта  
Своей рукой.

И возникает часто  
Лишь жажды разряженной высоты...  
В отчаянье у края немоты  
Паду на луг.

И небо близко-близко,  
И облака заденут за траву...  
Я пью душою эту синеву  
И тем живу, не ощущая риска  
Разоблаченной быть.

И наяву  
Плыть на ковре лугов над облаками,  
Над всеми замеревшими веками,  
И бытия неясную канву  
По-своему расцветить,  
и в узоре  
Ни узелка сомнения и горя  
Не сделать.  
Лишь сиянье: «Я живу!» —  
Пусть в Вечности останется...

\* \* \*

Колокольчик, милое созданье,  
Твой звоночек слушая в тиши,  
В дымчато-сиреневом тумане  
Я нашла усаду для души.  
Ты ее наполнил нежным звоном,  
Серебристой искоркой пронзил...  
Знаю, ты в миру своем зеленом  
Благовестишь из последних сил.  
Обещаешь росные рассветы  
На тысячелетия вперед,  
Если право жить у всей планеты  
«Властный» человек не отберет.  
Тот, кто мнит себя царем природы,  
Но ее глубины не постиг.  
Немощный — он всюду ищет брода:  
Ни крыло — расправить, ни плавник.  
Ты ж поешь о таинстве творенья  
От небес до чашечки цветка,  
О великой полноте мгновенья...  
Для тебя минута и века —  
Все одно. Все так же клонит ветер  
Травы и несет со всех сторон  
Мне — лишь я одна за все в ответе?! —  
Столь пронзительный многоголосый звон.

Парфеньевский р-н



\* \* \*

Ни смерти не боюсь, ни темноты.  
Вот жизнь порою донимает душу.  
Я злюсь. Ломаю мертвые цветы,  
Сработанные фабрикой игрушек.

А может быть, я слабый человек?  
Вон неказистый домик в два окошка.  
В нем бабка доживает горький век,  
Перебиваясь хлебом и картошкой.

Труднее ей — прожорливая печь,  
Колодец-дурень, валенки худые...  
Одно бубнит:  
«Скорей бы в землю лечь».  
...На окнах у нее цветы живые.

\* \* \*

Усевшись на завалинке  
(Жить — не всегда тужить!),  
Дед подшивает валенки.  
Куда ему спешить?

Мирское все испытано.  
Давно один как перст.  
Он стережет забытое.  
А впереди — бог весть...

Пригрелся. В дреме клонится...  
Но смотришь — ввечеру  
Подался за околицу  
К реке — купать блесну!

А утром у поленница.  
Опять же — огород...  
За делом дело лепится.  
И так — который год...

Когда он образумится?  
Лежал бы на боку...  
А смерть, такая умница,  
Не липнет к старику.

\* \* \*

Весну и не ждали — вломилась сама.  
И снег, весь в слезах,  
Перед ней распластался.  
Полгода внушала смиренье зима,  
Но всыхнула верба —  
И я растерялся.

Я на берег вышел.  
И правда, шуга.  
У лодок сидят мужики и вздыхают:  
И ночью и днем за рекой —  
Нга-га-га —  
Усталые гуси лететь подбивают.

Куда мне лететь?  
Мотоцикл оседлав,  
Я долго боролся с раскисшей дорогой.  
И правда, стирая следы переправ,  
Ведет наступленье апрель-недотрога.

И правда, я вдруг задремал у костра.  
Но долго ли спал  
И что снилось — не помню.  
Лишь помню — меня разбудила Весна,  
К щеке прикоснувшись горячей ладонью!...

\* \* \*

И вновь — дорога как дорога.  
И день — не ярче, чем всегда.  
И весь пейзаж пустого лога —  
Овраг, опоры, провода.

Да ряд берез. Да розоватый  
По склону, на закате, снег.  
Но — даль! Она зовет куда-то,  
Дрожит дымком голубоватым,  
Потянувшись — а края нет...

\* \* \*

Дорога к осени. Но что-то  
Зовет в любимые края.  
И вот — поблекшее болото  
И опустевшие поля.

Овраги, домики, колодцы,  
Изгибы медленной реки.  
Старухи с внуками под  
солнцем  
И, очень редко, старики...  
Не объяснить. Все слишком  
просто —  
Как новый день, как жизнь  
моя,  
Как откровение погоста,  
Как ты, родимая земля...

\* \* \*

Пусть через сто, пусть через двести лет —  
Сюда вернутся люди! Будет странно  
Им находить подошвы от сапог,  
Дырявый чайник, спинку от кровати, —  
Как это нахожу сегодня я...

Давно уже мне не было так горько!  
Смотрю на два оставшихся креста,  
Едва заметных в зарослях крапивы,  
И тщетно силюсь прошлое понять.

Куда ушли и что искали люди?  
Какая неизбывная беда  
Заставила их пращуров покинуть?

Никто мне не ответит... Только ели  
Под окнами исчезнувших домов  
Вершинами приветливо качают.  
Я прочь бегу.  
И страшно оглянуться...

\* \* \*

Да нет же, нет! Не променяю я  
На все щедроты ласкового юга  
Осенний дождь, промокшую фуфайку  
И пару добрых кирзовых сапог.

Пусть странен я. Но я люблю свой край  
Не прибранным, бездельникам в угоду,  
А сохранившим дикий, строгий вид.

Среди чащоб и непролазных топей,  
Здесь, сам с собой, я вольный человек.  
Куда бы ни пошел — везде мой дом.  
И время есть, не торопясь, подумать —  
О смысле жизни. О пути России  
И о себе, как это ни грешно...



г. Коломна



## Татьяна ДМИТРИЕВА

\* \* \*

Кто мечтает о круизе,  
Кто — удачно замуж выйти.  
Я ж, как многие, по жизни  
На худом плыву корыте.  
Дочь да мать — мои матросы,  
Да прибившийся от шторма  
Паренек черноволосый —  
Цыганенок из детдома.  
И таких, увы, немало...  
Злые думы душу гложут:  
Что с тобой, Россия, стало?  
Что спасет нас? Кто поможет?  
Брат на брата встали люди,  
Делят деньги, брызжа кровью!  
Мы теперь уже не любим —  
Занимаемся любовью...  
Честь и совесть — архаизмы.  
Демократия! Свобода!  
Всех пугая коммунизмом,  
Безымянный призрак бродит.  
Кофейку попьем на кухне,  
За столом устроим митинг.  
То погаснет, то потухнет  
Свет плывущим на корыте...

\* \* \*

Гонят стадо коров.  
Бабы с хлебом в руках  
У калиток буренок встречают.  
Медным гулом звенит  
Над деревней закат,  
Жаркий день с звездной ночью венчая.  
Светят синим огнем ребятишек глаза  
На мордашках смешных загорельих.  
И встают за Ветлугой большие леса,  
Стройных елей зеленые стрелы...  
Спелых яблок нарву, рукавом оботру  
И, отведав, вся сморщусь, как в детстве.  
...У российской деревни стою на ветру,  
Не могу на нее наглядеться!

\* \* \*

Благодарю тебя, благодарю —  
За нашу осень, за цветы, за встречу,  
За этот зимний бесконечный вечер,  
За радость и печаль, — благодарю.  
Невозвратимо прошлое тепло,  
И новым светом новый день наполнен,  
Когда-нибудь ты скажешь мне:  
«А помнишь?...»  
Скажу: «Воды-то сколько утекло...»  
Из слова в слово речи повторю,  
Замкнется круг потерь, разлук, искаций.  
Да будет так! Я круг наш размыкаю,  
За встречу впереди благодарю...

\* \* \*

Отосплюсь, накручусь и накрашусь,  
В праздник новое платье надену,  
В проходную приду — не вчерашиней —  
К дорогим моим аборигенам.

Взгляд лукавый — налево, направо,  
Восхищенные встречу ответно,  
Покручуся между крашеных лавок —  
Мол — цените мое бабье лето!

Простучу каблучками морзянку,  
Вслед — затылком — увижу  
из окон,  
Словно вывернутых наизнанку,  
Мужичков очарованных — во как!

Ах, как это для женщины важно —  
И в пятнадцать, и в сорок, и старше —  
Поджигательницей быть отважной  
И огнем, недоступно дразнящим...

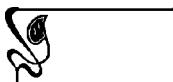
\* \* \*

Запылившиеся сосны  
Пели песню о разлуке.  
День последними лучами  
По стволам летел, скользя.  
Запылившиеся сосны  
Мне протягивали руки,  
Запылившиеся сосны,—  
Словно старые друзья...  
Все куда-то уходила,  
Улетала, уплывала,  
Все искала свое счастье  
Я за тридевять земель,  
А оно — в краю родимом  
Междуд соснами плутало...  
Как я много потеряла,  
Чтоб найти его, — взамен!  
...Светят окна в новом доме,  
Дочки спят, теплом согреты,  
Только стук неровный сердца  
Нарушает тишину.  
Запылившиеся сосны  
Буду слушать до рассвета  
И под шум усталых веток  
Вспоминать свою весну...

г.Шарьи



*Светлана ВИНОГРАДОВА*



\* \* \*

Крики птиц пронзительны и редки.  
Солнце покатилось к дальним ельникам.  
Под рядном в кадушке преют ветки  
Сизого от ягод можжевельника.  
Вечер бродит на кошачьих лапах  
Меж тяжелых урожайных гряд.  
И по всей деревне пряный запах.  
Сразу слышно — рыжики солят!

## В ПОЛНОЛУНИЕ

Снова тревожная туча надвинется,  
Снова на сердце мне ляжет тоска.  
Снова подушка — как будто в гостинице —  
И маловата, и вроде жестка.  
Снова мне с нервами долго не справиться,  
Снова с бессонницей быть заодно.  
И наблюдать, как бессовестно пялится  
Светлою рожей луныща в окно.  
И не сдержаться. И выйти на улицу  
Под фонаря замерзающий свет,  
Где у подъезда с девчонкой целуется  
Мой восемнадцатилетний сосед.  
И возвратиться в квартиру нескоро,  
И от соседкиных слов онеметь:  
«Что, все гуляешь?.. А годы — за сорок!  
Стыдно бы вроде. Пора поумнеть!»

\* \* \*

Я помню — тихо свечи оплывали,  
Казалось — где-то певчие поют...  
Служила службу матушка Наталья  
За душу слишком грешную мою.

В монастыре, где целы только стены,  
Где разорен давно иконостас,  
Она молилась так самозабвенно,  
Чтобы Господь меня от горя спас.

Над нами тихо голуби летали,  
Роняя перья легкие к ногам.  
Молилась Богу матушка Наталья —  
И вроде бы светлел разбитый храм.

\* \* \*

Затопили печку. Пахнет дымом.  
Слышится потрескиванье дров.  
Я перед тобой — таким любимым —  
Виновата, мой родимый кров.  
Воздух тонко-тонко пахнет мятый,  
От росы седые зеленя.  
Я перед деревней виновата,  
Что она осталась без меня.

\* \* \*

На фото — летчик тех военных лет.  
Шинель. Фуражка. Бравая осанка.  
...Ко мне зашел сегодня старый дед.  
«Владимировна, дай на полбуханки!  
А можешь — и про пенсию узнай.  
Хоть за какие числа нынче платят?  
...Нет, ты пятерку мне не подавай.  
И двух рублей мне одному-то хватит.  
Ведь знаю — тоже лишних денег нет...  
Да вот зашел. Хоть отдыщусь немножко».  
...Обвел печальным взглядом кабинет  
И замолчал, уставившись в окошко.  
В шинелишке. На валенках заплаты.  
И сам какой-то съежившийся весь.  
О Господи! Дожить бы до зарплаты  
И что-нибудь купить ему поесть.

\* \* \*

«В магазин «Секонд-хэнд» поступила  
новая партия поношенных  
вещей из Германии».

(Из рекламы)

«Секонд-хэнд» — «Вторые руки».  
Кофта — пять, десятка — брюки.  
Веселись, честной народ!  
Покупатель так и прет!  
Посмотрите на прилавки —  
Здесь и лифчики, и плавки.  
Дама, шляпку вам не надо?  
Пусть поля слегка помяты,  
Но зато почти задаром  
Вам ее прислала фрау.  
И всего за три рубля  
Кучка хлама... О-ля-ля!  
Ну а мне над этим срамом  
Песня слышится упрямо:  
«В полях за Вислой сонной  
Лежат в земле сырой  
Сережка с Малой Бронной  
И Витька с Моховой».  
Торжественны и кротки  
В лугах цветы цветут.  
...Поношенные шмотки  
В Россию немцы шлют!

г.Галич



\* \* \*

Таинственные тени.  
Волшебный полумрак.  
Шатучие ступени  
Куда-то на чердак,

Где луковицы сохнут  
И слышен ветра гул,  
Где в ключ скрипичный согнут  
Скрипучий венский стул.

Где кипа старой «Нивы»  
И с гирьками весы,  
Где так неторопливы  
Счастливые часы.

В дверь маленького рая  
Протиснуться, войти —  
Там вижу сам себя я  
Ребенком лет шести.

На досках стынут ножки,  
Но — затаись, молчи!  
Мерцает блик с обложки —  
Рождественской свечи.

\* \* \*

Я в библиотеке поселковой  
Частый гость. Дождливым вечерком  
Славно на столешнице сосновой  
Разложить какой-нибудь альбом,

Полистать журналы и газеты  
Под уютный говорок часов,  
Перечесть шекспировы сонеты  
Или костромской месяцеслов,

Отвести с любимым Фетом душу  
И, отвлекшись от Упанишад,  
На библиотекаршу Танюшу  
Бросить незаметно нежный взгляд.

## КОСТРОМСКАЯ ЗИМА

В подъездах прячутся влюбленные.  
Деревья — в белых кружевах.  
У Спаса маковки зеленые  
Побило холодом в «рядах».  
Торговец дынями и перчиком  
Мечтает, как бы невзначай  
Нырнуть замерзшим утлым птенчиком  
К Сусанину под малахай.  
Под гауптвахтными солдатами  
Шуршит январская парча.  
Скрипит воротами дощатыми  
По-стариковски каланча.  
От блеска-скрежета чертовского  
Осатаневший хулиган —  
Снежок — на лысине Островского  
Воздвиг искрящийся тюрбан.  
Зима-зима! Злодейка та еще!  
И, не желая быть муллой,  
Писатель смотрит умоляюще  
На бабу снежную с метлой.

\* \* \*

Борода еще не седа,  
А полночный гам поутих.  
Я считаю свои года,  
Поражаясь, как мало их.

Будет много других потех.  
Я тоску прогоняю прочь,  
Ужасаясь, как много тех,  
Чьи следы растворила ночь.

Шулер-век всем в итоге сдаст  
Вместо золота серебро.  
Борода еще не седа,  
А уж бес —  
тык да тык — в ребро.





## СТАРЫЙ ГАРМОНИСТ

Придет из клуба, а изба пуста.  
Вздохнет старик  
и сядет у окошка.  
Появится печальная звезда,  
похожая на кнопочку  
гармошки.  
И снова тронет чуткие лады.  
Потом помнит натруженные пальцы.  
До одинокой полетят звезды  
пронзительные простенькие вальсы.  
Прикроет веки — и пошло «кино»!  
То видит синеглазую девчонку,  
то слышит осторожный стук в окно  
и голос нежный:  
«Вася, на вечёрку!»  
Была залетка ах как хороша...  
Глазищи — омуты.  
Не вынырнешь оттуда.  
Гармонь и он — они одна душа.  
Была любовь, похожая на чудо...  
Ах, сколько песен он ей подарил!..  
Как недотрогу целовал он жарко...  
Семизарядную наяривал кадриль,  
а сам не станцевал ни разу...  
Жалко!

## ЗА НЕРЕХТОЙ

Дом на взгорье.  
Лес да луг.  
Поле.  
Песни жаворонков.  
Здесь живет мой добрый друг,  
по профессии — пастух,  
по фамилии — Посненков.

Ах, Михалыч дорогой!  
Вспоминаю я доселе,  
как под радугой-дугой  
на крыльце твоем сидели.

Был такой хороший час,  
к размышлениям зовущий.  
Но мигнул твой синий глаз,  
чисто нерехтский, хитрющий:  
«Может, это... по рублю?..  
Под веселую погодку?..  
А потом уж потрублю  
на рожке тебе в охотку.  
Не боись, жена!  
Шучу!  
Это так... Проверка слуха.  
Принеси рожок.  
Хочу  
кой-чего сыграть для друга».  
Зазвучал!  
Запел рожок!  
Вязь серебряную вышил.  
Рассказал бы мне, дружок,  
как ты жил  
и как ты выжил.  
И ответом мне была  
песня прадедов и дедов:  
белой лебедью плыла  
и как будто бы звала  
полететь за нею следом  
на зарю, за окоем,  
до заветных мест добраться,  
где рябине под окном  
бог судил — одной качаться...  
Смолк рожок.  
Михалыч мой  
говорит: «Концерт окончен!  
Не пора ли нам домой?  
Мы ж еще не ели нонче».  
... Ночка летом — в два шажка.  
Я проснулся.  
Над деревней  
звук знакомого рожка  
плыл таинственный и древний.  
И откликнулся петух,  
взмыли песни жаворонков.  
Уходил в луга мой друг,  
по профессии — пастух,  
по фамилии — Посненков.





# СТАТЬИ РЕЦЕНЗИИ ЗАМЕТКИ ПИСЬМА

Гравированный титульный лист  
альманаха А.С.Пушкина.

Николай СКАТОВ

## «ПАЛ, ОКЛЕВЕТАННЫЙ МОЛВОЙ...»

«Как дуб, предназначенный на долгое существование, — писал П.Анненков, — Пушкин вначале развивался тихо, раскидывая ветви с каждым годом все шире и шире. В затачках его уже можно было видеть все признаки медленного возрастания, какое бывает уделом мощных организаций. <...> Он и в последнее время еще далеко не достиг предела, какой положен был собственной его природой, и по оставшимся начаткам легко видеть обширные размеры, какие мог бы он принять впоследствии. Обозревая всю деятельность его вполне, невольно приходишь к заключению, что мы имеем только приготовление к последнему фазису развития его, который должен был и определить все значение его, и довершить весь его образ...»

«Я ожидал, — напишет после гибели Пушкина Мицкевич, — что вскоре явится он на сцене человеком новым, в полном могуществе дарования своего, созревшим опытностью, укрепленным в исполнении предначертаний своих».

К середине тридцатых годов Пушкин оказывается фактически во главе русской жизни в самом обширном смысле, становясь синонимом уже не только русской литературы, но и синонимом России. Гоголь не единственный, кто сразу после смерти Пушкина воскликнул: «Как странно! Боже, как странно: Россия без Пушкина». «Закатилась звезда светлая, — горестно сообщает сыну Екатерина Андреевна Карамзина, — Россия потеряла Пушкина». Дочь царя великая княгиня Ольга, тогда юная, в позднейших воспоминаниях назовет смерть Пушкина «общественной катастрофой». А европейски образованнейший Александр Иванович Тургенев, знаяший

и наблюдавший поэта от самых его детских лет, сразу после смерти Пушкина напишет: «Вчера в 2 3/4 мы его лишились, лишилась его Европа и Россия».

Европа в лице своего петербургского дипломатического мира отклинулась сразу, живейшим образом и в основном сочувственно. Почти весь дипкорпус был на отпевании. Почти все его представители — особенно германских государств — сообщали по инстанциям своему руководству — иногда в целой веренице депеш — о дуэли и гибели Пушкина как о важнейшем событии.

«Смерть Пушкина, — доносил один из самых недоброжелательных, но и самых тщательных корреспондентов пруссак Либерман, — представляется здесь как несравнимая потеря страны, как общественное бедствие. Национальное самолюбие возбуждено тем сильнее, что враг, переживший поэта, — иноземного происхождения. Громко кричат о том, что было бы невыносимо, чтобы французы могли безнаказанно убить человека, с которым исчезла одна из самых светлых национальных слав <...> Думают, что со временем смерти Пушкина и до перенесения его праха в церковь в его доме перебывало до 50000 лиц всех состояний, многие корпорации просили разрешения нести останки умершего. Шел даже вопрос о том, чтобы отпрянуть лошадей траурной колесницы и предоставить нести тело народу; наконец, демонстрации и овации, вызванные смертью человека, который был известен за величайшего атеиста, достигли такой степени, что власть, опасаясь нарушения общественного порядка, приказала внезапно переменить место, где должны были состояться торжественные похороны, и перенести тело в церковь ночью».

С полицеско-дипломатической точки зрения похороны, точнее, отпевание было устроено властью, опасавшейся нарушения общественного порядка, довольно ловко. «...Высшее наблюдение, — удовлетворенно констатировал Бенкендорф, — признало своей обязанностью мерами негласными устраниТЬ все почести, что и было исполнено». С другой стороны, пристойность была соблюдена. Первоначально отпевание предполагалось в небольшом демократичном Исаакиевском храме. Ведь возведение великолепного кафедрального собора завершилось только через двадцать лет, а тогдашний Исаакий, располагавшийся в Адмиралтействе, был скромной приходской церковью.

«О Конюшенной же церкви, — писал В. А. Жуковский, — нельзя было и подумать, она придворная. На отпевание в ней надлежало получить особенное позволение». Такое уже, видимо, даже не столько особое разрешение, сколько особенное распоряжение последовало, и, как сообщает тот же Либерман, похоронные церемонии по греческому обряду имели место на богослужении, «которое было совершено с величайшей торжественностью в придворной Конюшенной церкви». Тем более что отпевала — редчайший случай для, так сказать, рядового мирянина, да еще и дуэлянта — целая церковная бригада: архимандрит и шесть священников.

Правда, митрополита Серафима не было. Это он, единственный, кто при приеме Пушкина в члены Российской Академии еще в 1833 году подал свой голос против, сославшись, что не знает такого. Заявление риторическое, конечно: уж «Гавриилиаду»-то он знал, так как сам давал по ней ход делу в 1828 году; в академической истории его «не знаю» означало не что иное, как «не хочу знать». Возможно, что не только светская, но и церковная распрая уже над телом рождала

свои вопросы и проблемы для царя как главы не только российского государства, но и русской церкви. В любом случае перенос места траурных торжеств исключал или ослаблял возможность народного волеизъявления демонстрациями. Не нужна становилась и процесия, которая по первоначальному маршруту должна была бы идти мимо голландского посольства с его Геккернами... А уж здесь могли не только стекла выбить, но и двери вышибить. И вообще облегчалась всякая жандармско-полицейская предусмотрительность и надзирательность: ее отмеряли полной мерой, тем самым — хотя и отрицательно — показав, подтвердив и подчеркнув всю меру народной любви к поэту. «Трагическая смерть Пушкина, — свидетельствовал И. И. Панаев, — пробудила Петербург от апатии. В городе сделалось необыкновенное движение... Все классы петербургского народонаселения, даже люди безграмотные, считали как бы своим долгом поклониться телу поэта. Это было уже похоже на народную манифестацию, на очнувшееся вдруг общественное мнение».

Все это вполне соответствовало месту, которое уже занял Пушкин в исторической жизни нации и в исторических судьбах Европы в последние свои годы. «1834 и 1836 годы, — пишет П. Анненков, — замечательны в жизни поэта нашего еще и развитием его сношений в обществе. Даже по одним бумагам можно судить о том, какой обширный круг деятельности нашла его наблюдательность и какой широкий горизонт представлялся вообще его глазу. Почти ни одно явление жизни не ускользает от него. Он собирает исторические анекдоты от очевидцев или от людей, близких к очевидцам, и помечает вместе с тем всякое слово или мысль, как только вышли они, по своему значению, из безразличного говора людей. Еще важнее для него были сами люди. Мы знаем, что в это время находился он в сношениях почти со всеми знаменитостями светского, дипломатического, военного и административного круга. Гораздо реже и не совсем охотно спускается он в круг литераторов: разнородные требования и стремления их уже не имеют для него важного значения...»

К этому времени само имя Пушкина в русской жизни — почти миф, живая легенда. В. А. Соллогуб вспоминал о своих впечатлениях тогда молодого и, так сказать, « рядового » члена « общества »: « Трудно себе вообразить, что это был за энтузиазм, за обожание толпы к величайшему нашему писателю, это имя волшебное являлось чем-то лучезарным в воображении всех русских, в особенности же в воображении очень молодых людей ».

Влияние Пушкина было огромным. Всякого его слова ждали и боялись. На него были постоянно наведены взоры всех и направлены все уши. « Я имею несчастье, — горько пошутил он однажды, — быть человеком публичным, и, знаете, это хуже, чем быть публичной женщиной ». На него постоянно накатывались волны восхищений, осуждений, сплетен, восторгов, злобы, обожания, благодарностей, мстительности, притязаний. Более других притязала власть в лице самого царя. « Папа, — писала царская дочь Ольга, — <...> видел в Пушкине олицетворение славы и величия России, относился к нему с большим вниманием, и это внимание распространялось и на его жену, которая была в такой же степени добра, как и прекрасна ».

Да, царь видел в Пушкине славу России, но коль скоро сама Россия мыслилась абсолютно присвоенной самодержцу, столь скоро без

больших церемоний шли на церемонию присвоения ему камер-юнкерства и на уж совсем бесцеремонный просмотр его писем доброй и прекрасной жене.

В свои тридцатые годы Пушкин был очень усилен в надежной, по точному замечанию Ю.М.Лотмана, «цитадели» — в семье. Защитные границы расширились: семья стала опорой и мощной линией ограждения для такого гения, как пушкинский. Она обороняла, но и ее нужно было охранять. С семьей Пушкин оказался и более укреплен, но и более уязвим. Потому-то и нужны были новые и новые беспрерывные героические усилия для того, чтобы защищать уже не только себя, но и жену. Опасность нападений увеличивалась как минимум вдвое. А возможности для коварства, лжи, сплетни расширялись уже почти бесконечно... Отсюда же и, лишь на первый взгляд, неожиданная вспышка в эту пору дуэльных вызовов. О них часто пишут, что Пушкин искал смерть, в то время как он спасал и ограждал жизнь.

И если Пушкин стоял в центре русской жизни, то в 30-е годы рядом с ним стала его жена. Жена поэта была наделена тем, что Д.Ф.Фикельмон назвала «поэтической красотой»: «...госпожа Пушкина, жена поэта, здесь впервые явилась в свете, она очень красива, и во всем ее облике есть что-то поэтическое. <...> Поэтическая красота госпожи Пушкиной проникает до самого моего сердца. Есть что-то воздушное и трогательное во всем ее облике — эта женщина не будет счастлива, я в этом уверена! Она носит на челе печать страдания. Сейчас ей все улыбается, она совершенно счастлива, и жизнь открывается перед ней блестящая и радостная, а между тем голова ее склоняется, и весь ее облик как будто говорит: «Я страдаю». Но и какую же трудную предстоит ей нести судьбу — быть женой поэта, и такого поэта, как Пушкин!» Умница Дарья Федоровна Фикельмон знала, что говорила: она уже хорошо к тому времени изведала «людей и свет», если вспомнить стих Пушкина.

Соответственно, как и на поэта, на нее тоже обрушился шквал: обожаний, сплетен, восторгов, зависти, комплиментов и злоречий. Все в ней восхищали и потому — многих — тем более бесило. Сестра поэта передает в 1835 году мужу, что на Наталью Николаевну все нападают: и почему ложа в театре, и почему элегантна и т.д. и т.д. И сам Пушкин с горечью сообщает Осиповой о том, что «бедная моя Натали стала мишенью для ненависти света». «Вы слишком чистосердечны, — писал самой Наталье Николаевне П.А.Вяземский уже много позднее, — слишком естественны, мало предусмотрительны... Красота — это дар, но стоит он немного дорого. Вы — власть, сила в обществе, а вы знаете, что все стремятся нападать на всякую власть...»

«Слишком привлекательна была она, — писал еще позднее Александр Федорович Онегин, — и как жена гениального поэта и как одна из красивейших русских женщин. Малейшую оплошность, неверный шаг ее немедленно замечали, и восхищение сменялось завистливым осуждением, суровым и несправедливым».

Свет готов был гнать не только «его свободный смелый дар», но и ее дар — красоты, ума, обаяния. Если имя Пушкина и здесь должно было дополнительно поднимать волну обожаний, то оно же должно было и здесь еще увеличивать силу гонений. Все это складывалось до всяких Дантесов. Почва была подготовлена загадя. Нужен был случай. Он явился в виде Дантеса.

Не случайно, однако, что Дантес оказался связанным со всем самым злобным и коварным, что имел тогда международный и светский Петербург — и что сосредоточилось в бароне Геккерне. В Дантесе же было найдено только орудие, но найдено исторически точно и безошибочно, орудие могучее и безотказное.

Все в нем должно было раздражать, бесить и провоцировать Пушкина. С одной стороны, носитель самой высокой поэзии, с другой — представитель самой низкой и грязной черни.

С одной стороны, образованнейший человек своего времени, с другой — кое-как выдержавший даже облегченный по этому случаю офицерский экзамен невежда, почти полуграмотный. «Даже французский литературный язык, — пишет Н. Раевский, — давался Дантесу не так легко. Ему приходилось уже много лет спустя обращаться к помощи воспитателя своего внука Луи при составлении некоторых писем и документов. Домашние не припоминают Дантеса в течение всей его долгой жизни за чтением какого-нибудь художественного произведения».

С одной стороны, русский аристократ, за плечами которого стояло шестисотлетнее дворянство, с другой — довольно худородный высокачка, барон второго дня: баронство было жаловано отцу Дантеса первым великим императором буржуазной Франции, а сам Дантес сделает позднее свою карьеру при ее последнем ничтожном императоре, при маленьком племяннике великого дяди. Но и это будет не столько политическая, сколько экономическая карьера — банкира и дельца. Правда, Дантес был дважды бароном: уже в России состоялось усыновление барона Дантеса бароном Геккерном, которое, впрочем, в глазах многих тогда выглядело скорее «замужеством»: любовные привычки старого посланника почти не были секретом.

И конечно, дело не в родовитости самой по себе. Дантес — это типичнейший буржуа, главной целью которого была карьера. И — особенно — деньги. Достаточно вспомнить постыдный процесс, затяянный впоследствии богатым Дантесом против обедневших Гончаровых. «Эта совершенно неприличная, — полагает Н. Раевский, — тяжба с Гончаровыми рисует его человеком расчетливым и сухим до крайности. Таков был Дантес в зрелые годы, таков, надо думать, был и в молодости. Веселый нрав, общительность и остроумие кавалергарда обманули многих...»

Дантес с детства хорошо усвоил цену копейки, которой, по слову Гоголя, все прошибешь, и вынес это правило явно из семьи бедного отца, с благодарностью отказавшегося от отцовства и, так сказать, восторженно уступившего сына богатому содержателю, который его и обеспечил. В жертву карьере и деньгам приносилось все.

Потому же и в 1837 году оказалось, что на поединок вышли, с одной стороны, опытный и смелый боец (и дуэльный тоже), с другой — трусливый, буквально поставленный к барьерау, припертый к стенке шкодник. Маяковский в своем «Юбилейном» не постеснялся в выражениях: «Сукин сын, Дантес, великосветский шкода». И был прав. За одним уточнением: Дантес не был представителем большого света: он пробирался туда именно как «шкода», «шкодник», говоря нынешним словом — прохиндей. Было все: большие рекомендации, счастливый случай, ловкость, искательность, необыкновенно замечательная способность приспособливаться. Как «шкода» он вел себя и в дуэльных делах. Дело не в личной трусости — ее как раз не было.

Была, и на разных этапах ярко проявлялась, трусость другого рода — боязнь потерять вещи большие, чем жизнь: карьеру и деньги.

Но если Пушкин был русским всемирным гением, то Дантес тоже был в своем роде «всемирным» человеком — космополитом: эльзасец немецкого типа, считавший себя французом, добивавшийся голландского подданства, устремившийся за карьерой в Россию и устроивший ее во Франции. Как тогда кто-то пошутил, человек с тремя отечествами и двумя отчествами.

Но если Пушкин был велик в своем искусстве, то одним великим искусством Дантес тоже владел — искусством нравиться. По словам Данзаса, «Дантес, при довольно большом росте и приятной наружности, был человек неглупый и хотя весьма скучно образованный, но имевший какую-то врожденную способность нравиться». Если говорить о литературных подобиях, то в Дантесе удачно слились русский *преприятный* человек Павел Иванович Чичиков с французским «милым другом» Жоржем Дюруа. Он начал в России, хотя и в большом свете, как Чичиков, закончил в России, как Чичиков, и продолжил во Франции, как Дюруа.

Дантес нравился всем: императору, императрице, товарищам по полку, Карамзиным. Дантес понравился Пушкину, который даже назвал его добрым малым. Что Пушкину нравился Дантес, подтверждает и С.А.Соболевский. Дантес понравился Наталье Николаевне, чего, собственно, она и не скрывала.

Вскоре Пушкин понял, что такое Дантес. Она поняла позднее, но — поняла. Вскоре Пушкин понял, что дело не в Дантесе. Она поняла позднее, но — тоже поняла. Кое-что, особенно перед концом, понять помогла ему она. Тогда-то, видимо, абсолютно все объяснил ей он. Потому же, особенно на последних преддрамических этапах, не приходится говорить даже о тени пушкинской ревности. Отелло не ревнив, он доверчив — так вроде бы неожиданно сказал об «африканских» страстиах знаменитого шекспировского героя сам поэт. Как известно, не Дездемона изменила Отелло, а Отелло, по сути, изменил свою доверчивости. Пушкин оказался Отелло, ни разу своей доверчивости не изменившим. «Доверие Пушкина к жене, — сообщает Д.Ф.Фикельмон, — было безгранично». То, что Наталья Николаевна вполне оправдывала это доверие, никогда не вызывало сомнения ни у кого из ближайшего окружения.

Оба, и Пушкин и Пушкина, стали объектом заговора, который Вяземский назовет адскими сетями и адскими кознями против Пушкина и его жены. Но назовет позднее. Почти никто тогда этого не знал и не понимал, особенно друзья. «Прошу в том прощения у его памяти», — скажет потом П.А.Вяземский. «Краснею теперь от того, что был с ним (Дантесом. — Н. С.) в дружбе», — скажет потом А.Н.Карамзин. Но Пушкин знал и понимал, кто и как играет с ним и его женой.

Чаще всего его враги становились и ее врагами, и — соответственно — наоборот: ее враги сплачивались с могущественными врагами мужа и ополчались на обоих.

... Надменные потомки  
Известной подлостью прославленных отцов...

Такой фразой Лермонтов позднее обозначил врагов поэта — вплоть до буквальных психологических примет...\*

\* Полностью статья опубликована в журнале «Наш современник», №1, 1999 г.

## ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ МИР ПУШКИНА

«При имени Пушкина тотчас осеняет мысль о национальном русском поэте, — сказал Н. В. Гоголь. — В нем, как будто в лексиконе, заключилось все богатство, сила и гибкость нашего языка. Он более всех, он далее раздвинул ему границы и более показал все его пространство. Пушкин есть явление чрезвычайное и, может быть, единственное явление русского духа: это русский человек в конечном его развитии, в каком он, может быть, явится через двести лет. В нем русская природа, русская душа, русский характер...»

Пушкин — классик нашей литературной классики, немеркнувший и загадочно недостижимый для нее идеал. Это — солнце русской классической литературы. Он завершил более чем столетний процесс формирования новой русской литературы и ее языка. В творчестве Пушкина наша литература впервые и навсегда обрела свой зрелый, национально определившийся характер и заняла почетное место в кругу других литератур христианской Европы.

В каждой развитой национальной литературе есть имена, являющиеся свидетельством ее вершины, дающие на века этой литературе духовно-эстетический идеал. В Италии это Петрарка, в Германии — Гете, в Англии — Шекспир, а у нас в России — Пушкин. Особенностью таких писателей является их «вечная современность». Они воспринимаются как «начало всех начал». В их творчестве видится воплощенным национальный идеал писателя и человека со свойственным ему чувством меры, с безупречным ощущением границ дозволенного и недозволенного в жизни и в искусстве. Поэтому всеми они воспринимаются как образец, но образец, недостижимый для подражания. «Невозможно повторить Пушкина», — утверждал Гоголь. И в то же время русский критик Аполлон Григорьев с удивлением подмечал: «Во всей современной литературе нет ничего истинно замечательного и правильного, что бы в зародыше своем не находилось у Пушкина». Послепушкинская литература безотчетно и неосознанно, вне прямого стремления к подражанию, остается тем не менее в границах того магического круга художественных тем и образов, который очерчен ее гением, высечен ее немеркнущим солнцем. «Мы находим теперь, — писал вслед за Ап. Григорьевым Н. Н. Страхов, — что, несмотря на множество, по-видимому, новых путей, которыми шла с тех пор русская литература, эти пути были только продолжением дорог, уже начатых или совершенно пробитых Пушкиным». И в самом деле, «зерно» романа-эпопеи «Война и мир» Л. Н. Толстого содержится в «Капитанской дочке», равно как «зерно» «Преступления и наказания» Достоевского заключается в «Пиковой даме». Вся галерея «лишних людей» от Печорина Лермонтова, от Бельтова Герцена до Рудина и Лаврецкого Тургенева, Обломова и Райского Гончарова восходит к пушкинскому Евгению Онегину. Татьяна и Ольга в этом романе — прообразы Веры и Марфеньки в «Обрыве» Гончарова. К «русской душою» Татьяне тяготеют лучшие женские образы в романах Тургенева — Наталья Ласунская, Лиза Калитина, Елена

Стахова. Русские писатели-классики, явившиеся после Пушкина, раскрывают и развертывают те емкие художественные формулы, которые содержит в себе образный мир Пушкина.

В чем же секрет этой странной, на первый взгляд, очарованности русской литературы Пушкиным, что удерживает наших писателей в границах и пределах созданного им художественного мира? В творчестве Пушкина впервые осуществился органический синтез освоенного русской литературой XVIII века культурного опыта Западной Европы с многовековой национальной традицией. Богатырским усилием был преодолен порожденный петровскими реформами разрыв между тонкой прослойкой «европеизированного» дворянского общества и народом с его тысячелетней православно-христианской духовностью. Пушкин восстановил прерванную реформами Петра связь времен древней и новой России, осуществив творческую работу глубокой общенациональной значимости. По словам Герцена, русский народ на приказ Петра образоваться «ответил через сто лет громадным явлением Пушкина».

Необходимым условием вступления новой русской литературы в зрелую фазу ее развития явилось формирование национального литературного языка. До середины XVII века литературным языком России был старославянский. Но с «Жития протопопа Аввакума» и бытовых повестей второй половины XVII века начинается процесс формирования новой русской литературы. Реформы Петра I придали ему ускоренный характер, но и в стиле литературы XVIII века преобладает хаотическая пестрота, произвольная смесь русских слов со словами, заимствованными из французского и немецкого, да и в употреблении русских царит стилистическая сумятица, преодолеть которую пытался Ломоносов своей языковой реформой, разделяющей слова русского языка на «три штиля» и закрепляющей «высокий», «средний» и «низкий» стиль за разными жанрами литературы.

Реформа Ломоносова сыграла свою положительную роль в упорядочении стихии русского литературного языка, в обуздании речевого хаоса. Однако разрешить назревшую проблему она не могла в силу жесткой национальной регламентации, навязанной «сверху» литературному языку. Ведь зрелый литературный язык — явление живое и органическое: он не конструируется, не изобретается, а рождается в процессе художественного творчества. В 1814 году П.А. Вяземский посетует: «Мы не знаем своего языка, пишем наобум и не можем опереться ни на какие столбы. Наш язык не приведен в систему,руды его не открыты, дорога к ним не прочищена». А друг Жуковского Андрей Тургенев в 1801 году ждет появления в нашей литературе второго Ломоносова: «Напитанный русской оригинальностью, одаренный творческим даром, должен он дать другой обзор нашей литературе».

Решение творческой задачи такого масштаба возможно лишь в атмосфере высокого общественного подъема, обнаруживающего зрелость национального самосознания. Эту зрелость русская литература обрела после Отечественной войны 1812 года. В 1844 году в своих статьях о творчестве Пушкина В.Г. Белинский писал: «Можно сказать без преувеличения, что Россия больше прожила и дальше шагнула от 1812 года до настоящей минуты, нежели от царствования Петра до 1812 года. С одной стороны, 12-й год, потрясши всю Россию из конца в конец, пробудил ее спящие силы и открыл в ней

новые, дотоле не известные источники сил, чувством общей опасности сплотил в одну огромную массу косневшие в чувстве разъединенных интересов честные воли, возбудил народное сознание и народную гордость... С другой стороны, вся Россия, в лице своего победоносного войска, лицом к лицу увиделась с Европою, пройдя пол нее путем побед и торжеств. Все это сильно способствовало возрастанию и укреплению возникшего общества. В двадцатых годах текущего столетия русская литература от подражательности устремилась к самобытности: явился Пушкин».

«Он при самом начале своем уже был национален, — говорил Гоголь. — Все уравновешено, сжато, сосредоточено, как в русском человеке, который не многоглаголив на передачу ощущения, но хранит и совокупляет его долго в себе, так что от этого долговременного ношения оно имеет уже силу взрыва, если выступит наружу». Национальный дух Пушкина «заключается в чрезвычайной быстроте описания и в необыкновенном искусстве немногими чертами означить весь предмет. Его эпитет так отчетлив и смел, что иногда один заменяет целое описание... Его небольшая пьеса всегда стоит целой поэмы. Вряд ли о ком из поэтов можно сказать, чтобы у него в коротенькой пьесе вмешалось столько величия, простоты и силы, сколько у Пушкина».

Искусство Пушкина — это искусство поэтических формул, сжатых и емких художественных обобщений общенационального масштаба и значимости. В нем мобилизуются все возможности русского языка, вся заключенная в нем образная энергия. По замечанию Ю. Тынянова, «слово стало заменять у Пушкина свою ассоциативную силу развитое и длинное описание». И такое стало возможным у Пушкина потому, что он обладал необыкновенной чувствительностью к самому духу национального языка, открывая его глубокие исторические корни, простирая дорогу к скрытым в его недрах драгоценным рудам.

«Как материал словесности, язык славяно-русский имеет неоспоримое превосходство перед всеми европейскими: судьба его была чрезвычайно счастлива, — говорит Пушкин. — В XI веке древний греческий язык вдруг открыл ему свой лексикон, сокровищницу гармонии, даровал ему законы обдуманной своей грамматики, свои прекрасные обороты, величественное течение речи; словом, усыновил его, избавя таким образом от медленных усовершенствований времени. Сам по себе уже звучный и выразительный, отселе заемлет он гибкость и правильность. Простонародное наречие необходимо должно было отделяться от книжного; но впоследствии они сблизились, и такова стихия, данная нам для сообщения наших мыслей».

Пушкин понимает, что пришедший к нам из Византии церковнославянский язык, обработанный салунскими братьями св. Кирилом и Мефодием, являлся духовноенным языком нашего православного богослужения. В течение многих веков, начиная с принятия Русью христианства при св. князе Владимире, он звучал в православных храмах перед прихожанами «во дни торжеств и бед народных», а потому и вошел в народный язык в качестве его высокой духовной первоосновы. «Греческое вероисповедание, отдельное от всех прочих, дает нам особенный национальный характер», — считал Пушкин, полагая, что Православие накладывает свою печать и на своеобразие русской национальной истории: «Поймите же и то, что

Россия никогда не имела ничего общего с осталью Европою; что история ее требует другой мысли, другой формулы, как мысли и формулы, выведенные Гизотом из истории христианского Запада». Естественно, что и та ценностная шкала, которая организует пушкинский литературный язык, оказывается православно-христианской по своей внутренней сути. «Если сравнить язык Пушкина с языком Карамзина, — отмечал Н. Страхов, — то можно подумать, что язык Пушкина гораздо старее, так как в нем встречается множество форм, уже изгнанных Карамзиным. Славянизмы, старые слова так же мало пугали Пушкина, как и формы простонародные».

По определению М. Н. Каткова, «в поэтическом слове Пушкина пришли к окончательному равновесию все стихии русской речи», «успокоился труд образования языка; в Пушкине творческая мысль заключила ряд завоеваний в этой области, разделась с нею и освободилась для новых задач, для иной деятельности... У Пушкина впервые легко и непринужденно слились в одну речь и церковнославянская форма, и народное речение, и речение этимологически чуждое, но усвоенное мыслью как ее собственное».

В отличие от Карамзина и его последователей Пушкин не вводил в литературный язык никаких новых слов, но зато очень широко пользовался удачными художественно-стилистическими находками своих предшественников и современников. В его стихотворении «Памятник», например, ощущимы заимствования из поэтической лексики Державина; в стихах «Я помню чудное мгновенье...» ключевой образ «гений чистой красоты» взят у Жуковского; поэтический вопрос-формула, открывающий стихотворение «Что в имени тебе моем?...», подхвачен Пушкиным у второстепенного и ныне забытого поэта Саларева; поэтический образ «дробясь о мрачные скалы, шумят и пенятся валы» — вариация находки второстепенного поэта Филимонова: «И разъяренные валы... дробят о грозные скалы» и т. п. Масштабы таких заимствований в словаре Пушкина огромны: здесь Ломоносов и Державин, Радищев и Княжнин, Жуковский и Батюшков... В 1920-е годы вышла специальная работа на эту тему. М. О. Гершензон дал ей характерное название «Плагиаты Пушкина». Однако такие «плагиаты» у Пушкина были неизбежными и принципиальными в свете главной задачи, которую он призван был решать в своем творчестве. Родоначальник новой русской литературы ко всему поэтическому наследию относился как к общенациональному достоянию. Подобно народному сказителю, творящему по законам коллективного искусства, он не стыдился присваивать себе близкое его душевному настрою «чужое». Менее всего он стремился измышлять что-то от своего лица и вовсе не был озабочен противопоставлением своего «я» предшественникам и современникам. Напряженным творческим усилием он осуществлял в русской литературе синтез всего, что было создано в ней трудами бывших до него и живущих с ним поэтов и писателей. А для того, чтобы этот синтез осуществить, нужно было дать усвоенному опыту новую художественную меру. Своеобразие Пушкина заключается не столько в открытии нового, сколько в упорядочивании старого — в иерархической его организации на зрелой и органической национальной основе.

«Область поэзии бесконечна, как жизнь, — говорил Л. Н. Толстой, — но все предметы поэзии предвечно распределены по известной иерархии и смешение низших с высшими или принятие низшего за

высший есть один из главных камней преткновения. У великих поэтов, у Пушкина, например, эта гармоническая правильность доведена до совершенства».

Обратим внимание на слово «предвечно», употребленное Толстым. Оно означает, что иерархия ценностей не человеком придумана, не художником «изобретена». Не человек в конечном счете является «мерою всех вещей»: эта «мера» объективна и существует независимо от наших субъективных желаний и капризов. Она является нам свыше, как солнце, как небо, как звезды; ее можно почувствовать в гармонии окружающей нас природы, где все соразмерно, организовано, приложено друг к другу. Потому-то эта гармония в русском народном языке обозначалась более точным по смыслу словом «лад». Гений Пушкина заключался в прозрении этого «лада», в постижении «высшего порядка вещей в окружающем нас мире». Именно так определяет Пушкин суть поэтического вдохновения в споре с одним из современных критиков: «Критик смешивает вдохновение с восторгом, — говорит он. — Вдохновение есть расположение души к живейшему принятию впечатлений и соображению понятий, следственно, и объяснению оных. Вдохновение нужно в геометрии, как и в поэзии. Восторг не предполагает силы ума, располагающего частями в отношении к целому. Восторг непродолжителен, непостоянен, следовательно, не в силах произвести истинное, великое совершенство».

Вдохновение мыслился Пушкиным как интеллектуальное прозрение в скрытую сущность вещей и явлений окружающего мира, в сложную организацию его частей в целое. Такое прозрение нуждается прежде всего в даре восприимчивости, в «особом расположении души к живейшему принятию впечатлений». П.А.Плетнев писал о Пушкине: «Он постигнул, что язык не есть произвол, не есть собственность автора, а род сущности, влитой природою вещей в их бытие и формы проявления». Отсюда рождается пушкинское сравнение поэта с эхом, послушно откликающимся на все в окружающем мире:

Ревет ли зверь в лесу глухом,  
Трубит ли рог, гремит ли гром,  
Поет ли дева за холмом —  
    На всякий звук  
Свой отклик в воздухе пустом  
    Родишь ты вдруг.

Отсюда рождается естественность, нерукотворность, органическая природность поэзии Пушкина. Когда читаешь его стихи, возникает ощущение, что это не поэт, а сами предметы, им изображенные, о себе говорят. Пушкин — весь самоотдача, он радостно находит себя в другом. «Эгоист, — гласит древняя индусская мудрость, — всему внешнему, всему, что не он, брезгливо говорит: «Это не я, это не я»; тот же, кто сострадает, во всей природе слышит тысячекратный призыв: «Это ты, это тоже ты»»:

В гармонии соперник мой  
Был шум лесов иль вихорь буйный,  
Иль иволги напев живой,  
Иль ночью моря шум глухой,  
Иль шепот речки тихоструйной.

С этим качеством поэзии Пушкина, восходящим к сострадательной душе русского народа, связано и другое ее свойство, которое

Достоевский называл «всемирной отзывчивостью». «Он человек древнего мира, он и германец, он и англичанин, глубоко сознающий гений свой, тоску своего стремления, он и поэт Востока. Всем этим народам он сказал и заявил, что он может *перевоплощаться* в них во всей полноте». С другой стороны, Аполлон Григорьев подметил, что вполне и до конца Пушкин никому не покорялся, что в его «всемирной отзывчивости» был элемент состязательности и борьбы. Пушкин тут как бы мерялся силами с гениями других народов, утверждая свой, национально-русский взгляд на мир. «Из такого рода борьбы с чуждыми типами Пушкин всегда выходил *сам собою...* В нем в первый раз обозначилась наша русская физиономия, истинная мера всех наших общественных, нравственных и художественных сочувствий, полный образ русской души».

«Всемирная отзывчивость» Пушкина была порождена необходимостью национального самоопределения. Познать себя, познать тайну русской индивидуальности можно было лишь через сравнение ее с индивидуальностями других народов и других национальных культур, в творческом состязании с ними. Если, например, «Дон-Жуан южных легенд — это сладострастное кипение крови, соединенное с демонски-скептическим началом», то Дон-Жуан у Пушкина — это человек с беспечно-юной, безграничной жаждой наслаждения, наделенный «сознательным даровитым чувством красоты». В нем есть что-то от чисто русской удачи и беспечности, дерзкой шутки над прожигаемой жизнью, безудержной погони за впечатлениями.

В основе пушкинской иерархии ценностей лежит острое чувство совести. «Совесть стучится у него под окном крестьянина, который не похоронил утопленника; она в черный день просыпается у разбойников; докучный собеседник, она когтистым зверем терзает скучного рыцаря и окровавленной тенью стоит перед Онегиным; в тихую украинскую ночь обвинительными очами смотрит она в сумрачные помыслы Мазепы; жалобной песней русалки, бредом сумасшедшего мельника она тревожит изменническое сердце князя; тяжелыми стопами Каменного гостя проходит она в греховную душу Дон-Жуана и в звуках моцартовского «Реквиема» вольтесь в душу отравителя Сальери. Не самозванец, а совесть Годунова облеклась в страшное имя царевича Димитрия», — писал об этой ключевой особенности пушкинского мироощущения критик «серебряного века» Ю.Айхенвальд, который называл произведения Пушкина «художественным оправданием Творца, поэтической Теодицеей»: «Его поэзия — отзыв человека на создание Бога. Вот сотворен мир, и Творец спросил о нем человечество, и Пушкин — ответил на космический вопрос, на дело Божиих рук, — ответил признанием и восторженной хвалой вознес «хвалебный гимн Отцу миров».

По универсальности охвата жизни поэзией, по полноте и целостности восприятия мира гений Пушкина напоминает творцов эпохи Возрождения. Но сам дух поэзии Пушкина далек от западноевропейского Ренессанса. В чем и почему? Современный знаком творчества Пушкина В.С.Непомнящий замечает, что в ренессансной гармонии мира мерою всех вещей является человек, обожествленное человеческое естество. Пушкин человеческую природу никогда не обожествлял, зная о ее греховности, о ее земном несовершенстве. Отсюда характерная для Пушкина, православная по своей сути, «стыдливость формы», порожденная сознанием, что в этой

жизни нет абсолютной красоты и абсолютной завершенности. И.С.Тургенев вспоминал: «Ваша поэзия, — сказал нам однажды Мериме, — ищет прежде всего правды, а красота потом является сама собою; наши поэты, напротив, идут противоположной дорогой: они хлопочут прежде всего об эффекте, остроумии, блеске, и если ко всему этому им предстанет возможность не оскорблять правдоподобия, так они и это, пожалуй, возьмут в придачу». «У Пушкина, — прибавлял он, — поэзия чудным образом расцветает как бы сама собою из самой трезвой прозы». В пушкинской гармонии нет самодовольного чувства достигнутого, нет претензии на полную завершенность и совершенство. Чувство красоты в его поэзии не довлеет, не стремится к эффекту и блеску. Это чувство постоянно уравновешивается у Пушкина двумя другими — добром и правдой. В творчестве Пушкина торжествует всякий раз триединство Добра, Правды и Красоты. Поэтому пушкинская гармония сдержанна и стыдлива, она «сквозит и тайно светит» в смиренной наготе жизненной прозы.

Красота, Добро и Правда в представлении Пушкина *предвечны*, нити этого триединства в руках Творца. На земле они не явлены во всей полноте, их можно лишь почувствовать, как сокровенную тайну, в минуты поэтических вдохновений. В стихотворении «Поэт» Пушкин отрекается от авторской гордыни, он говорит о том, что в повседневной жизни поэт не отличается от всех смертных и грешных людей: он малодушно предается заботам «суетного света», душа его порою «вкусляет хладный сон» и «меж детей ничтожных мира, быть может, всех ничтожней он». Всех удивляло в Пушкине отсутствие тщеславия и самомнения, его умение быть равным с любым человеком, его русское простодушие. Пушкин не кичился своим талантом, ибо он видел в нем Божий дар, данный ему свыше. По отношению к этому дару Пушкин — как смертный человек — испытывал высокое, почти религиозное благоговение, и свой гений он не считал сугубо личным достоинством и заслугой:

Но лишь Божественный глагол  
До слуха чуткого коснется,  
Душа поэта встрепенется,  
Как пробудившийся орел.

Вдохновение приводило его в священный трепет, ибо в эти мгновения ему открывалась тайна *предвечного* замысла Бога о мире и людях, и он, смертный, получал возможность к ней прикоснуться. Поэтому Пушкин видел в искусстве поэзии не «самовыражение», а «служение», накладывающее на поэта нравственные обязательства. Пушкин и здесь был сыном русского народа, искони считавшего стыдливость и смиренномудрие лучшими добродетелями человека, а гордыню — самым тяжким, смертным грехом. В «Сказке о рыбаке и рыбке» Пушкин коснулся именно этих нравственных устоев своего народа. Пока старуха просила себе нового корыта, новой избы, рыбка золотая, хоть и с неудовольствием, это терпела. Но как только старуха пожелала быть богиней, — плеснула хвостом и скрылась в морской пучине, а старуха осталась при разбитом корыте.

В то же время Пушкин не был святым человеком, хотя и тянулся к святости. Его призвание было в другом, его путь — это путь русского национального поэта. А поэт — натура действительно-созерцательная, отзывчивая на все впечатления бытия, стремящаяся все

испытать, все изведать в этом мире, не застрахованная от грехов и падений. Как русский человек, Пушкин был наделен безмерной широтой и размашистостью натуры. Его жизнь — это горение и борьба как с несовершенствами и нестроениями окружающего мира, так и с самим собой, со своими заблуждениями и слабостями.

Пушкин сполна принял в себя душу русского человека и всю жизнь трудился над ее оформлением. «Таково было великое задание Пушкина, — говорит русский мыслитель Иван Ильин, — принять русскую душу во всех исторически и национально сложившихся трудностях, узлах и страстиах и найти, выносить, выстрадать, осуществить и показать всей России достойный ее творческий путь, преодолевающий эти трудности, развязывающий эти узлы, вдохновенно облагораживающий и оформляющий эти страсти... Как сын времени, он должен был, решая эту задачу, вобрать в себя все отрицательные черты эпохи, все соблазны русского интеллигентского миросозерцания, но не для того, чтобы их утвердить, а чтобы одолеть и показать русской интеллигенции, как можно и должно их победить».

Вот почему современные исследователи Пушкина называют его не гением исключительности, а гением нормы. Н.Н.Скатов говорит: «Пушкин, я думаю, единственный в мире тип нормального гения. Гений всегда исключение из норм, гений всегда, все-таки, выбивается из ряда, а Пушкин — это нормальный гений или гений нормы, если угодно. Вот в этом качестве он перед нами сейчас и предстает, и он развивался как единственный в своем роде нормальный человек на всех этапах». История его развития — это постановка и решение основных проблем русского духовного бытия и русской судьбы. Путь, пройденный и отраженный Пушкиным в его поэзии, отзовется потом в творчестве Толстого и Достоевского, воплотится в жизни их героев: от разочарования и безверия — к вере и молитве, от революционного бунтарства — к мудрой государственности, от юношеского многолюбия — к культу семейного очага, от мечтательного свободолюбия — к трезвому, оберегающему преемственность исторического развития консерватизму: «Лучшие и прочнейшие изменения суть те, которые происходят от одного улучшения нравов, без насилистенных потрясений политических, страшных для человечества». «Не приведи Бог видеть русский бунт — бессмысленный и беспощадный. Те, которые замышляют у нас невозможные перевороты, или молоды и не знают нашего народа, или уж люди жестокосердые, коим чужая головушка полуушка да и своя шейка копейка».

«В начале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог», — сказано в св.Евангелии от Иоанна. Пушкин обрел через свой дар оформленный язык художественных слов-образов, в котором отразился весь душевный процесс «русского гения». В Пушкине заключен высокий Дух нашей классической литературы, ибо Некрасов и Тургенев, Гончаров и Островский, Толстой и Достоевский писали свои произведения на языке Пушкина, в созданной этим языком системе национальных ценностей. В Пушкине, как в зерне, содержится будущее нашей литературы. Гений Пушкина, как незримый дух, обнимает собою и осеняет нашу классику не только XIX, но и XX века. «Пушкин наше все, — сказал Аполлон Григорьев. — В Пушкине на долго, если не навсегда, завершился, обрисовавшись широким очерком, весь наш душевный процесс... Пушкин, везде соблюдавший меру, сам — живая мера и гармония».

*Борис НЕГОРЮХИН*

## АЛЕКСАНДР ПУШКИН И КОСТРОМА

*Надо помянуть —  
парикмахера Эме,  
Ресторатора Дюме,  
Ланского, что  
губернатором  
в Костроме.*

(А.Пушкин и П.Вяземский в письме  
В.Жуковскому 26 марта 1833 г.)

Наш город Кострому и губернию мы можем рассматривать как место жительства и происхождения многих людей, которые не просто были знакомыми великого поэта Пушкина, но и сыграли определенную роль в его жизненной и творческой судьбе. В одном из номеров журнала «Москвитянин» в 1852 году была помещена статья Александра Юрьевича Пушкина «Для биографии Пушкина». В ней, в частности, писалось: «... Сергей Львович (Пушкин, отец поэта. — Б.Н.) нанял в Москве дом у князен Щербатовых близ Немецкой слободы, где в 1799 году родился у них сын Александр. Наш полк был в это время в походе, где я и получил от сестры письмо, что на память мою он назван Александром, а я заочно был его воспреемником».

Итак, имя Александр поэт получил в честь Александра Юрьевича Пушкина. Какое отношение тот имел к новорожденному? В ноябре 1796 года Сергей Львович Пушкин женился на своей внуэтой племяннице, Надежде Осиповне Ганнибал, внучке «арапа Петра Великого». Мать Надежды, Мария Алексеевна, в девичестве носила фамилию Пушкина. Дед поэта по отцовской линии Лев Александрович Пушкин и бабушка поэта Мария Алексеевна, равно как и ее брат Юрий Алексеевич, носили фамилию Пушкины и находились в троюродном родстве. Юрий Алексеевич Пушкин, тамбовский помещик, в 1777 году стал отцом Александра Юрьевича Пушкина, а Мария Алексеевна Ганнибал в 1775 году стала матерью Надежды Осиповны. Таким образом, будущая мать поэта и Александр Юрьевич Пушкин приходились друг другу двоюродными братом и сестрой, и, как свидетельствует Александр Юрьевич, он часто гостили в семье будущего поэта и «рос почти вместе с Надеждой Осиповной, которая, не имея родных братьев, любила меня, как родного».

Таким образом, родившийся в 1799 году младенец приходился Александру Юрьевичу не просто тезкой, но и двоюродным племянником.

Александра Юрьевича Пушкина часто называют костромским двоюродным дядькой поэта, но стал он им только в 1807 году, когда, женившись на дочери костромского помещика Молчанова

Александре и получив в приданое усадьбу Новинки, осел в наших краях, построил два дома в Костроме и стал родоначальником костромской ветви Пушкиных. В Москву теперь он ездил редко; с племянником иногда встречался, но значительно реже, чем раньше. Костромской дядюшка до конца жизни следил за судьбою своего великого родственника, и приезжавшие в Кострому приятели Пушкина непременно интересовались у него, что нового в жизни Александра Сергеевича.

Костромичи прошли через всю жизнь поэта. В лицее его воспитывал и учил истории и географии костромич Иван Шульгин, дядька-слуга был костромич, старый екатерининский сержант Прокофьев. Лицейский товарищ Александр Бакунин — житель села Красное-на-Волге, а его старшая сестра Екатерина Бакунина (Полторацкая) в юности приезжала в лицей и впервые пробудила в юном Пушкине любовь, которую он сохранил на всю жизнь и отразил во многих произведениях. Юный прапорщик Федор Лугинин из Ветлужья был первым в кишиневской ссылке, кому Пушкин поверил свои душевные муки. Поэт Николай Коншин, житель Костромы, был последним, кто говорил с Пушкиным у него дома перед дуэлью.

Последнее письмо, написанное Пушкиным, было адресовано костромской писательнице А.О.Ишимовой. Сватал Александра Сергеевича за Наталью Николаевну Гончарову бывший его враг, с которым дело чуть не дошло до дуэли, а затем приятель — кологривский помещик граф Федор Толстой-Американец. Одну из дуэлей, с графом Соллогубом в 1836 году, сумел предотвратить князь Иван Дмитриевич Козловский из-под Костромы.

Друзьями и собратьями Пушкина по перу были костромские происхождением Павел Катенин, Петр Вяземский, Юрий Бартенев, директор Костромской гимназии и владелец знаменитого альбома, где был и автограф Александра Сергеевича. Губернаторы Костромы А.А.Суворов и С.С.Ланская, военачальник Н.М.Сипягин, герой войны 1812 года, знаменитая актриса М.Д.Львова-Синецкая, поэтесса А. Готовцева — это все знакомые Пушкина, непосредственно связанные с Костромой. Навеки вошел в жизнь Пушкина его ближайший и верный друг Павел Нашокин, родом из села Шишкино под Кострой.

Я не перечислил многих, но Григория Чернецова, художника-костромича, нельзя не вспомнить. Делая наброски к картине «Парад на Марсовом поле», он на одном рисунке надписал «Александр Сергеевич Пушкин, рисованный с натуры 1832 года Апреля 15. Ростом 2 арш. 5 вершк. с половиной».

Благодаря художнику мы знаем точный рост поэта. А благодаря врожденной порядочности нерехтского дворянина Александра Бощняка, несмотря на то, что тот был агентом III отделения, причем тайным агентом, Пушкин не был арестован в Святых Горах, хотя имелся ордер на арест.

Никто из костромичей, знакомых в жизни с Пушкиным, не запятнал себя ничем плохим в отношении к нему, и это приятно нам, нынешним костромичам.

## СЕКУНДАНТ НЕСОСТОЯВШЕЙСЯ ДУЭЛИ

«Проклятый город Кишинев!  
Его бранить язык устанет».

(Пушкин — Вигелю.)

Весной 1822 года в Кишинев прибыл прапорщик Федор Николаевич Лугинин, выпускник московской школы колонновожатых, командированный в Бессарабию для проведения военно-топографических съемок. 17 мая в среду он записал в своем дневнике:

«Город велик, но выстроен нехорошо. Улицы тесны, переулков тьма, домов каменных очень мало, деревянных также, все мазанки по причине недостатку леса. Дома очень малы и тесны. Кишинев расположен в долине по реке Бык.

Сегодня я был в саду с Метлеркампфом и познакомился там с Пушкиным, который написал оду...»

«21 мая, воскресенье... Сегодня приехали в Кишинев двое наших, Вельтман и Горчаков, с которыми я познакомился. Весь день был я скучен».

Александр Фомич Вельтман попал в Бессарабию в 1818 году также молодым офицером после окончания школы колонновожатых для проведения военно-топографических съемок, при многочисленных командировках по краю изучал жизнь и быт местных жителей, слыл местным поэтом. Владимир Петрович Горчаков, состоявший с конца 1820 года девизионным квартирмейстером при штабе 16-й дивизии в Кишиневе, в 1822 году в мае также присоединился к группе офицеров, занимавшейся военно-межевыми работами, к ним же принадлежал капитан барон Метлеркампф, молодой офицер и выпускник той же школы колонновожатых.

Только Пушкин, служивший чиновником при наместнике края генерале Иване Инзове, попал в эти края не по своей воле, высланный по приказу Александра I за вольнолюбивые стихи и настроения, которые он не стеснялся высказывать вслух при ком угодно. 21 сентября 1820 года поэт явился в Кишинев и предстал перед очи генерала И.Н.Инзова.

Старый служака Иван Никитич дал поэту полную свободу и не особенно обременял служебными обязанностями. В Кишиневе создалась группа молодежи, куда вошли офицеры Генерального штаба из числа колонновожатых, бессарабские семейства Стамати, Ралли, Костаки и семнадцатилетний прапорщик Федор Лугинин, автор дневника, который мы цитировали.

О существовании дневника Лугинина было известно пушкинистам, но только в 1934 году он частично был опубликован Ю.Оксманом, зам.директора Пушкинского Дома (ИРЛИ), в томах «Литературного наследства». Публикация относилась только к той части дневника, где Лугинин описывает свою кишиневскую жизнь с мая 1822 по 19 июня этого же года, когда он уехал на пограничные съемки и с Пушкиным больше не встречался.

Дневниковые записи Лугинина касаются одного из трудных и малоизвестных периодов жизни молодого Пушкина и представляют несомненную ценность, но имя самого автора дневника встречается в воспоминаниях о Пушкине лишь однажды, в дополнениях подпол-

ковника Ивана Петровича Липранди к труду П.И.Бартенева «Пушкин в южной России». Липранди, сосланный в Кишинев за свои дуэльные похождения, был с Пушкиным в приятельских отношениях и по поводу его кишиневского окружения заметил следующее: «Независимо от исчисленных офицеров Генерального штаба (Горчаков, Вельтман, братья Полторацкие, Кек), — писал И. П. Липранди, — на съемке, под общим начальством полковника Корниловича, во время Пушкина, бывали два фон-дер-Ховена, Лугинин, Роговский, Фонтон де Верайон, Гасфер, барон Ливен, два Зубовых... Все офицеры Генерального штаба того времени составляли как бы одно общество, конечно, с подразделениями, иногда довольно резкими. С некоторыми Пушкин был неразлучен на танцевальных вечерах, а с другими любил покутить и поиграть в карты, с иными был просто знаком, встречая их в тех или других местах, но не сближался с ними как с первыми по несочувствию их к тем забавам, которые воодушевляли первых».

Общение ссыльного Пушкина с семнадцатилетним прaporщиком, уже известного поэта с никому не известным выпускником школы колонновожатых, которое длилось всего месяц, благодаря дневнику Федора Лугинина прояснило некоторые бытовые подробности жизни поэта, а факт, что имя автора дневника упоминается в пушкиниане всего один раз, пушкиноведы относят к простой случайности.

Но кто же такой Федор Николаевич Лугинин? Происходит он из рода помещика и промышленника Николая Лугинина, владельца богатого имения с землями и селом Рождественским в Ветлужском уезде Костромской губернии, которые он приобрел в позапрошлом веке у князя Н.В.Репнина. Федор Николаевич благодаря заботам отца получил прекрасное образование в престижной для тех лет военной школе, окончание которой автоматически приписывало молодого офицера к Генеральному штабу. А знакомство юноши с поэтом Пушкиным в Кишиневе во многом определило направление его будущей жизни.

Но вернемся к дневниковым записям Федора Лугинина. Вот запись 22 мая, в понедельник:

«Духов день. Собрался сегодня идти к обедне, но проспал, переписывал поутру письмо к сестре, как Метлеркампф прислал меня звать к Стамати, если я хочу познакомиться с этим домом; будучи очень доволен этим случаем познакомиться хотя с кем-нибудь в городе, где все для меня были посторонние, надел я мундир и пошел с Метлеркампфом. Меня приняли ласково».

«4 июня, воскресенье. Наконец собрался я сходить к обедне и был в здешней Митрополии, где бывает довольно много. Видел там Пушкина, был также и полковник наш, которого сегодня и не узнал я в мундире... Хорошеньких довольно. Служба совершенно наша, но церкви длиною более похожа на дом, ризы не богаты».

11 июня, воскресенье, в Кишиневе. «... У Ралли были Пушкин и Катаржи, капитан лейб-драгунский. Пришел от них, писал журнал и часов в 6 был в саду — где нынче было очень довольно и музыка была. Из знакомых мне были Стамати два и сестра их, все Симфераки, Пушкин и Катаржи».

«12 июня, понедельник... Часу в 12-м пришел из чертежной, поел вишен, которых весной также и черешни ел по полуоку и по оку (око — три фунта. — Б.Н.) — был у Метлеркампфа, куда пришли также и

Стамати двое, а потом и Ралли, когда жар там поспал немного, пошли в сад, где нынче было также довольно; семейство Ралли, Пушкин, Катаржи и я, познакомился поболе с мадам Стамати, которая премилая дама. Из саду отправились все к Стамати, где составился небольшой бал; под фортепьяно танцевали мазурку, екосез, кадриль и вальсы, и было очень весело — потом дрался я с Пушкиным на рапирах и получил от него удар очень сильный в грудь — часу в 11-м распостились и, как все зашли к Симфераки оттуда, то был я, но недолго».

«15 июня, четверг. Вечером был в саду, довольно поздно, застал Катаржи и Пушкина, с обоими познакомились покороче — и опять дрались на эспадронах с Пушкиным, он дерется лучше меня и следственно бьет. Из саду были у Симфераки и тут мы уже хорошо познакомились с Пушкиным. Он выпущен из лицца, имеет большой талант писать. Известные сочинения его *Ode sur la Liberte*, Людмила и Руслан, также Черная шаль; он много писал против правительства и тем сделал о себе много шума, его хотели послать в Сибирь или Соловецкий монастырь, но государь простил его и как он прежде просился еще в Южную Россию, то и послали его в Кишинев с тем, чтобы никуда не выезжал. В первый раз приехал он сюда с обритой головой и успел уже ударить в рожу одного молдавана. Носились слухи, что его высекли в Тайной канцелярии, но это вздор. В Петербурге имел он за это дуэль. Также в Москву этой зимой хочет он ехать, чтобы иметь дуэль с одним графом Толстым, Американцем, который главный распускает эти слухи. Как у него никого нет приятелей в Москве, то я предложил быть его секундантом, если этой зимой буду в Москве, чему он очень обрадовался».

История столкновения Пушкина с Федором Толстым с такими подробностями стала известна пушкинистам из дневника Лугинина. Отсутствие подробностей этой истории в воспоминаниях и других документах той поры дает нам возможность утверждать, что только с юным прапорщиком поделился Пушкин этой глубоко личной историей. Мы знаем, что дуэль не состоялась, ни Пушкин, ни Лугинин в Москве в тот год в силу различных обстоятельств не появились, а затем время сняло напряженность конфликта, и Федор Иванович Толстой позже даже сватал Пушкину Наталью Николаевну Гончарову.

Обращает внимание еще одна особенность дневника Лугинина. Он ведет дневник для себя и не рассчитывает кому-либо показывать, тем не менее осторегается чужих глаз и понимает сложность ситуации, в которую попал Пушкин. Федор Лугинин в день знакомства с поэтом пишет: «...который написал оду...», а дальше ставит многоточие. Он знает, что речь идет об оде «Вольность», но не называет ее, так же, как в записи от 15 июня называет оду по-французски «*Ode sur la Liberte*». Думается, что Лугинин имел основание кого-то опасаться, когда вел дневник.

Для нас во всей этой истории представляет интерес не только выходец из села Рождественское Ветлужского уезда Костромской губернии Федор Николаевич Лугинин, но и Федор Толстой-Американец, на дуэли с которым Лугинин вызвался быть секундантом Пушкина. Брял ли Лугинин подозревал, что этот Толстой — его земляк.

Федор Иванович Толстой, потомок одного из сподвижников Петра I и двоюродный дядя великого русского писателя Льва Николаевича Толстого, родился в 1782 году в селе Никола-Граф Кологривского уезда Костромской губернии. Человек буйного нрава и невероятной

храбрости, он прожил удивительную жизнь, еще никем по существу не описанную. «Необыкновенный, преступный и привлекательный человек», — сказал о нем его великий двоюродный племянник, а сколько-нибудь подробную биографию его попытался написать Сергей Львович Толстой.

Литературные герои в произведениях Пушкина, Грибоедова, Льва Толстого многие черты свои получили от реально существующего лица, Федора Толстого-Американца, нашего земляка.

А сколько еще костромичей были знакомыми великого поэта Пушкина и сыграли определенную роль в его жизни и судьбе? Эти факты биографии поэта изучались А.Григоровым, В.Бочковым, изучаются В.Пашиным, шарынскими краеведами. Каждый заинтересованный находит до сих пор что-то новое о связях Пушкина с костромичами.

**Примечание:** Федор Николаевич Лугинин (1805-1884) прослужил в армии до тридцатых годов, участник войны с Турцией (1825-1829), выйдя в отставку, женился и поселился в Москве, постоянно бывал в селе Рождественском, где сделал много для крестьян имения, основал больницу, школу, аптеку для крестьян... Имел три сына и дочь. Один из сыновей, Владимир Федорович, стал известным русским ученым-термохимиком.

## B.H.ФУРНЭ

### ПАМЯТНИК А.С.ПУШКИНУ В ШАРЬЕ

Вспоминается один из июньских дней 1987 года. Под звуки музыки Чайковского спадает покрывало, и перед собравшимися возле профессионально-технического училища предстает памятник Александру Сергеевичу Пушкину. Почетное право открыть памятник предоставлено правноку великого поэта Григорию Григорьевичу Пушкину, заместителю начальника областного управления профтехобразования Е.Е.Джумок и председателю Пушкинского клуба училища Наташе Боровской.

А начиналось все в 1984 году, когда я пришла на работу в училище преподавателем литературы и русского языка. В то время педагогический коллектив возглавлял энергичный и инициативный А.С.Екин. Он-то и подсказал, что при определенных усилиях памятник А.С.Пушкину можно переправить из областного центра в Шарью.

Творчество А.С.Пушкина я полюбила со школьной скамьи благодаря моим удивительным наставникам, преподавателям литературы В.С.Ерохиной и Е.И.Валовой. С годами эта любовь все углублялась. В родной 21-й школе у меня был прекрасный кабинет литературы. Мне захотелось создать такой кабинет и в училище, хотелось увлечь мальчишек и девчонок, пригласить их заниматься в Пушкинском клубе. Руководство училища меня поддержало. Вместе с художником В.В.Травиным мы долго вынашивали эскизы оформления. В октябре 1985 года в прекрасно оформленном классе был торжественно открыт Пушкинский клуб.



Однако мысль о памятнике не давала покоя... И я поехала в Кострому, чтобы встретиться с семьей Вениамина Ивановича и Маргариты Константиновны Козыревых. Именно во дворе их дома (ул. Симановского, 9) стоял памятник великому поэту России. Мне эти гостеприимные и добрые люди очень понравились. Интересно и забавно рассказывал Вениамин Иванович, печник по профессии, о своей находке:

— Иду с работы, гляжу: бюст Пушкина на земле валяется. Непорядок это, думаю. (Дело в том, что гипсовые бюсты писателей, некогда украшавшие городской парк, со временем обветшали, и их решили заменить, сняли с постаментов, а вот сразу увезти не смогли. — В.Ф.) Уговорил знакомого шоferа, привезли мы дорогого Александра Сергеевича, я его отреставрировал, постамент сам из кирпича сложил и побелил аккуратно.

Дядя Веня Козырев, как он представился, в свое время, работая печником, пол-Костромы обогрел. Ему было уже лет под 80, и он тяжело болел. Я начала осторожно высматривать: не может ли он пере-

дать нам бюст А.С.Пушкина? Затем поговорила с другими жильцами дома, несколько раз ходила в ЖЭК, обратилась в отдел культуры.

Александр Сергеевич Пушкин никогда не бывал на костромской земле, однако здесь жили его друзья, с которыми он переписывался. Даже свое имя он получил в честь двоюродного дяди — Александра Юрьевича Пушкина, проживавшего некогда на улице Овражной и в деревне Новинки бывшей Костромской губернии.

На торжественном открытии памятника А.С.Пушкину в Шарье в 1987 году нам вручили дарственную от жильцов дома №9 по улице Симановского. Мы свято храним этот бюст, ухаживаем за ним. Н.Н.Петров, работавший в то время заместителем директора училища, отреставрировал памятник, а две славные женщины, мастера производственного обучения В.Д.Груздева и З.А.Кузнецова, всегда поддерживают его в надлежащем порядке.

На счету нашего Пушкинского клуба немало добрых дел: и традиционные конкурсы чтецов, и посвящение в пушкинисты 19 октября каждого года, и интереснейшие путешествия по пушкинским местам (с трудовыми десантами в заповедных рощах Михайловского), и незабываемые встречи с Семеном Степановичем Гейченко, долгие годы работавшим директором Пушкинского заповедника на Псковщине, и тризна по Пушкину в феврале, и летние пушкинские праздники.

Мы с пушкинистами школы №21 и ВПУ-4 собрали интересный материал о связях великого поэта с нашим краем. В этой кропотливой работе нам помогли и публикации на страницах «Северной правды» Б.Н.Негорюхина, и переписка с пушкинскими музеями страны, и книги из серии литературных мемуаров. Мы узнали о том, что наш рождественский помещик Ф.Н.Лугинин был лично знаком с А.С.Пушкиным и даже согласился быть его секундантом в дуэли с Ф.Толстым, к счастью, несостоявшейся.

В нашем клубе есть календарь «У нас в гостях». Я горжусь, что в гостях у моих пушкинистов за эти годы побывали такие интересные люди, как правнук великого поэта — Г.Г.Пушкин, писатели-земляки Л.Словин, В.Травкин, М.Базанков, поэт А.Беляев, краевед Б.Негорюхин, журналист В.Фатеев, ответственный секретарь Шарьинской районной организации книголюбов Н.И.Кротова, актер Костромского драматического театра А.А.Жадан. Все они остались добрые пожелания ребятам.

Я искренне признательна двум замечательным женщинам — Е.Н.Царицыной и Т.В.Едренкиной, которые продолжают начатое мной дело в школе №21 и ВПУ-4. Пушкинскому клубу в школе №21 исполнилось 25 лет!

Сейчас мы с юными пушкинистами обдумываем план подготовки к XIII Пушкинскому празднику на шарьинской земле. Пользуясь случаем, хочу поздравить с юбилейным пушкинским годом преподавателей литературы профтехучилищ области (некоторые из них бывали в моем кабинете) и пожелать им здоровья, счастья, выживания в нынешнее трудное время, оптимизма, творчества и благодарных учеников.

г.Шарья.

## «Я СЧАСТЛИВО РОС В КОСТРОМЕ...»

«Человеком года» назван наш выдающийся земляк Виктор Розов. Этого высокого звания патриарх отечественной драматургии удостоился от Российского биографического института за подвижническую деятельность по развитию русской культуры.

Бродит сквозь сумраки синие  
Осень в дырявом плаще.  
Я при огне керосиновом  
Смысл постигаю вещей.

Пламя холодное желтое  
Листом осенним дрожит.  
Что-то большое, тяжелое  
В маленьком сердце лежит.

— так писал Виктор Розов в Костроме в 1943 году после выхода из госпиталя. А первое знакомство с нашим городом случилось в 1923-м, когда мальчику было десять лет. Позже, «путешествуя в разные стороны» своей жизненной и творческой судьбы, Виктор Сергеевич отметит: «Я счастливо рос в компании своих костромских друзей. У нас была Волга, а значит — лодки, купанье, рыбалка, походы; кроме того, игры в волейбол и футбол и бесконечные задушевные беседы в уютном домике Воскресенских на улице Кооперации, номер четыре».

А потом был костромской театр юного зрителя, на сцене которого молодой артист Виктор Розов играл Скотинина, Скалена, многих других персонажей. Здесь писались первые драматические опусы. И первая рецензия на них появилась здесь же. Рецензия, по словам самого автора, «ужасная». Потом их будет предостаточно, рецензий-отзывов-исследований: и ужасных, и сдержанных, и восторженных...

Но то была первая в жизни. В «Северной правде» от 28 марта 1943 года. В ней, в частности, говорилось: «Творческий коллектив части артистов, проживающих в нашем городе, организовался в эстрадную группу. Недавно силами группы был устроен концерт. Вечер не совсем удачно начался показом скетча тов. Розова «Сцена в госбанке». Пользуясь неблагодарным материалом, артисты не могли не только заинтересовать зрителей, но и найти верный тон для передачи «слушая». Артистка Агеева, игравшая колхозницу, вообще чувствовала себя в неудобном положении, ибо автор оставил для нее односложные замечания. Скетч вышел очень бледный и неинтересный, изоби-



В.С.Розов с супругой

критики, что называется, из рук вон. «Вместе с тем, — читаем в рецензии, — необходимо предъявить автору серьезный упрек в том, что в основу своей пьесы положил случай исключительно нетипичный... Стремясь сделать свое произведение занимательным... совершил вторую ошибку. Сделав свою героиню слепой, автор начал всеми имеющимися в его распоряжении средствами вызывать у зрителя чувство жалости к Люсе Шаровой, страдания... Эти недостатки пьесы в значительной степени снижают ее художественную ценность и идеиную значимость».

Тем не менее спектакль «Ее друзья» пришелся юным костромичам по душе, и он несколько лет не сходил с афиши. Еще больший успех выпал на долю героев пьесы «В добрый час». «Давно в зале не было такой живой и единодушной реакции на реплики и поступки сценических героев, таких бурных, идущих от самого сердца, аплодисментов, — писала местная газета в апреле 1956 года. — Было особенно приятно еще и оттого, что автором пьесы является наш земляк — Виктор Розов, который здесь, в костромском театре, впервые много лет назад проникся глубокой любовью к театральному искусству».

Задаваясь вопросом, в чем сила пьесы Виктора Розова, чем она покорила зрителей, рецензент ответил кратко, но знаменательно: прежде всего своей правдой, ярким образным языком.

лющий такими «остроумными» замечаниями, как, например: «молоко у коровы в груди скисает» и др.»

Пройдет восемь лет, и костромичи встретятся уже с драматургом Розовым, с героями пьесы «Ее друзья», поставленной театром Островского. И вновь местные критики подскажут земляку, каким путем следует идти в драматургию. Похвальным словом отзовутся о том, что в пьесе привлекает благородная мысль о товарищеской взаимовыручке советских людей, проходящая через все произведение. Симпатии вызовут и «тепло написанные образы молодежи», а также «мягкий юмор, с которым автор показывает некоторых из своих героев».

Все остальное, по мнению

Костромские зрители всегда пристрастно и заинтересованно следили за появлением новых пьес земляка. И когда после постановки «Вечно живых» в мае 1956 года в появлении имени Розова на афише наметилась пауза, зритель замер в нетерпеливом ожидании. Только через три года вздохнул облегченно, о чём «Северная правда» от 21 апреля 1959 года оповещала общественность. «Наконец-то театр имени Островского обратился к популярной пьесе Виктора Розова «В поисках радости». Мы говорим так потому, что последние год-два эта пьеса обошла почти все самодеятельные коллективы Костромы, и только теперь, после долгой и, право, ничем не оправданной нерешительности за сценическое воплощение одной из лучших советских пьес взялся облдрамтеатр.

А что розовская пьеса «В поисках радости» пользуется большой популярностью — бесспорно. Об этом свидетельствует успех спектакля в нашем театре, об этом же говорит и статистика цифр, приведенных в одном из последних номеров журнала «Театр» в сезоне 1957-58 годов. Как по количеству театров (98), поставивших эту пьесу, так и сыгранных спектаклей (4662)... «В поисках радости» стоит на первом месте».

После того театр поставил «Неравный бой», «В день свадьбы», «Перед ужином», «Затейника». Последняя премьера состоялась в январе 1966 года. С тех пор прошло более 30 лет, но театр ни разу не обращался к Розову. Мимо него и зрителя прошли «Традиционный сбор», «Четыре капли», «Брат Алеша», «Кабанчик», «Гнездо глухаря»... Пьесы, в которых идет серьезная, невыдуманная борьба, от которой зависит течение нашей жизни, ее исход.

Впрочем, и обращение самого театра к пьесам Розова всегда свидетельствовало о творческих устремлениях коллектива, понимании им собственной значимости в духовной и культурной жизни города и области. О чём справедливо писал критик Игорь Дедков в феврале 1963 года после премьеры спектакля «Перед ужином». «Когда театр перестает видеть в зрителе прежде всего гражданина, — говорилось в той рецензии, — а видит только человека, пришедшего развлечься, то он сам перестает быть гражданским театром, отказывается от попытки быть властителем дум... В последних работах нашего театра чувствуется явное стремление быть настоящим современником, откликаться на волнения и конфликты не просто дня, а эпохи... Виктор Розов говорит с нами «о новых временах», а новые времена для всех честных людей сегодня значат одно: борьбу за чистоту наших чувств, за честность перед собой и людьми...»

В августе 1998 года именитому драматургу, патриарху театра, почетному гражданину города Костромы Виктору Сергеевичу Розову исполнилось 85. По этому случаю в первопрестольной состоялись соответствующие торжества. Добрый, тихий словом вспомнили о земляке и костромичи, живя светлой надеждой, что в скором времени непременно встретятся с ним в городе, где он так счастливо рос в компании своих костромских друзей и постигал «смысл вещей».

*Юрий ОСЕТРОВ*



## **ФАРФОРОВАЯ КРУЖКА**

На самом видном месте стоит она в сервантे. И даже бросив случайный взгляд, сразу залюбуешься ею. Да и не кружка это, а белая кружечка с голубой каемочкой по верхнему ободку, с прекрасным портретом известного всему

миру человека, датой его гибели. Этот миниатюрный фарфоровый сосуд уже полвека бережно хранится в нашем роду. Он — символ преданности книге, любви к литературе.

...Шел 1937 год. Страна, вся мировая общественность широко отмечала столетие со дня трагической гибели Александра Сергеевича Пушкина.

... В тот день пошла мама по своим библиотечным делам в город (мы жили на окраине и так называли центр Костромы), в библиотеку, чтобы отобрать очередную партию книг. Шла в Красных торговых рядах мимо магазина и вдруг увидела в витрине миниатюрную кружечку, да не простую, а с портретом Александра Сергеевича Пушкина.

— Кружка с портретом Пушкина продаётся? — обратилась Мария Александровна к продавцу, не веря, что может выпасть ей такая удача.

Когда вечером собралась вся семья на ужин, сделала мама нам сюрприз. Она рассказала о своем удачном приобретении. Кружка была великолепна. На белом фоне красовался Александр Сергеевич. Слева от портрета написан год гибели поэта — 1837. С тех пор прошло столетие. Справа от портрета написано — 1937.

\* \* \*

— Посмотри, посмотри, — волновалась жена.

Что же выясняется? Листая страницы шеститомника, жена сделала интересную находку: обнаружила имя художника, создавшего портрет, изображенный на фарфоровой кружке. Между 128 и 129 страницами шестого тома напечатана репродукция гравюры Т. Райта. На кружке — копия этой гравюры! Прекрасно! Мы были нескованно рады, что автор перестал быть анонимным. Скорее всего родители, брат, сестра знали имя художника, но для меня оно оставалось загадкой более полувека.

\* \* \*

Приближается 200-летие со дня рождения великого поэта. Я передал кружку Костромскому литературному музею: пусть увидят ее посетители. Сотрудники музея с благодарностью приняли этот дар.



*К. ПАВЛОВ*

## **КНИГА ОТВЕТОВ**

С литературным творчеством Владимира Григорьевича Корнилова я познакомился сравнительно недавно, когда однажды залпом «проглотил» его роман «Семигорье». За ним последовали «Годины». Расставаться с главными героями дилогии было до трех лет душевного жаль. Алеша Полянин, пытающийся осуществить судьбу по правде, его верная порывистая подруга детства Зойка, расчетливый, ищущий выгоду даже в мелочах, но все равно обаятельный Юрочка Кобликов, злонамеренный Авров истинно русская душа Васенка, мудрый политик-государственник Арсений Степанов и его сын, хирург, ученый, Ким, а главное, сложная, вся в противоречиях эпоха заставляли задумываться, поистине мучиться ответами на вечные вопросы: зачем ты живешь? во имя и ради чего? как распорядиться жизнью достойно? что есть счастье? что есть Зло? и как противостоять ему?

В двух романах писатель поставил десятки вопросов и на мерено, до нравственного созревания главного героя Алексея Полянина, оставил их открытыми.

Многочисленным поклонникам его творчества пришлось ждать еще 15 лет, чтобы услышать ответы на вопросы, заданные дилогией.

В те минуты, когда вы читаете эти строки, в книжном магазине «МУШ» дожидается читателя скромная книга в твердом переплете. Таинственное свечение букв на строгом одноцветном фоне привлекает внимание. Заглавие кратко и запоминаемо: «Идеалист». Это третья книга романного цикла В.Г. Корнилова. Вновь те же герои, те же мучительные, но неизбежные вопросы встают перед пожизненным правоисследителем Алексеем Ивановичем Поляниным, без преувеличения Alter ego самого писателя.

На протяжении полувека, от Победы в мае 45-го до смутных перестроек времена, предельно честно, пронзительно, на пределе откровенности отвечает автор на вечные вопросы бытия. Вопреки уже сложившейся в отечественной классической литературе традиции, которая предполагает не столько ответы, сколько вопросы (вспомним хрестоматийные: «Кто виноват?», «Что делать?»),

писатель в искреннем беспокойстве за жизненные ориентиры своих современников предлагает в создаваемом им художественном мире свой опыт осуществления судьбы.

По своей жанровой разновидности «Идеалист» относится к семейно-философскому роману и удивительно многопланов. Тем не менее в книге отсутствуют жесткие схемы, абстрактные рассуждения. Роман подкупает буквально с первых страниц, где читатель вместе с озадаченным писателем Поляниным сталкивается с Кентавром, мифическим существом, в образе которого соединяется животное и человеческое начало. Весь роман построен на противоборстве чувственного, природного и разумного, человеческого.

Автор остается верен своему жизненному устремлению — утверждать человеческое в человеке. Мерой человечности он измеряет даже Зло. Главный герой романа, Алексей Иванович, останавливает себя от уничтожения Аврова, сумевшего пробиться на самые вершины государственной власти, хотя и понимает, что в Аврове сосредоточилось чуть ли не все зло мира. Добро и Зло находятся в диалектическом единстве, считает автор, и Справедливость способна восторжествовать лишь умножением Добра.

В художественный мир романа вплетается концепция академика В.И. Вернадского о ноосфере, творимой разумной деятельностью человечества и постепенно наслаждающейся на биосферу Земли.

Немало страниц романа отдано семейным взаимоотношениям Алексея Ивановича и Зойки, Зойченьки — как любовно он называет свою жену. Автор убежден, что семейное счастье достижимо, когда чувственная близость возвышается до близости духовной, — только в этом единстве рождается жизненное согласие Мужчины и Женщины, именуемое счастьем.

Но главное в романе — это неотступное устремление к очеловечиванию человека. И в финале Кентавр, пораженный мощью человеческого начала Полянина, его возвышением над своей природной сущностью, сбрасывает с себя конское обличье. Из Кентавра выходит человек...

Владимир Корнилов, сотворяя свой художественный мир, показал, что в жизни возможно торжество Разума, Добра и Справедливости. И утверждаются эти высшие ценности жизни во многом самоотречеными усилиями таких идеалистов, как Алексей Иванович Полябин. В устремлении к возвышению человеческого в человеке не может быть компромиссов ни с ложью, ни с двуличием, ни с суевным эгоистическим своекорыстием.

В душе читателя-современника роман пробуждает надежду на торжество Справедливости и Добра.

Остается поблагодарить администрацию Костромской области, областную Думу, которые отозвались на ходатайства писательской организации об издании этой книги.

**Павел КОРНИЛОВ**

## **ВСЕ ЧТО УГОДНО, КРОМЕ ХОЛОДА...**

Любопытное ощущение появляется, когда, закрыв последнюю страницу, начинаешь размышлять о только что изданной книге Михаила Базанкова «Не ищи жар-птицу за морем». Прежде всего, привлекает страсть автора, в полном соответствии с названием сообщающего о своих поездках в Америку.

Получилась по-настоящему «жаркая», даже в определенном смысле «огнеопасная» книга. Трехсотстраничный сборник очерков представляет собой не только картину сопоставлений Америки и России. Это еще и авторская исповедь, местами резкая, точно расставляющая акценты в авторской судьбе и в истории последних лет Костромской писательской организации. Пожалуй, впервые в местной литературе появились страницы, на которых автор, не убоявшись разноречивых толкований и упреков, без ложной скромности размышляет о своем месте в провинциальном литературном процессе, пытается осмысливать и сам этот процесс, путешествуя в пространстве и времени.

Сопоставление русских и американцев, интересное само по себе, сопровождается углубленным анализом многочисленных линий сближения двух народов и, увы, отдельных точек отталкивания. Писатель ненавязчиво противопоставляет свои американские впечатления ярким картинам костромской глубинки. Он умело смоделировал ситуацию, когда российскую действительность «испытывает на прочность» его американский гость, бизнесмен Джон Джордан с супругой Маргарет. Короткая встреча в дальнем районе. Многогруная жизнь хозяйственного крестьянина Дудина из солигаличской деревни Одноушево просматривается как бы в системе двойного зрения: глазами богатого заокеанского предпринимателя и через поощрительный, где-то восторженный прищур (зной наших!) костромского прозаика. Россия и Америка под первом писателя то стремительно сближаются, и вот уже не видно отличий, то внезапно расходятся на разные полюса, и кажется, что мир действительно черно-белый, и нет надежды на окончательное понимание друг друга. М.Базанков не ставит точку в осмыслиении черт общности и различий двух великих стран. «Американские» страницы книги активно диалогичны. Постоянно сопоставляя, даже сталкивая «два мира, два образа жизни», автор отчетливо дает понять, что столь существенный разговор вряд ли возможен без вдумчивых, непредубежденных и уважительных размышлений о всех сторонах чужого бытия, которые просто невозможно представить в состоянии зависти, забвения собственных ценностей.

Достойным самого пристального внимания представляется серьезное обращение М.Базанкова к творчеству звезд американской литературы середины 20 века У.Фолкнера и Д.Стейнбека, а также Чарльза Итона, нашего современника, известного поэта и новеллиста. Костромской писатель пытается разобраться в первопричинах своего пристрастия к книгам этих, совсем «нерусских», писателей. Погружаясь в художественный мир корифеев американской литературы, которые работали на принципиально ином материале, чем российские авторы,

костромич находит там многочисленные отзвуки и точки соприкосновения со своими мыслями, чертами характера через героев собственных книг. Причем черты сходства лежат не столько в чисто литературной плоскости, сколько произрастают из единства «почвеннических взглядов», в особенности это касается Фолкнера.

Пожизненная зависимость от земли, на которой родился, и не важно, в какой стороне Земного шара она находится, делает писателей членами одной большой земной партии в литературе. Оказывается, у нобелевского лауреата из штата Миссисипи и русского писателя, крестьянского сына, гораздо больше общего, чем принципиальных разногласий: «Природа и труд формировали мировоззрение». Авторские размышления о Фолкнере, отнюдь не отягощенные сопоставлением своих творческих устремлений и выдающегося американца, несут в себе немалый заряд радостного, почти наивного удивления: оказывается, если люди живут в сходных условиях земными трудами и естественными заботами, то у них и мысли становятся похожими, и взгляд на мироздание приобретает черты поразительной общности. Если посмотреть на название книги именно с такой стороны, то становится понятным ее глубокий, гораздо глубже и тоньше, чем думаешь сначала, большой смысл. Действительно, не стоит искать счастья вдалеке от родных мест. Оно не жар-птица, парящая в поднебесье, а хрупкое, нежное, многолетнее растение, приносящее плоды лишь тому садоводу, кто с молоком матери впитал в себя запахи, краски и тайны родной земли. Красивы и вкусны заморские плоды, однако подлинное, настоящее, свое, в ком и в чем только и следует искать красоту, вкус и ту самую неуловимую птицу-счастье, — оно всегда с нами, рядом, там, где родились, где жили предки, где предстоит жить детям.

Потому мысли писателя, даже за океаном, были о Костроме. «Жар-птица» представляет любопытный документ, где сведены воедино обстоятельно прописанные реалии провинциальной жизни последнего десятилетия и дана их нетривиальная оценка. Но все-таки не документальное начало определяет тональность книги, а высокая степень художественности в интерпретациях костромской действительности.

Интересующийся подробностями литературного бытия нашего края получит представление о таком понятии, как костромской профессиональный писатель; любитель сюжетной беллетристики найдет немало любопытного в занимательных описаниях передвижений автора по американской глубинке; искушенный ценитель нелегковесного художественного слова по достоинству должен оценить усилия автора, сумевшего превратить подчеркнуто субъективное повествование в лирико-философскую исповедь. Право на нее писатель по справедливости заработал количеством и качеством написанного.

В сборнике есть ведущая мысль, которую автор и не пытается скрывать, говорит ли о себе или о творчестве коллег-литераторов. Его удручет невостребованность непроанализированных на высоком профессиональном уровне книг писателей-костромичей, а значит, непонятость, неоцененность реальных творческих достижений наших местных авторов: «... прошу земляков: за рыночной суетой, в борьбе за экономическое оздоровление не забывайте о душе, о нравственности и культуре, не забывайте, что рядом с вами живут, работают, сжигают себя в раздумьях ради других и Отечества люди, владеющие

божественным глаголом. Не видеть, не знать их, не помогать им, давно знающим цену Слова,— обкрадывать себя, свою землю, свою Родину».

М.Базанков убежден, что каждый писатель достоин не снисходительно-деляческого прочтения, а безусловного понимания, объективной оценки и, пусть меня простят за громкие слова, обязательного творческого долгожития. За каждым очерком второй части книги «На что мы расходуем жизнь. Мозаика коллективного портрета», которая содержит творческие портреты художников и писателей-земляков прошлого и настоящего (Любови и Алексея Белыхов, Валерия Комиссарова, Павла Катенина, Ивана Касаткина, Сергея Маркова, Сергея Потехина и других), читается мысль: не пропустить самого ценного, вечного, той божественной сути, что причудливо-индивидуально проявляется в каждой творческой личности. Писатель фокусирует внимание на основном, с его точки зрения, что делает, к примеру, Катенина Катениным, а Шапошникова и Гуссаковскую, соответственно, Шапошниковым и Гуссаковской.

Своей «Жар-птицей» М.Базанков вступил в острую полемику с равнодушием невежества. Как заметили еще американцы, их мнение цитируется в книге: «... в Базанкове есть все что угодно, кроме холода». На первый взгляд кажется, что он отстаивает свои интересы и интересы возглавляемого им литературного цеха, но за темпераментным разговором о современной литературе кроется боль за судьбу всей отечественной культуры, а значит — за судьбу страны.

## ВЫСОКОЕ НАПРЯЖЕНИЕ СУДЬБЫ

Книга писателя Михаила Базанкова «Свет и цвет судьбы (Истории, характер, личность)», изданная на самом исходе 1997 года, оказалась беспрецедентной для Костромы: впервые в региональной литературе появилось документально-биографическое повествование, в котором жизнь современника-костромича представлена в семейном, бытовом, профессиональном интерьере.

Повременим, однако, с обозначением анкетных данных главного персонажа. Прежде обратим внимание на те особенности книги чисто литературного свойства, что позволили ее автору нестандартно показать сложнейший механизм становления личности, встречу человека со своим призванием.

Стостраничный текст, проиллюстрированный десятками фотографий, содержит много документального материала: производственные характеристики, рекомендации, выдержки из газетных передовиц, личных писем и даже выписки из истории болезни главного героя. Писатель не скрывает, что в работе над рукописью пользовался dictaphоном, записывал воспоминания собеседника, его оценки современной ситуации в отрасли, вообще в экономике, политике и мире — в разнообразии жизни. Он деликатно распорядился как «голосом» героя, так и его доверием: допущенный в святая святых семьи — домашний архив, не переступая незримой грани дозволенного, «куда не должно вкрадываться, проникать завистливое беспокойство и раздражение», он тем не менее цепко использовал семейные реликвии.

В штрихах, черточках, отдельных, казалось бы, незначительных фактах, например, в подписи на обороте старой пожелтевшей фотографии, он чувствует дыхание большой Истории и усматривает «вечные здравые Законы», по которым строится жизнь. Немногословный материнский наказ 1931 года — «Живи и вспоминай», адресованный дяде героя, родному брату отца, сохранила старая семейная реликвия. Жизнь героя книги можно и должно воспринимать как претворение завещанного почти семь десятилетий назад. Даже писатель, которого не удивить красивыми словами, замирает перед мощью семейной памяти, сконцентрированной всего в трех словах. Именно ею питается стойкость рода, незатухающей памятью строится человеческий характер, а значит — и судьба.

Жизненный путь персонажа и его большой семьи — четырех братьев воспитала крестьянка из деревни с веселым названием Бакшайка — проходит вместе с жизнью страны. Ведь отголоски большой политики, центральных страсти эпохи сказывались и на костромской глубинке, где рос главный герой. Он смотрел на старших, поглядывал на братьев. Те показали себя с лучших сторон. Один стал видным ученым, сотрудником конструкторского бюро С.П.Королева, другой — полковником контрразведки, третий обнаружил в себе способности художника. Но душе ближе всего оказался пример отца, начинавшего свой рабочий путь монтером Шунгенской электростанции, одной из первых в Костромской области. Глядя на него, решился наш герой связать свою судьбу с энергетикой. С тех уже давних пятидесятых годов именно энергетика стала «основной темой» главного героя книги «Свет и цвет судьбы» — генерального директора акционерного общества энергетики и электрификации «Костромаэнерго» Юрия Павловича Назарова.

Вторая половина книги напоминает подробную хронику напряженных военных действий: столь драматичными при ближайшем рассмотрении оказываются судьбы костромских энергетиков и их руководителя. Писатель глубоко погружается в особый мир этой профессии, его текст по насыщенности терминологией, анализом ситуации в отрасли, хронологическому охвату, экскурсам в прошлое и даже будущее российской энергетики напоминает специализированный труд. Книга вполне достойно повествует историю Костромского края. М.Базанков не избегает чисто производственных вопросов. Наоборот, он смело вторгается в высокопрофессиональную среду и довольно успешно в ней ориентируется. Своего героя он не столько изображает в контексте профессии, сколько, и это особо чувствуется по мере чтения книги, саму профессию делает главным героем.

Герой повествования абсолютно неотделим от дела жизни. Рассказ о его судьбе стал рассказом о судьбе энергетики второй половины заканчивающегося 20-го столетия, о судьбах четырех тысяч работников энергосистемы Костромской области. Наряду с таинством рождения и смерти самым непостижаемым и великим выступает в жизни таинство становления... когда из беззащитного, пугливого детеныша вырастает Личность. В самом начале книги автор заметил: «...ничто в точности воспроизвести, объяснить, рассказать нельзя...» В особенности невозможно вычленить и уложить в прокрустово ложе го́лой схемы развитие характера, который, в конце концов, обрачивается счастьем существования. Юрий Павлович Назаров имеет недостатки личностного свойства, но он — счастливый человек с

трудовой биографией. Таким его видит писатель, таким, может быть, с некоторыми оговорками, ощущает себя сам генеральный директор АО «Костромаэнерго».

Вот мы и подошли к главной проблеме этой необычной биографической книги. Корневой русский человек, «один из лучших директоров в России», выходец из самой гуши народной, прошедший все ступени профессиональной карьеры, испытавший за шесть десятков непросто прожитых лет много горестного, в том числе болезни и связанные с ними многомесячные страдания... Юрий Назаров, наш современник, находящийся «в строю», руководитель одного из крупнейших в области предприятий, удостоился не просто похвалы. О нем при жизни, в наше время, написана книга. Да еще в какое время! Когда за окном безработица, борьба за элементарное физическое выживание! Замордованный неурядицами постперестроенной эпохи массовый читатель, кому и адресовано повествование М.Базанкова, рискует впасть в грех зависти и раздражения: почему про этого удачника-счастливчика из руководящего кресла написана книга? А другие разве не работают, не страдают?

Писатель знал, что такие соблазны неизбежно возникнут, и как бы заранее на них прореагировал. Когда повествование подошло к апогею, автор в подходящий момент подробно объясняет причину своего внимания к персоне главного энергетика области: «... слышал разные суждения о работе энергетиков, видывал на разных заседаниях Юрия Павловича, постепенно накапливалась информация о нынешних костромских директорах предприятий, сравнивал. Появились поводы гуманистарной направленности: участие энергетиков в возрождении духовности и культуры, спонсорская помощь в издании книг, шефство над детскими учреждениями — много фактов накопилось».

Человека культуры, «заинтересованного гуманитария», привлекла в Ю.П.Назарове памятливость о творческих людях, неравнодущие к духовным ценностям. Привлекло его и то, что на фоне тотального неблагополучия, в том числе и в относительно работоспособной энергетике, энергосистема Костромской области стабильно устойчива. Чего это стоило всему коллективу и ее генеральному директору — знают немногие: «Не только ежегодно, а каждый месяц, даже каждую неделю возникают «сюрпризы». Проблемы с топливом: то мазут, то газ, то — вынужденная технология на торфе. То неплатежи эти, взаимозачеты, бартер. То техническое обеспечение, то продовольственное, то моральное...»

Писателя, знающего великую цену всякому подлинному успеху в наше время, привлекла судьба «удачника», человека, который сделал себя сам. Автор стремится выявить составляющие жизненного успеха. Видит их не только в компетентности, организаторском таланте и разнообразном мышлении работника. Его персонаж — лидер, а значит, жесток, резок, даже жесток. Так требует профессия, ее величество Работа. Малейшее послабление себе и другим, поблажка, нерасчетливая уступка — и вот уже исчезает надежность незаменимых тепла и света.

Писатель с грустью размышляет: «Мир таков, каким мы его видим. Человека узнаем по делам... Каждый имеет право на прожиточный минимум света, тепла и ласки, но не каждому обеспечен этот минимум».

*Роман СЕМЕНОВ*

## **БЫТ — ЭТО ВСЕ ИЛИ ПОЧТИ ВСЕ?**

Знаменитый американский писатель Уильям Фолкнер почти все свои произведения написал на материале глухой американской провинции, дав ей условное и странное на наш слух название — Йоконапатофа. Я вспомнил об этом факте, размышляя о творчестве земляка, галичского писателя Олега Ивановича Каликина, который также посвятил свои писательские труды затерянному среди лесов живописному озерному городу Галичу и его ближнему окружению из деревень и поселков. Честно говоря, сам я в своих думах и работах не способен целенаправленно сосредоточиться только на одной географической местности (хотя и у меня в памяти и во снах крепко засел подобный городок). Может, потому и не способен, что, выросши, уехал из родных мест, и видимо, на всю жизнь уехал. Но речь здесь не обо мне.

Олег Иванович — коренной житель Галича: фамилия Каликиных известна здесь с давних пор. Видимо, этим и объясняется исключительный интерес и стойкая привязанность писателя к галичскому народу, к Галичскому озеру, к галичским нравам и обычаям. Опять же я подумал, а чем, собственно, отличается любимое земляками краеведение от писательского труда на материале родного края?

Отличается сильно, принципиально отличается, хотя «предмет исследования» один и тот же. Краевед рассматривает людей, события, предметы труда и быта как бы со стороны, что является условием объективности, т.е. научности. Писатель «входит» в быт, в человека, в событие. Он их должен показать изнутри, пережить сам, временно перевоплотиться в своих героев — и это надо уметь! Писатель, таким образом, в отличие от ученого-краеведа, должен быть максимально субъективен, что не мешает, а помогает ему в творчестве. Это необходимо, чтобы, с одной стороны, запечатлеть в книге живых, а не схематических людей, с другой, — чтоб выразить особенность своего взгляда на жизнь, свою и своих героев самобытность. Ведь без нее писатель и вовсе не писатель. И здесь на первый план выходит язык. Ведь как бы ни стремился тот или иной автор что-то доказать и показать, без своего собственного, выработанного, буквально вымученного языка ему это плохо удается. Это одна из самых таинственных загадок литературы: язык писателя, его волнующее воздействие на читателя, передача живых токов через буквы, знаки, слова. Но для чего же все-таки надо себя мучить, вырабатывать какой-то свой особенный язык, а не писать приличными, корректными, общепринятыми словами и выражениями? А для того, чтобы как можно глубже докопаться до скрытой сущности предмета, явления, человека, поступка, чувства и так далее.

Вот из этих составляющих: из самобытного языка, из пристального интереса к жизни, из тонкой наблюдательности и складывается трудная, порой изнурительная работа писателя.

Я уверен, все эти предпосылки, особенности и «секреты» писательского труда хорошо знакомы опытному мастеру слова Олегу Каликину. Мы можем без труда найти лучшие образцы русской речи уже во второй по счету (а всего было выпущено у Олега Ивановича, по-моему, более десяти книг прозы) и одной из лучших, на мой взгляд, книге «Валентинины дети», изданной в Москве в 1980 году.

«При выезде из ложбины, поросшей лесом, лошадь и сани поднырнули под навес широких лап старой ели. На иглах виднелись пряди сена: не один десяток возов с приозерной поймы причесало за зиму сердобольное дерево.

Озеро сверкало сегодня легкими пуховыми блестками, высыпавшими из притуманенного неба на старый мартовский снег. Город вдали кутался в мглистую пелену и угадывался лишь по дымкам, вставшим над нею». («Необычный рейс».)

«— Иосиф Федорыч, вы уж простите меня за тот инцидент. Не со зла я на вас тогда налетела — с обиды на мужа. Вы, оказывается, вон какой хороший. Не пейте больше никогда, — на глазах у нее сверкнули слезы. Очень хорошие, чистые слезы.

— Изо всех сил стараюсь, — ударил себя в грудь Иоська. Он хотел пощутить, а вышло так истово и подлинно, что оба расхохотались». («Иоська и Шаповаловы».)

Картина знакомая, картина родная, картина былого, что так врезается в память и приятно томит душу через много лет, — вот что я прочитал в первом отрывке. Ну а второй — передает нам богатую гамму добрых чувств и умение автора подметить тонкость человеческих отношений.

Невозможно отделить язык от содержания, а содержание от языка. Что же является главным содержанием книг Каликина? Быт и нравы, нравы и быт жителей провинциального городка. И вряд ли найдется хоть одно произведение у этого автора, где отсутствовали бы любовные, семейные, чувственные или романтические коллизии. Красной чертой проходит тема любви через все творчество Каликина. И невольно поражаешься богатству вариантов этих любовных отношений. Ведь не может никак один человек на своем опыте испытать столько разнообразных и острых, счастливых и несчастных чувств. Значит, фантазия, богатство воображения?

Любопытно здесь привести мнение А. Платонова, который однажды заметил, что в мировой литературе более разрабатывалась тема донжуанская, чем тема семейная. «Однако же образ семьяниня более присущ и известен человечеству, чем образ Дон-Жуана», — заключает Платонов. Повести и рассказы Каликина, можно сказать, переполнены изменениями, горькими чувствами, страданиями. Об этом можно прочитать в рассказах «Личность», «Омут», «Незванный гость» и других. Правда, слово «донжуанство» тут не совсем подходит, поскольку автор более склонен живописать измену со стороны женщины. Впрочем, арифметика тут не годится. Фанатичная и неразборчивая страсть к мужчинам у Валерии из рассказа «Омут» изображена как символ неутоленной любви, и много раз обманутый и презираемый муж после гибели Валерии ходит

на ее могилу, сидит подолгу и тоскует. По-настоящему трагична эта история. Противоположно ей выведен тип самоуверенного, расчетливого хама в лице заведующего больницей, хирурга Голубинского, совращающего супругу молодого врача (рассказ «Личность»). Здесь мы имеем тот случай, когда обладание шикарной вешью и шикарной женщиной, по сути, одно и то же. И я понимаю иронию в заголовке «личность», так как речь идет об обезличивании и семьи, и отдельного человека. И какими же невинными чудаками в сравнении с нынешним животным (образованным!) хамом представляются нам теперь эти чичиковы, обломовы, печорины, анны каренины и другие типы, обличаемые в русской классике. А ведь он нам всем хорошо знаком, этот хам, он не выдуман писателем.

И все же образ семьянина, нормальной человеческой любви, безусловно, преобладает в повестях и рассказах Олега Калинина. «Валентинины дети», «Йоска и Шаповаловы», «Сестры», «Дрозды над садом» и много других произведений писателя укрепляют в нас веру в непреходящую ценность семьи, той самой основы, на которой держится и общество, и государство в целом, что бы там ни кричали «прогрессисты» о «свободе любви». Ведь эта «свобода» есть не что иное, как далеко идущая в коварных замыслах спекуляция на здоровье тела, на жажде «красивой» жизни и счастья. «Остановись, мгновенье, — ты прекрасно!» — воскликнул герой великого Гете. В реальности, однако, только ровное счастье семейной жизни способно продлевать эти «мгновения».

Немало у Олега Ивановича и сюжетов, где разрабатывается тема зарождения чистой, жертвенной любви. «Вокруг озера», «Натурщица», «Скрип уключин». Читая их, мы все больше укрепляемся в мысли, что в разнообразнейших любовных ситуациях, которые встречаются в жизни и в большой степени отражены в творчестве Калинина, есть одна черта, одно человеческое свойство, без которого любовь превращается во что-то иное. Это свойство — верность. А залогом ее является чистота отношений. «Какой идеал вывел писатель в своем произведении?» — спрашивает учитель у школьника. И тот, путаясь, пытается сообразить, а что же он там вывел. А идеал-то един и прост: верность в любви, верность дорогим людям, верность в высоком служении, верность Отечеству. Эта высокая человеческая черта наиболее ярко выразилась в творчестве нашего современника, писателя Валентина Распутина и составляет его заслуженную славу.

И все же зададимся вопросом, что же определяет нашу жизнь, неужели только один был, который так разнообразно отразил в своем творчестве Олег Каликин? Ну, конечно, служба, работа, отдых, путешествия, приключения. Но все это какие-то случаи, частности. Кроме работы, конечно. Должно же быть что-то главное в жизни. Быть — быть. Однокоренные слова, но все же чувствуем их несоизмеримость. Чего-то не хватает в нашем быте, к чему-тоечно стремимся. Пытаемся это стремление отразить в службе, в работе. Хочется не службы, а служения.



## *Письмо из-за океана*



### **ТВОРЧЕСКИЕ ВСТРЕЧИ**

Уважаемый мэр Коробов!

В течение нескольких лет мы с Вами стремились осуществить обмен визитами писателей и художников. Эта идея возникла в день нашей встречи возле библиотеки Дарема. И вскоре была практически подтверждена приглашением в Северную Каролину писателя Михаила Базанкова. После многих литературных вечеров мы говорили о перспективах. Он, ссылаясь на понимание со стороны городской мэрии, предлагал обмен культурными делегациями. Так появилась программа культурных обменов, которую Вы деятельно поддерживаете.

Во время моих посещений Костромы в качестве гостя организации писателей, педагогического университета меня всегда водили в музеи, библиотеки, на творческие семинары и в мастерские к художникам для творческого общения. А своими первыми визитами в Дарем Вы, Борис Константинович, определили программу культурных обменов, ее перспективу, наполняя разнообразным содержанием. И вот у нас получилось несколько удачных культурных обменов с помощью фонда Мэри Дюк Бидл. Этот фонд помогал трем писателям (М.Базанков, Ю.Лебедев, В.Шапошников), которые приезжали в 1994 году. И вновь звучало Ваше согласие. Сотрудники фонда проявили также интерес к шедеврам искусства и к Программе породненных городов «Кострома-Дарем». Мы получили не всю сумму, которую хотели, но мы решили осуществлять программу и с ограниченным бюджетом, продолжали запланированные проекты. В Костроме побывала поэт и журналист Сьюзен Бройли, мне удалось давать семинары в педагогическом университете, встречаться с творческими людьми области. Издана моя книга поэм на русском языке. Вместе с М.Базанковым мы готовили приезд с выставкой в Северную Каролину Сергея Румянцева.

Очень удачно прошел еще один визит — художника Николая Смирнова и кандидата исторических наук Алексея Базанкова. Для нас было важно, по совету Михаила, пригласить председателя Союза художников с его картинами. Этот визит готовился долго, надо было решить многие вопросы. Мы использовали накопленный опыт общения с писателями. Программа имела несколько важных целей. Михаил и Алексей много помогали Николаю (речь шла не

только о выставке, надо было при помощи электронной почты решить многие вопросы), они помогли выбрать и подготовить именно такие картины по темам и жанрам, которые бы наверняка понравились нашей публике, они помогли Николаю в освоении многих мелочей и разных путевых формальностей, связанных с осуществлением творческого визита.

Николай правильно понял задачу и много потрудился в процессе подготовки к выставке здесь, в Дареме, и во время встреч в студиях, школах, университетах. Давал урок живописи, участвовал в дискуссиях, посещал музеи, картинные галереи, ездил на этюды. Очень хорошо общался, воспользовавшись консультациями Михаила, говорил о других работниках культуры Костромы, читал стихи. Визит был полезен для него и для нас. Много интересного предусматривала программа и для Алексея: работа в библиотеке Конгресса, встречи с учеными, семинары, занятия в школах, встреча с аспирантами.

В это время, как раз кстати, мы получили «Антологию костромской поэзии», посвященную юбилею А.С.Пушкина. Несколько лет назад костромские писатели проводили творческую дискуссию с преподавателями колледжа и упоминали о своем желании издать такую антологию. Мы со своей стороны приняли участие в проекте. И получилась общая удача. В своей студии с молодыми литераторами я повела разговор об этом ценном издании. И я могла говорить людям: мэр Костромы и губернатор области стараются помогать своим художникам, писателям, работникам культуры. Моральный дух творческой интеллигенции в Костроме все еще хороший, несмотря на трудные условия жизни.

Многое в нашей общей программе культурных обменов сделано благодаря Вашему руководству. Подумать приятно, что все началось с первой встречи с первым русским, которого я когда-либо встречала. Такое содержательное получилось продолжение у первой нашей пятиминутной встречи девять лет назад в Дареме. Осенью 1999 года я надеюсь начать новый проект публикаций совместно с Михаилом Базанковым и писательской организацией. Вы можете гордиться тем, что он и писательская организация смогли сделать в трудные времена в России.

Спасибо за то, что Вы такой какой Вы есть, и спасибо за то, что Вы продолжаете заботиться о писателях, художниках, музыкантах и других костромичах, помогаете им! Я снова надеюсь посетить Кострому в 2000 году и снова встретиться с Вами!

Ваш друг Джуди Хоган.  
Северная Каролина, США.





Александр ЗАЙЦЕВ



### ИЗ ЖИЗНИ

В старом доме, в укромном местечке,  
Где теплее — под самою печкой,  
Поселился веселый сверчок  
И давай подавать голосок.

Дед с печи бабку старую гложет —  
Он от песен сверчковых не может:  
«Да заткни его, лешая, к черту,  
Пашь порви, плюнь в нахальную морду!»

«Старый хрыч! — бабка вдруг осерчала. —  
Чтоб за печкой искать его стала?  
Полезай и ищи его сам,  
Я начинку варю к пирогам».

Дед, слезая с печи, улыбнулся,  
За двустволкой своей потянулся  
Да как жахнет за печку дуплетом,  
Матерясь беспощадно при этом.

Не известно, попал или нет,  
Но... не слышат ни бабка, ни дед,  
И в согласье свой век доживают —  
Деду больше сверчки не мешают.

\* \* \*

Хотите знать, но я цивилизацию  
Определю, взглянув в канализацию.  
Не интересно то, что в ней содержится,  
А то — на чем система эта держится.

\* \* \*

Пушистый кот разлегся на полатях,  
На старенькой овчине — мехом в мех.  
Темно и тихо ночью в старой хате,  
И лишь устало дышит человек.

Короткий сон, глубокий, как могила,  
И утром уже, кажется, не встать.  
Ну что ж, вчера ведь точно так же было,  
И завтра будет точно так опять.

Но будет день: спустившийся с полатей  
Пушистый кот хозяина найдет  
В большой и остывающей кровати  
И, сев у ног, тихонько позовет.

\* \* \*

По большой реке в ранний месяц май  
Супротив воде казаки гребли,  
Впереди их ждал неизвестный край  
Никому не ведомой и чужой земли.

Что еще их ждет — то никто не знал,  
Что судьба таит для людей лихих.  
Каждый шел за тем, что давно искал,  
Не найдя в себе, поискать в других.

Они шли вперед, не страшась беды,  
Они шли вперед до конца воды.  
До конца земли им начертан путь —  
Искать себя, и ярмо тянуть.

\* \* \*

Наполнен вечер суетой  
И жирным отблеском заката,  
А облака над головой  
Плынут, плывут, плывут куда-то.

Нетороплив их гордый строй,  
На землю смотрят безразлично,  
И не нарушит их покой  
Какой-то трактор гусеничный.

Ревя надрывно и урча,  
Он месит грязную дорогу,  
На нем стоит одна свеча,  
И та поставлена не Богу.

\* \* \*

Первые капли упали в траву,  
Первые капли умыли листву,  
И зашуршало по крышам,  
И зазвенело в стекло.  
Я на крыльце свое вышел —  
Мне по спине потекло.  
Свежесть расправила крылья.  
Как надоел этот зной!  
И воробьев эскадрилья  
Плещется в луже большой.  
Дождь зарядил не на шутку.  
Спятивший с радости пес,  
Выстирав пыльную шубу,  
В будку на сушку унес.

\* \* \*

Как холодно в начале лета!  
И липа, в листья не одета,  
Воздела ветви к небесам.  
А дождь, подобно волосам,  
Из тучи вдалеке свисает,  
Гроза вдали собакой лает,  
И ветер воет на судьбу,  
Гоняя воду по пруду.

\* \* \*

Пусть будет день за ночью этой,  
И за весною будет лето,  
За осенью придет зима,  
Хочу, жена чтоб родила.

Увы, мне многоного не надо,  
Мне малое — уже награда,  
И дарит радость даже то,  
Что летом ходишь без пальто.

\* \* \*

У каждой реки два берега,  
А между ними вода.  
А она мне сказала: «Я верю вам»,  
Ответил я ей: «Не беда».

Она мне призналась в желании,  
А я ей ответил тогда,  
Что в речке одной, в Померании,  
Зеленая с желтым вода.

Она улыбнулась, заплакала,  
Сказала: «Ах, как вы пусты!..»  
А слезы прозрачные капали  
Почище байкальской воды.

\* \* \*

Подземный житель, старый крот,  
На дальний луг копает ход.  
Между кореньев и камней  
Стремится к радости своей.

Когда-то, много лет назад,  
Ушел куда глаза глядят.  
Хотя зачем глаза кроту?  
Нельзя увидеть темноту.

Сложилась жизнь его иль нет,  
Неважно.  
На закате лет  
Он роет ход к себе домой,  
Лишь там он обретет покой.

## ПРОТАЛИНКА

Первая проталинка —  
К солнцу косогор,  
Черная пропалина  
Услаждает взор.

Грач шагает бережно:  
Да, не широка —  
До другого бережка  
Только два шага.

У другого берега  
Стонут воробы:  
— Дяденька, мы — первые,  
Мы ее нашли!

Повалять дай перышки —  
Мне дозволь! И мне! —  
На прогретой солнышком  
Тепленькой земле.

— Мелкота пернатая,  
Нанесете снег!  
А другой проталинки  
Рядом еще нет.

\* \* \*

Как мало надо:  
Тусклый теплый свет,  
Горит лампада  
В полумраке зала...  
Как мало надо  
На восьмом десятке лет.  
Как мало надо.  
Все-таки как мало...

\* \* \*

Живу одиноко  
В медвежьем углу.  
Болтушка-сорока  
В печную трубу  
Расскажет мне сплетни,  
Даст дальний совет.  
Луч солнца последний  
Мне выключит свет.  
К делам спозаранку  
Поднимет петух,  
Росою холодной  
Умоет лопух.  
Вдали за рекою  
Забрезжил рассвет.  
И рядом со мною  
Других людей нет.

\* \* \*

Не много, не много вышло  
Из-под моего пера,  
Заплесневело и скисло,  
Что лучшим было вчера.

И вера, как дым сигареты,  
Растаяла среди ночи.  
Вот так умирают поэты.  
Великие, между прочим.

с. Парfenьево



## ОСЕНЬ В ГОРОДЕ

Кричали петухи разноголосо  
О том, что под трезвон колоколов  
Степенно в тихий город въедет осень,  
Топча ковры из розовых листов.  
Развешает на облаках закаты,  
Отмоет окна, зашуршил в садах,  
Метлой пройдет по крышам,  
                                как когда-то,  
А после затаится в проводах.

\* \* \*

Чувства скрытые обнажив,  
Я надеюсь, что расшифрую  
Близорукий свой взгляд на жизнь,  
Где, как кукла, я марширую.

А веревки в чужих руках,  
Эти руки темны и мглисты,  
И за каждый мой дерзкий шаг  
Награждают разбойным свистом.

А за свистом равняет плеть  
Умной болью косые кости,  
Чтобы я не посмел запеть  
Ни от радости, ни от злости.

Но летит птицей в небо крик,  
С крыльев скинув немую кротость.  
И во взгляде сквозит родник,  
Обретающий дальноворкость.

\* \* \*

Уже маячат недалече  
Мои сиреневые дни,  
Рассыплют мне они при встрече  
Весенне-синие огни.  
Я наберу их полной горстью  
И буду слушать дивный звон.  
И ждать к себе одну лишь гостью —  
Ту, чьей красотой заворожен.

## ТАЙНА

Между нами глухие леса,  
Ленты рек и озер лоскуты,  
Но твои неземные глаза  
Вместо звезд мне горят с высоты.

Непонятно мне только одно:  
В этой звездной ночной тишине  
Что за птица влетает в окно,  
На ладони садится ко мне?

И в глаза безмятежно глядит,  
Но за той безмятежностью глаз  
Сокровенная тайна лежит,  
И она, как ни странно, о нас.

Только дорог мне в птицах полет:  
Я ее выпускаю из рук.  
Пусть она до тебя донесет  
Эту тайну, далекий мой друг.

\* \* \*

Наши встречи не скоро кончатся,  
Потому что — сиюминутны.  
Предначертано одиночество  
Нам с тобою — ветрам попутным.

Будем снова держаться за руки,  
Будем снова глядеть незряче  
И, мечтая о лунной радуге,  
Не загадывать об удаче.

Ты напомнишь, что время позднее,  
Что была меня видеть рада  
И что скоро в вечернем поезде  
Мне домой возвращаться надо.

Я отвечу, что схожа с поясом  
Эта жизнь, как в той старой шутке.  
Да и Бог с ним, со скорым поездом!  
Я уеду и на попутке.

\* \* \*

Когда приходит в мысли тишина  
И день перестает казаться тенью,  
Тогда я понимаю, что одна,  
Одна лишь явь подобна сновиденью.  
Тогда слова доступны и просты,  
А взгляды все милы и так приятны,  
Все помыслы гуманны и чисты,  
И чувства непонятные понятны.

## СВЕТ И ТЬМА

Во мне бушуют два начала,  
Как два сознанья, два ума,  
Как встречных два девятых вала,  
Две половинки — свет и тьма.

Свет дарит чувства и свободу,  
Он вытесняет боль и страх,  
Он освещает мне природу  
Во всех красотах и цветах.

А тьма приносит боль разлуки,  
Лишает всех наземных благ.  
И вот в душе такие муки,  
Что не понять, кто друг, кто враг.

Но, коль покорен буду свету,  
Познаю рай и в шалаше,  
Пойду один по белу свету  
С заветом Господа в душе.

А если тьма во мне осилит,  
То я скажу, завет храня:  
«Не стоит жизнь таких усилий,  
Которых хочет от меня».

## БЕЛОЕ НА БЕЛОМ

На белокаменной стене  
Опять рисую белым мелом  
Картину ту, что мне во сне  
Приснилась: белое на белом.

Мне в этом сне, как никогда,  
Хотелось петь. А между делом  
Я устремлялся в города.  
Все те же: белые на белом.

Я там искал свою любовь,  
И поиск стал моим уделом.  
Ах, как мне будоражил кровь  
Твой образ: белая на белом!

Растаял сон, как облака.  
Но я там был душой и телом.  
И ты живешь во мне, пока  
Рисую белое на белом.

\* \* \*

То ли вечер такой непогожий,  
То ли ветер гуляет в трубе.  
То ли просто обычный прохожий  
Улыбнулся опять не тебе.

А быть может, что где-то далеко  
Засветилась ночная звезда,  
Ей на небе одной одиноко,  
Точно так, как тебе иногда.

Но глаза, словно два изумруда,  
Смотрят нежно в звездную даль,  
Понимая, когда и откуда  
Появилась на сердце печаль.

Снова волосы пали на плечи,  
Тайный сон набежал вдруг волной.  
И опять чей-то голос на встречу  
Поманил тебя в край неземной.

Нейский р-н



## Дмитрий ТИШИНКОВ

\* \* \*

Нравится мне, как идут облака,  
изморося сбросив.  
Нравится мне, проявляется как  
бледная просинь.  
Как разогретая ласкою недр  
стынет водица.  
Выйти б за хутор, пройти с километр  
и заблудиться.  
Нравится мне перед снегом бродить  
в хвойном гареме.  
Стал я в последнее время любить  
позднее время...

\* \* \*

Ни тепла, ни уюта, ни лада.  
Словно заяц из книжки Барто,  
он не то чтобы дышит на ладан,  
но уж очень похоже на то.

На часах без пятнадцати девять.  
Ничего не сказав никому,  
он турецкую шубу наденет  
и поедет любить Кострому.

Изменив траекторию круто,  
за каких-нибудь сорок минут  
он заменит пивные маршруты  
на бесплатный музейный маршрут.

Наслаждаясь фасадами барских  
хижин, вдоль по Советской летя,  
он, быть может, прикупит колбаски,  
да и то не себе, а дитям.

А потом под напевы метели,  
никого не впуская в салон,  
в городском путешествуя теле,  
он окажется в сердце самом.

Ночь машину его запорошит.  
И тогда, растворяясь в ночи,  
он и старый его «Запорожец»  
у пожарной заснут каланчи...

\* \* \*

Отказавшись от спиртного стимула,  
поднажал на сигаретный дым.  
Надо мне переходить на «Стиморол»,  
а иначе сдохну молодым.

Сделают ли кубики куриные  
слаще синтетический обед?  
Да и детективы от Марининой —  
тоже не спасение от бед.

Мне б трусцою по безлюдным улицам  
прямиком в двадцатые года.  
Я тогда прослыл бы суперумницей,  
я не матерился бы тогда.

Жизнь моя бы закрутилась весело:  
солнце, девки, пароходный гул!  
Я бы, Александрыч, не повесился.  
Я бы, Александрыч, утонул.

\* \* \*

От небес и от талой воды  
на овальные блюдца похожи —  
под окошком чужие следы  
и в углу у поленница — тоже.

У отца и рисунок не тот.  
Впрочем, эти совсем без рисунка.  
А у тещи бы грузом забот  
у дверей отпечаталась сумка.

След игрушечный дочки моей  
растворился бы в этом размере.  
А соседка?.. Так мы уже с ней  
с позапрошлого года, как звери.

У следов утонченных жены  
и просадка, и форма другая.  
Эти ж словно в снегу прожжены.  
Да жена и не ходит кругами.

Я за пачкою пачку курил,  
растревоженный: кто же бродил здесь?  
Вспоминая, как поп говорил:  
«Сын мой, в марте вы дважды родитесь».

И когда отступила вода,  
целовал, как безумный, кадило.  
Потому, что я понял тогда —  
Это первая смерть приходила.

\* \* \*

Стирали бабы у моста  
белье.  
И к ним подвыпивший пристал  
майор.  
Майору надо бы идти  
домой.  
Но он сегодня до пяти  
герой.  
Вина хорошего в ларьке  
купил.  
И до пяти он на реке  
кутил.  
А к полшестому он слегка  
ослаб.  
Открыл глаза — ни кошелька,  
ни баб.



Юрий РАЗГУЛЯЕВ

\* \* \*

Пока в снегу лежит февраль,  
К воде не спустишься вечерней  
Смотреть, как тихо по теченью  
Звезда плывет куда-то вдаль.

Так и живу — на всякий случай.  
Служу, пишу, едва дышу.  
И жду поры иной и лучшей,  
Какой — не знаю, не скажу.

Лишь иногда скажу:  
спасите,  
Не оставляйте одного,  
Со мною вместе погрустите —  
Так, ни с того и ни с сего.

Ведь не всегда нужна причина  
Побыть вдвоем или втроем,  
Но это так необходимо!  
Хоть иногда.

Пока живем.

\* \* \*

Ю.В.Жадовской

Кореги утренней охотничий рожок.  
Некрасовский мотив в лесах осенних.  
И падающей церкви в Воскресенье  
За небо зацепившийся гвоздок.

Калиньево — ласкающее слух,  
Пугливой Кеги гусье гоготанье.  
Жадовской прах, и новой жизни пух,  
И горький слог, щекочущий в гортани.

От светлых глин у Кеги голубой  
Я отщипну — калиньевские глины  
Пригодны ли для музыки другой,  
Для дудочки ее — для окарин?

Безгласа глушь. Голубушка, назад,  
Душа, уж предков прах не сыщешь на погосте.  
Не в Царское Село, а в Барский Сад —  
Владенье робких муз и женственной Жадовской.

... Не баловал уездных поэтесс  
Век девятнадцатый романсов и поместий.  
Известна боле музыкой прелестной,  
А остальное — слезы или лес.

В музейной роскоши желты страницы книг.  
Предметов прочих круг и разобщен, и узок.  
Но то — прерогатива Ольховик.  
Я — не о том. Меня торопят музы.

От добродушного брюзжания вещей —  
В Элизиум плениительных иллюзий.  
Плюща и плюща, пашен и хвошей  
Рука хитрющих муз затягивает узел.

Тениста и густа усадебная глушь.  
Мелькнул ли светлый шелк — иль это света шалость?  
Расплесканных времен, окрестностей и душ,  
Их разность и родство в душе моей смешались.

\* \* \*

Достать бадью из черного колодца  
С прохладным сном  
и жадно пригубить  
Той тьмы и немоты, чтобы забыть  
О собственном неназванном уродстве.

Не избегать зеркал и фотокамер,  
Публичных мест, незначащих речей...  
Но вот ведь что:  
мне легче с чудаками  
И проще среди стареньких вещей.

Мне нравится рассадник лопуховый,  
Где шаг почти не слышен при ходьбе,  
И глупый вид собаки бестолковой,  
Что чудным зверем кажется себе.

## КАЛИНЬЕВО

Изгои-маки, помню вас в саду.  
Вы огонечками горели между грядок.  
Был пирожок домашний с маком сладок.  
Теперь уже и сада не найду.

Лишь речка, извиваясь между ив,  
Щекочет эти веточки водою.  
И камешки на дне — как бы архив,  
Собранье дат, отмеченных судьбою.

\* \* \*

Тяжеловесные июльские леса.  
Листва и лень. Медлительное лето.  
Пересыхает речь, и лишь глаза,  
Прищурившись, следят за белым светом.

Легко ли мне? Что я скажу в ответ?

Что влагу местных почв

привычно

тянут

корни,

Что весело за облаком восслед  
Подняться и лететь, меняя цвет и форму.

И повернуть назад — где что-то есть

Влекущее в давно знакомых лицах.

Провинция мне кажется столицей

Всех чувств моих, какие —

только здесь.

\* \* \*

## 1.

Не любишь этот дом, не любишь.  
Уходишь утром. Как, уже?  
И ручку маленькую студишь —  
В перчатке дырочка. Зашей.

Похолодало что-то нынче,  
И холодов не миновать...  
А я хочу еще мизинчик  
В последний раз поцеловать.

## 2.

А утром морозцем прихватит.  
Снег накинут на лес,  
Как фельдшерский белый халатик.  
Твой,  
с меточкой «Л.С.».

Г.Буй



## Татьяна РАСУЛОВА

\* \* \*

Никто не застрахован от беды.  
Несчастный случай, катастрофа, драка...  
И на глаза наложены бинты,  
И нет спасенья от сплошного мрака.

Ни отблеска, ни тени — ничего.  
Лишь черная зияющая бездна.  
О если б знали люди, каково  
Познать бессилье глаз, их бесполезность.

Как горько сознавать, что никогда  
Не насладиться красками восхода,  
Не разглядеть, как падает звезда —  
Слезинка голубого небосвода.

\* \* \*

Чем невозможней, чем сложнее  
Осуществление мечты,  
Тем безоглядней рвусь к тебе я  
И тем сильней мне нужен ты.  
Я, задыхаясь от желанья  
И воспарив над суетой,  
Шепчу тебе слова признанья  
И... просясьпаюсь... Боже мой!  
Наедине с подушкой снова  
Ночь до рассвета коротать  
И три волшебных нежных слова  
В немую пустоту ронять.  
А ты? Осознаю с тоскою —  
Опять меж нами ночь лежит.  
Нам, видно, суждено с тобою,  
Любя, всю жизнь в разлуке жить.

г.Няя



\* \* \*

Снова сердце от радости скакет,  
Словно мяч в неустанной игре.  
Я с дорожной сумкою — значит,  
Растревожу тебя на заре.  
Сквозь узоры окна продышала  
Я неровный стеклянный зрачок.  
Я и в детстве вот так наблюдала  
За движеньем домов и дорог.  
Мертвым светом уходят витрины  
В окаймленье неоновых ламп.  
Остановки, кафе, магазины,  
Ряд киосковочных, главпочтамт.  
Фонарей юбилейные свечи  
Прожигают насквозь темноту,  
И троллейбус уносит в заречье  
Через Волгу меня по мосту...

\* \* \*

О Господи! Как быстро устаю!  
И снова опускаюсь на подушку.  
А дома тихо, будто бы в раю,  
В аквариуме — желтые ракушки,  
И рыбки всех размеров и мастей,  
И водорослей тоненькие нити...  
Я провожаю каждый раз гостей  
И улыбаюсь мило: «Заходите!»  
Снимаю грим, накладываю крем  
И что-то отвлеченно напеваю.  
А может быть, неправильно, что всем  
Я двери нараспашку открываю?  
А может быть, не надо быть такой  
Приветливой, доверчивой, наивной?  
Но если в жизнь вторгается покой,  
То я — лишь человека половина.  
Пусть шумно, многоголосено, смешно,  
Пусть в доме безнадежно многолюдно...  
Жить для себя, я думаю, грешно;  
Хоть и доходно, но душою — скудно.  
И пусть я временами устаю,  
Но нет во мне ни капли сожаленья,  
Я только крепче и охотней сплю  
И вижу лишь картинней сновиденья.

А может быть, не надо быть такой?..

г.Няя

## ПОВСТРЕЧАЙ МЕНЯ

Повстречай меня, мой хорошенъкий,  
Я одна иду по дороженьке.  
Выйду в поле одна на зорюшке —  
Повстречай меня, мое солнышко.  
А одна поплыву я за реку —  
В лодку сядь, возьми меня за руку,  
Посади меня на скамеечку  
Да греби веслом помаленечку.  
Речка тихая голубехонька,  
Наша лодочка да новехонька...  
Повстречай меня, мой хорошенъкий,  
Я совсем одна-одинешенька.

\* \* \*

Зеленый домик переправы,  
Снег белых чаек на воде,  
И берега — твой берег правый,  
А мой — сама не знаю где.  
Нас принимала переправа  
И синим вечером, и днем.  
Я отдавала берег правый  
Тебе, не думая о нем.  
И ты, единственный на правом,  
Так легкомысленно решил,  
Что быть повсюду только правым  
Тебе мой берег разрешил.  
А я в ответ тебе молчала,  
Но знала темная вода,  
Что в этот вечер от причала  
Я уплываю навсегда.

\* \* \*

Ах как славно смотрится  
Мне сегодня на воду,  
Как поверить хочется  
Мне в твою неправду!..  
А она записана  
Нами на воде...  
Я сижу на пристани,  
А ты-то где?  
Что же ты не явишься?  
Что же я так жду?  
Ты зачем мне нравишься?  
На радость иль беду?

\* \* \*

Как хорошо мне в вечер долгий  
Писать, и думать, и молчать.  
И, словно в первый раз, про Волгу  
Поэму новую начать.  
И сердцем трепетным услышать  
Ее призывные гудки.  
Припомнить катерок, что вышел  
Из устья маленькой реки.  
Увез меня в большую Волгу...  
Ничто не повторится вновь,  
Но этот день мне помнить долго,  
Как помнят первую любовь.

\* \* \*

Август счастливый, прощай!  
Я ухожу, ухожу.  
Что тебе, счастья приchal,  
Я на прощанье скажу?  
Счастливы были мы? — Да!  
Яблоки, звезды, луга...  
С нами смеялась вода,  
С нами шептались стога.  
Как же мне быть в сентябре?  
Быть без тебя? Говори!  
Рвать без тебя на горе  
Красные гроздья зари?

## **ВСПОМНИ-ПРИПОМНИ**

### *Песня*

Вспомни-припомни, было не раз:  
Вдруг умолкали метели,  
И начинались в предутренний час  
Звонкие песни капели.  
Реченька-речка бежала, смеясь,  
Росные травы звенели,  
И оглашали в предутренний час  
Сад соловьиные трели.  
Вспомни-припомни: калина была  
В кипенно-белой вуали.  
Это для нас она буйно цвела,  
Ветры вовсю колдовали.

### **Припев:**

Верую, верую, верую я,  
Что не разлюбишь.  
В сердце родимые наши края  
Вечно голубишь.

\* \* \*

Когда стоишь на теплой пашне  
И в дали русские глядишь,  
Благослови раздолье наше  
За эту синь и эту тишину.  
Когда идешь лесной дорогой,  
Где зелень празднично светла,  
Благослови, что нам так много  
Природа русская дала.  
Когда плывешь по Волге вольной  
Неторопливою водой,  
Благослови ее приволье,  
Благослови свой дом родной.  
Когда под синим этим небом  
Посевы дружные взойдут,  
Благослови рожденье хлеба,  
Благослови наш мирный труд.

Макарьевский р-н



## Наталья МУСИНОВА

\* \* \*

Синий туман, лишь огни разнолики  
Кружатся, тают без сна.  
Я бы, наверное, стала великой,  
Если бы это на холст нанесла.  
Боже! Какие прекрасные звуки  
Нежно струятся, боюсь их вспугнуть.  
Я бы прославилась, верно, без муки,  
Если бы ноты знала чуть-чуть.  
Тише! Я слышу, что кто-то незримый  
Мне начинает стихи диктовать.  
Я бы, наверное, стала гонимой,  
Если бы их повторила опять.

\* \* \*

Лейкемия поколенья.  
Боже правый, ну зачем?!  
Наш народ долготерпеньем  
Был прославлен, но растлен.  
Воровство, разврат и пьянство —  
Три «закона» бытия.  
Где ж ты, русское дворянство?  
Где ж ты, родина моя?  
В этой пошлости безликой  
Дорожим пустой молвой  
И забыли, что великий  
Правит миром Дух Святой.  
Ходим в храмы, ставим свечки,  
И от слез глаза болят...  
От снегов до Междуречья  
Купола огнем горят.  
Свет Фаворский, мы не в силах  
Распознать твоих лучей.  
Равнодушно и уныло  
Славим наших палачей.

\* \* \*

Я о любви говорю  
по-французски,  
Я на иврите читаю псалмы,  
Только о вечном пою я  
по-русски,  
Только по-русски я плачу,  
как вы.

## ДЕРЕВЕНСКАЯ ПАСТОРАЛЬ

Опустили ромашки головки,  
Им, конечно, немножко неловко  
Слушать наши с тобой разговоры  
В час вечерний, счастливый, бедовый.  
Разрумянились щеки закатом,  
Кудри русые кажутся златом.  
Светлячок на плече притаился.  
(Он, наверное, тоже влюбился.)  
Теплый воздух прогретого лета  
Нас ласкает всю ночь до рассвета.  
И почуздится вдруг, что есть в мире  
Только мы да цветы полевые...  
(Ну еще, может быть, пустячок —  
Озорной золотой светлячок!)

г.Кострома



*Владимир ИВАНОВ*

\* \* \*

На мягких лапах ночь пришла,  
Сплела дороги.  
Дневные брошены дела  
И диалоги.  
Стирают грим с прозрачных лиц  
Ночные феи.  
И стук сердец, и крики птиц  
Во тьме слышнее.  
Закат уполз за горизонт,  
Как древний ящер.  
Чуть слышен колокольный звон  
В дали манящей.

\* \* \*

Что-нибудь о простых пустяках,  
О расколотом утреннем сне,  
Как ребенок на сильных руках,  
Разболтаешь ты на ухо мне.  
Про беззубые страхи свои,  
Про старуху с корявой клюкой,  
О красивой несчастной любви,  
О кострах за холодной рекой.  
Перегугтаешься месяцы, дни...  
Так наивно по-детски соврешь.  
От извечной мышиной возни  
На ладонях моих отдохнешь.  
Что-то вспомнишь, оттают глаза  
Без особых как будто причин.  
И о том, что нельзя рассказывать  
Мы друг другу с тобой помолчим.

\* \* \*

Бездомный, как ветер, по хрупкой планете,  
Которая свита из песен и снов,  
Плынет и шагает, живет и мечтает  
Слепой музыкант, что играет любовь.  
За облаком сизым, скользя по карнизам,  
Вползает мелодия в окна квартир.  
И нежно качает седыми ночами  
Скупой коммунальный прокуренный мир.  
И сплетни, и ссоры, и все разговоры —  
Беззубые сводни со взглядом лисиц.  
С ладони слетает, прозрачно витает  
Чудесная музыка губ и ресниц.  
Растаяли стены, забыты изменения —  
Гнилые веревки с расслабленных плеч...  
Полночное чудо Бог знает откуда  
Придет, чтобы снова спасти и сберечь.  
Сберечь то, что дышит, спасти тех, кто слышит  
Безумную музыку розовых снов.  
Как прежде, летает и благословляет  
Слепой музыкант, что играет любовь.

г.Кострома



## МОЛИТВА ДАЧНИКА

Великий Боже, утром чистым,  
Когда в душе покой и тиши,  
Прими молитву атеиста,  
Молитву дачника услышь.

Прошу тебя без пустословья  
(Лукавить с Богом не резон):  
Пошли мне Господи, здоровья  
И силы дай на весь сезон.

И с семенами Боже крепкий,  
И вразуми, и научи,  
Чтобы сурепку вместо репки  
Мне не всучили ловкачи.

Да чтоб с посадкою не мешкать,  
Святая сила, будь добра,  
Пошли навозу две тележки,  
И не по ценам серебра.

Пускай в природе по порядку,  
Все в меру — солнца и дождей.  
Да сохранить бы все на грядках  
От жадных и лихих людей.

А как до дачи добираться?  
Не хочешь, а лишишься снов.  
Сумели власти постараться:  
Купил билет — и без штанов.

Так каждый год — одно и то же,  
Просвета с дачей не видать.  
Ты помоги, великий Боже,  
Мне как-нибудь ее продать!

## ЗАЛЕСЬЕ

В детство путь недолог наш:  
Над селом Залесьем  
Колокольни карандаш  
Чертит поднебесье.

Я по памяти найду,  
Заблужусь едва ли,  
Где у фельдшера в саду  
Мальвы расцветали.

Здесь стояли трактора  
Под родным окошком.  
Там, у лавки, до утра  
Пели под гармошку.

На гулянках мужики  
Присказеньки гнули,  
Отлетали каблуки  
От лихой «козули».

На работу петухи  
Звали спозаранку,  
Гнали стадо пастухи  
В лес под «барабанку».

Вкусно пахло на селе  
Молоком и хлебом,  
На родительской земле  
Под неярким небом.

Пролетело много лет,  
Как с селом расстался.  
Старой церкви силуэт  
В памяти остался.

г.Буй





## Татьяна ГОЛЯТИНА

\* \* \*

Душа, познавшая полет,  
Не согласится на бескрылость,  
Но золото клетки — чья-то милость —  
Ей мир увидеть не дает.

Душе, изведавшей полет,  
Любая замкнутость пространства  
И обреченность постоянства  
Не только крылья — сердце рвет.

\* \* \*

Нелепо возвращаться в юность  
И смытые искать следы,  
Прошедшим чувствам повинуясь,  
Бродить по краешку воды,  
Едва журчащий слушать шепот  
И каплю на щеке ловить,  
Забыв, что неудачный опыт  
Нам тоже помогает жить...

\* \* \*

Как все просто. Взять билет  
И приехать в город детства,  
Устыдиться прошлых лет,  
Проведенных по соседству.  
И сослаться на дела,  
На безденежье, заботы.  
Оттого, мол, не была,  
Что работа все, работа...  
И по улицам — пешком  
Незнакомкою знакомой.  
Поклониться: «Здравствуй, дом!»  
Не была давно я дома...

г.Ней





Вячеслав СМИРНОВ

**ВАРИАНТЫ РЕВНОСТИ**  
*с оглядкой на Пушкина*

Воротился ночью мельник...  
«Женка! Что за сапоги?»  
— Ах ты, пьяница, бездельник!  
Где ты видишь сапоги?  
Иль мутит тебя лукавый?  
Это ведра. — «Ведра? Право?  
Бот уж сорок лет живу,  
Ни во сне, ни наяву  
Не видал до этих пор  
Я нигде на ведрах шпор».

А.С.Пушкин

Что будет,  
если пушкинским сюжетом  
воспользоваться  
нынешним поэтам?

**НОЧНОЙ РАЗГОВОР**  
(Виктор Боков)

— Нет, на скромницу ты не похожа.  
Не хитри, дорогая моя.  
Сапоги из шагреневой кожи  
Кто оставил? Скажи не тая!  
С ним хочу объясняться я вкратце.  
Где он прячется, тот ловелас?..

— Как ты смеешь ко мне придираться? —  
Вмиг с постели жена поднялась.  
Перед ним подбоченилась бодро,  
Ставя мельника сразу в тупик.

— Это ведра! Те самые ведра,  
Что на кухне ты видеть привык.  
Про измену не может быть речи!  
Все равно уследить бы не смог...  
Ой, озябла! Накинь мне на плечи  
Оренбургский пуховый платок.

**РОМАН С А.**  
(Андрей Вознесенский)

Апартаменты мельника —  
келейка,  
а барахла набралось  
невпроворот.  
Добрался домой  
еле-еле, как  
какой-нибудь шкодливый  
обормот.  
Ночью в такой темнотице  
чего он глазищами рыщет?  
Вдруг фосфор ему в мозги:  
«Ха-ха!  
В попыхах  
хахаль забыл сапоги...»  
Отделаться шуткой  
нет шанса.  
Таков, как в романе,  
роман с А.

**ТЕНЬ ОТЕЛЛО**  
(Эдуард Асадов)

Мельник тапочки при входе долго ищет,  
Трогая ночную тишину.  
— Лапушка! А чьи тут сапожищи? —  
Деликатно он спросил жену.  
— Неужели вышла я из веры?  
Начал ревновать под старость лет.  
Ведра от сапог, по крайней мере,  
Отличить ты сможешь или нет? —  
На него она пошла в атаку,  
Распаляясь в гневе, как в огне!..  
И тогда хороший работяга  
Так сказал своей плохой жене:  
— За обувкой зря не доглядела.  
Ладно. Спать ложись. Не мельтеши.  
Если твой Амур коснулся тела,  
Тень Отелло мне велит:  
«Души!»

## СОНЕТ ДЛЯ ТЕБЯ

(Новелла Матвеева)

Когда слышны нетвердые шаги,  
Они порой дают понять о многом...  
Ты спрашиваешь: «Что за сапоги  
Стоят у нас в прихожей под порогом?»  
Не сапоги. Оптический обман.  
Протри очки! Увидишь, как двоится  
Одно ведро в твоих тупых зеницах.  
Не «возникай», когда бываешь пьян.  
Вернулся ночью с мельницы опять,  
Чтобы, забыв жену, беспечно спать.  
О, как хочу с тобой побывать в разлуке!  
В судьбе мы надоедливо близки...  
Ты, мукомол, белеешь от муки,  
Я побледнела от душевной муки.

## ВАРИАНТ РЕВНОСТИ

(Евгений Евтушенко)

Дом номер три.  
Этаж четвертый.  
Дверь отпер трепетной рукой.  
— Знать не хочу, кто он такой!  
Поведай только — чьи «ботфорты»?  
Каким бы ни был их фасон,  
Различие, мы знаем сами,  
Меж ведрами и сапогами  
Известно  
С пушкинских времен.  
«Давай не будем ревновать», —  
Ты прошептала мне однажды.  
Не только я и ты, а каждый  
Бывает в чем-то виноват...  
Меня с тобой свела судьба.  
И ни о чем я не жалею:  
Прильнув ко мне,  
Рукой моей  
Счастливо гладишь ты  
Себя!





## ПАДАТЬ ТАК ПАДАТЬ

Что мы можем? Без боли, без звука  
Посторонний, тяжелый, ничей  
Упаду в равнодушные руки  
Медицинских сестер и врачей.

Владимир Дружинин

Спать ложился здоровым я вроде,  
Но привиделось нынче в ночи:  
Няни старые с утками бродят,  
И со скальпелем ходят врачи.  
Отпускают прозрачные шутки,  
Могут брюхо вспороть под запал.  
Я тяжелый, ничей. Только дудки,  
Чтобы я в эти руки попал.  
Вот уж слышу приятные звуки,  
Загораются в сердце костры.  
Упаду-ка в надежные руки  
Молодой медицинской сестры...

## ЛЕКАРСТВО

По ночам не спится —  
Можно спиться.  
Падает гемоглобин в крови.  
Жмет давленье.  
Ноет поясница.  
Хочется свободы и любви.

Владимир Костров

Мне не спится  
в мокрую погоду,  
Спиться мне  
Никто не запретит.  
Хочется, товарищи,  
Свободы,  
Но мешает мне  
Радикулит.  
Сердце вдруг  
Отчаянно зажало,  
В голову как будто  
Вбили клин...

Полюбил бы я  
Тебя, пожалуй,  
Только на нуле  
Гемоглобин.  
Ох уж эти  
Всякие болезни...  
Да, из нас плохие  
женихи.  
С возрастом  
Бороться бесполезно —  
Доктор прописал  
Писать стихи.

## РАЗМЕЧТАЛСЯ

И полнится мукой сладкою  
Пронзенное сердце. И вновь  
Ночами, от мужа украдкою  
Пишу я стихи про любовь.

Ирина Баринова

Еще мои чувства не умерли,  
И я не беру перекур,  
Опять в эти майские сумерки  
Пронзил мое сердце амур.  
И вновь переполнилось мукой  
Пронзенное сердце. А муж  
Храпит, поросенок, и хрюкает,  
И нервы мне портят к тому ж.  
Он спит, хоть разверзлись галактика,  
На все он готов наплевать...  
Эх, будет ему вместо завтрака  
Интимная эта тетрадь.  
Он встанет. Дыхание ровное.  
Довольный собой ко всему.  
Не знает, что строчки любовные  
Написаны, блин, не ему...

## ПРИРОДОВЕДЕНИЕ

Стоят деревья, думают кусты,  
Шипит трава на змей, ползущих между,  
Вода, скрывая тело пустоты,  
Натягивает влажную одежду.

Виталий Кальпиди

Шипит трава. Задумались кусты,  
А пустота свое скрывает тело.  
Поет песок — слыхать за три версты,  
И змеи дружно выползли на дело.  
Трава шипеть им, правда, не дает.  
В одежде ходит вся вода из речек...  
Ну, в общем, как-то все наоборот,  
Что даже не пикиает кузнецик.  
Скулит отава, движутся леса,  
Печально дышит хрен на огороде.  
Куда ни кинь, повсюду чудеса  
В совсем привычной неживой природе.  
Причин чудес не надо искать:  
Учился плохо в школе я начальной,  
А к той поре, как мне поэтом стать,  
Я спутал флору с фауной случайно.

## КЛАССОВАЯ БОРЬБА

Здесь тихо бекас пролетает,  
Кабан забредает из леса,  
Пчела — золотой пролетарий —  
Несется, лишенная веса.

Игорь Калугин

У нас здесь такие дела:  
Святых выносите и стулья —  
Несется без веса пчела  
К летку буржуазного улья.  
По сути она пролетарий,  
Ей нечего больше терять.  
Кулацкий бекас пролетает,  
Кабан с продразверсткой опять.  
Отрежем крыло у бекаса,  
Кабанчику срубим клыки,  
Полпреду рабочего класса  
На ульях залепим летки.  
И все успокоятся трое  
Без классовой сильной борьбы.  
Упьется общественным строем  
Наш лес на опушке судьбы.

## МОДА

Кому-то день грозит бедою,  
Кому-то светит благодать:  
Мужчинам бегать за едою,  
А кобелям в тепле лежать.

Анатолий Цветков

Жизнь есть судьба. На самом деле,  
Не всем же светит благодать:  
Кому-то нужно спать в постели,  
Кому-то деньги добывать.  
Но эта грань условна что-то,  
Она висит на волоске:  
Мужья уходят на работу,  
А жены маются в тоске.

Ну, в общем, что-то в этом роде,  
И жены моду завели:  
Мужья на промысел уходят —  
В постель ложатся кобели.

## ГАЛЛЮЦИНАЦИЯ

Пьяным глазом глядят на меня  
Из глубинки рабоче-крестьянской:  
Огонек у ворот арестантской,  
Харя борова,  
Морда коня.

Владимир Салимон

Этот боров совсем как свинья:  
Видно, левой налопался водки  
И, подлец, из-за мрачной решетки  
Все глядит и глядит на меня.  
Ах какая противная харя!  
Я от злости утробно мычу,  
Кулаками по двери стучу:  
«Открывайте, пока я в ударе».  
Потащили меня на крыльцо  
И по ребрам постукали ловко.  
Просыпаюсь: конечно, ментовка.  
— Ах, сержант! Ах, какое лицо!..

## СОВСЕМ ПРОПАЩИЙ

Сойти с трамвая наугад  
На остановке незнакомой,  
Где окна редкие горят  
Вдоль затаившегося дома.

Евгений Березин

Меня вчера попутал бес.  
А ты, читатель мой, не смейся:  
Я наугад с трамвая слез  
И удивился: где же рельсы?  
Дом затаился. Вдоль него  
Не то огни, не то медведи...  
Сошел с трамвая — ничего.  
Но все же вроде крыша едет.  
Ни рельсов нет, ни фонарей —  
Как видно, я совсем пропащий.  
Перекрестился поскорей  
И поспешил в лесную чащу.  
И стало мне нехорошо  
От этой глупости и фальши.  
Ну ладно, хоть один сошел, —  
Другие укатили дальше.

## ДЕНЬ АНГЕЛА

А тому и дела нет, наверно,  
В этот день до сизых облаков —  
Пьет, скотина, выражаясь скверно,  
Сходит, одним словом, с каблуков.

Евгений Разумов

В море — паруса и акваланги.  
Никому нет дела до небес, —  
Видно, потому сегодня ангел  
Выглядит паскуднее, чем бес.  
Он нахрался хуже чем скотина,  
Матерится в бога и в дугу.  
Я такую гнусную картину  
Видеть, однозначно, не могу.  
Страшно, если бог его услышит,  
Съехавшего встретит с каблуков.  
Долететь бы ангелу до крыши —  
Ведь сегодня не до облаков...



Павел РУМЯНЦЕВ

## НЕ ПРОВЕДЕШЬ!



ет, мужики! Ну надо же так наколоться! Вы меня знаете: я никогда и никому не верю! Уж чем только ни искушали: и «МММ» проценты бешеные обещал, и «Хопер», и «Селенга» — я — ни-ни! Дудки! Не проведешь! Сейчас вон обманутые вкладчики бегают за денежками, я только посмеиваюсь! А эти... товары-почтой... Едрена мать, такой каталог! Красивый, цветной! И обещают — недорого, и все, что вы видите, будет ваше, и цены-то самые низкие! Ага! Помните, Михалыч перевод послал? Ждал, ждал... Наконец получил бандероль: вместо туфель — тапочки белые... хоть сам в гроб ложись, хоть всей семьей

с родственниками... там этих тапочек... десять штук!.. А лотереи ихние! Уж как завлекают: купите жвачек, в каждой десятой — сюрприз! Поездка на Канарские острова!.. Ага!.. Помните, Валька тысячу штук жвачки напокупал, и верно — сюрприз! Ни хрена, никакой путевки! Зато жвачки досыта наелся!.. А по телевидению как нашего брата дурачат! Какой канал ни включишь, все во что-то играют, и все веселые! И этот суперприз с мужским именем... как его... Джек-Пот... равен долгам всего бывшего Советского Союза... И ничего! И никому в голову не придет спросить — откуда денежки и кто такой этот Джек? Американский шпион?! Или вот игра, где мелодию угадывают...

Да у нас Васильч так на гармошке может сыграть, похлеще ихнего оркестра!.. Помню, я его полчаса слушал, пока догадался, что это «Ландыш». И никто никаких «баксов», равных сегодня одному российскому рублю, ему не предлагает! А они там, в телеке, если что угадают, уж радости, радости! Тыфу!

Нет, я в эти игры не играю! Вы же меня знаете, мужики! Никуда никому ни копейки не отдал! И так попался!

Приходит мне, значит, письмо: так, мол, и так, дорогой товарищ... Имя мое, отчество — все правильно указано... Поздравляем вас — вы единственный житель России, который ни в чем не участвовал и никуда ничего не вкладывал, поэтому мы награждаем вас специальным призом «Не проведешь!» И сумма указана — офиенная, мужики!.. Приятно стало! Все-таки честность у нас в почете! Не за финтифлюшки какие-то выигрыш-то! За стойкость и принципиальность мою!.. Да и деньги не лишние будут... Обрадовался, в общем... Там и чек с печатью... а внизу, мелким шрифтом, приписочка: так, мол, и так, дорогой законопослушный товарищ, чтобы получить означенную сумму, вам по закону сперва надо перечислить налог на неожиданно свалившуюся прибыль. Извините, мол, но закон и порядок прежде всего... Ну кто же с этим спорить будет? А сумма по налогу, вам скажу, немалая, почти все мои сбережения ушли. В общем, отправил я по указанному адресу налог и... жду. Государство наше поругиваю за законы такие дурацкие... Ага! Тут на днях сосед Петрович заходит, посоветоваться, значит, со мной, а в руках у него... точно такое же письмо!

Ну скажите, что за время, в котором мы живем! На чем провели! А я-то!.. Эх, плакали мои денежки!

## ОГРАБЛЕНИЕ

Нас чуть было в городском автобусе не ограбили. Зашли трое в масках с пистолетами и кричат:

— Жизнь или смерть! Доставайте кошельки!

А кондуктор им:

— Сначала проезд оплатите, а потом своими делами занимайтесь!

Бандиты пистолетами водят, дулами в пассажиров тычут.

Ну, мы им спокойно, вежливо отвечаем:

— А чего нас грабить-то! Опоздали, дорогие! Без вас уже родное правительство ограбило! Все, что летом заработали, — тю-тю!

— Деньги на бочку! — не выдержали налетчики.

Мы в покатуху.

— Говорят вам, что ни копейки!

Тут старик подходит.

— А у меня, — говорит, — деньги есть. Я пенсию получил... за май прошлого года. Только я — ветеран труда. Мне положены льготы: 50%!

— Ты, пенсионер! — засмеялись в автобусе. — На ограбление твои льготы не распространяются!

— Почему это? — не унимался старик. — Я сорок лет на вредном производстве вкалывал! 50% — и точка!

Женщина на заднем сиденье разочарованно произнесла:

— И что все грабят и грабят! Нет бы изнасилование было! И вообще, ребята, сняли бы маски. Некультурно так-то разговаривать. Колготки хоть и старые, а дышать вам неудобно.

— Милиции не бойтесь! — поддержала ее подруга. — Если даже им дать ваши фотографии и отпечатки пальцев, они все равно вас искать не будут. Некогда!

Бандиты маски сняли, пот со лба вытирают. Еще бы! Вспотели от напряжения! Симпатичные, между прочим, парни оказались. Чистенькие, бледные, правда.

— Да и пистолеты ваши игрушечные тоже выбросили бы! — сказал пассажир, который находился рядом.

— А как вы догадались? — спросил один парень, вожак, наверное.

— Стали бы вы городской автобус грабить, если бы на настоящее оружие у вас денег хватило!

Парни совсем скисли. Им даже места в переполненном автобусе уступили. Жалеючи грабителей, народ рассуждал сочувственно: «Тоже обездоленные».

— Ну так что? — Кондуктор подошла к ним и грозно потребовала: — Придется, однако, проезд оплатить!

Парни суетливо по карманам шарят, переглядываются.

— Нету, — отвечают, — и у нас денег. Давно нет!

В общем, сбросились мы им на билеты. Как не помочь хорошим людям в трудную минуту.

## РЕФЕРЕНДУМ

Во время депутатского ланча один неловкий депутат случайно подтолкнул двух других депутатов, да так неудачно, что из рук обоих выпали бутерброды. А поскольку это было в России, да к тому же один из них был коммунистом, а другой демократом, то событие сразу приобрело политический оттенок. Бутерброд коммуниста упал икрой вниз, а бутерброд демократа — икрой вверх. Окружающие решили — неспроста!

Коммунист ехидно заметил: «Вот видите, еще марксистско-ленинская философия неопровергимо доказала, что бутерброды всегда падают лицом вниз!»

На что демократ заметил, указывая на свой бутерброд: «Но в наше бурное время перестроились даже бутерброды и падают теперь лицом вверх!»

Между ними разгорелся жаркий и принципиальный спор. Парламент мгновенно разбрался на фракции: одни кричали — «вниз», другие — «вверх».

Конституционный суд предложил компромиссное решение: давайте проведем эксперимент, бросим десяток-другой бутербродов и выведем среднюю арифметическую. Но консенсуса достичь не удалось, так как не нашлось среди депутатов ни одного, кто согласился бы пожертвовать своим бутербродом.

Спор разгорелся с новой силой. Радикалы требовали обратиться к президенту, чтобы издал указ, как надо падать бутербродам.

Оппозиция предложила:

— А давайте спросим народ!

— Да что народ понимает в таком тонком и деликатном деле, как бутерброды с икрой? — вмешался представитель интеллигенции.

Интеллигенцию поддержала бывшая номенклатура:

— Нашему народу ближе картошка в мундире!

— Какого вы низкого мнения о собственном народе! — возмутились либералы.

Спорили долго, но к единому мнению не пришли и решили объявить референдум.

Референдум состоялся, несмотря на мрачные и пессимистические прогнозы социологов.

А вот результаты референдума поразили всех.

Народ ответил, что он предпочитает не американизированные сэндвичи и немецкие бутерброды, а российское национальное блюдо — блинчики с икрой.

Во-первых, вкусно.

Во-вторых, при падении ни одна икринка не выскочит.

И в-третьих, если еще с рюмочкой водки, так и вовсе красота!

Такие вот пирожки!



Владимир РАХМАТОВ

## ПИСЬМО К ЛИТКОНСУЛЬТАНТАМ

Твердо знаю: я — кладезь таланта!  
Пью не меньше, чем гении пьют,  
Но проклятые литконсультанты  
Мне прохода «наверх» не дают.  
Хоть ты им напиши песню Сольвейг,  
Хоть похвастай, что ты — инвалид,  
Все равно консультант Недогольберг  
Подчеркнет, зачеркнет, возвратит.  
Я пишу от души и не наспех  
Про любовь, про природу, про все,  
Но товарищ по кличке Б. Вайсберг  
Снова палку сует в колесо.  
Я сижу над стихами за полночь,  
Но остыл поэтический пыл...  
Будь фамилье мое Рахматович —  
Вот тогда бы я признанным был.  
За столом за своим засыпаю,  
Консультантами сбитый под дых,  
И стихи мои пол усыпают,  
Ну а я уже занял под них.  
Я устал. Я бороться не в силе.  
Айсберг-Вайсберг сильней все равно...  
Среди этих изящных фамилий  
Где же ты, консультант Иванов?

## ПЛАЧ ПО СЕБЕ

Исполняется в подземных переходах  
с рваной шляпой в загипсованной руке

Хоть я в жизни нешибко удачливый —  
Рыбьим мехом подбито пальто,  
Все жалеют обиженных вкладчиков,  
А меня не жалеет никто.  
Позабыл про людскую про ласку я.  
В «ящик» глянешь — там тоже не то...  
Все жалеют «звезду» мексиканскую,  
А меня не жалеет никто.  
За Россию болею я до смерти,  
Ну а радио включишь — и что?  
Все жалеют какую-то Боснию,  
А меня не жалеет никто.

Вот уйду я от вас, выстывающий,  
В царство то, где ни ночи, ни дня,  
Лишь тогда только группа товарищей,  
Может быть, пожалеет меня.

## НОВОГОДНИЙ ТОСТ

Люблю я снегопад,  
под Новый год зачатый.  
Хватает снега всем,  
не то что денег, блин...  
Как будто в небесах  
стоит станок печатный  
и шлепает вовсю  
снежинки, как рубли.  
Люблю я Рождество,  
естественно, Христово —  
ни флагов, ни знамен,  
ни маршей, ни т.п.  
На этом торжестве  
не лыбятся с листовок  
ни лидер ЛДП,  
ни лидер ЛТП.  
И пусть не верю я  
в большие перемены,  
но можно помечтать  
с женою вечерком,

что добрый Дед Мороз  
вдруг заморозит цены,  
а злой Гайдар уйдет  
командовать полком.  
Так выпьем же, друзья,  
за Новый год в России —  
для каждого из нас  
различным будет он:  
икорочкой — одни,  
и корочкой — другие  
закусим, кто коньяк,  
кто чистый самогон.  
... Люблю я снегопад  
пушистый и неколкий —  
лишь на Руси моей  
подобный есть снежок...  
Так выпьем же, друзья,  
кто с кем, кто где, кто сколько,  
хоть за такую жизнь,  
а не «на посошок».

## БЫТЬ ИЛИ НЕ БЫТЬ?

Я у деда научусь плести корзины,  
Научусь их продавать у магазина.  
Научусь я с покупателями ладить —  
Ни рубля не уступать, в глаза им глядя.  
Научусь сажать морковку и редиску,  
Добывать «из-под прилавка» по запискам.  
Научусь, где громким быть, а где — бесшумным.  
Научусь, где дурнем выглядеть, где — умным.  
Но однажды спьяну брякну пред толпою:  
«Господа! Я быть хочу самим собою!»  
И поверьте мне, друзья, гражданки, братцы:  
Этой щутке будут долго все смеяться...

Татьяна ГОЛЯТИНА

## СНЕГОПАД



Еред концом рабочего дня в цех позвонили. «Приходи!» — бросил женский голос, и трубку прорезали короткие гудки. Сердце Семена радостно ухнуло. Он торопливо попыхал отчеты по ящикам стола и метеоритом рванул домой.

Дверцы старенького шифоньера на стремительность хозяина отозвались резким скрипом. Выбор был невелик: костюм, купленный в кредит перед свадьбой, пара парадных рубашек и все тот же, свадебный, галстук. После дешевенькой хэбэшной пары для работы наряд хоть и не дотягивал до карденовского или зайцевского салона, но выглядел неплохо. Семен повертелся перед зеркалом — благо никого дома не было, — еще раз поправил галстук. Нашел дипломат, тоже вполне приличный, если не считать следы от кошачьих лап, слегка попортивших прошлый признак состоятельности. Старательно замазав чернилами белые полоски, Семен брызнул на себя «Шипром» доперестроечных времен, бережно расходуемым в исключительных случаях.

— Ой, Се-е... Семен Иванович, — от неожиданности растерялась соседка, — куда это ты как жених вырядился?!

— Дела, Павловна, дела, — небрежно бросил Семен.

«Поди ты, — думал он, важно шагая по улице, — велико ли дело — костюм поменял, а у Зойки язык не повернулся назвать меня Сенькой, как обычно. Да и сам я ее Павловной развеличался. Одежда да нынешняя должность — как-никак мастера смены замещаю — обязывают».

Этого замещения Семен ежегодно ждал куда больше, чем собственного отпуска. И всякий раз переживал, боясь, что комунибудь другому выпадет такая честь. Костюм он надевал по особо торжественным случаям, большая часть которых приходилась на месяц правления в цехе.

В философских размышлениях Семен прошагал до заводской конторы. Выстоял очередь в кассу. Выйдя из бухгалтерии, он, как витязь на распутье, постоял минуту-другую в раздумье, а потом поспешил до ближайшего магазина. «Толковый мужик!» — помянул он добрым словом автора дипломата. Что это был мужик, не вызывало сомнений у Семена, уж больно ладно вписывались бутылки в бархатистое нутро чемоданчика.

— Ей, бабоньки, кричите «ура!» — раскатился басом Семен, открыв двери цеха.

— Опомнился! — встретила его старенькая уборщица. — Смена-то час назад кончилась.

— Так я... это... в кассе простоял, — растерялся Семен, и, разозлившись, добавил: — Угоди на этих баб! Донимали с зарплатой, хуже чем американцы Клинтона Моникой, а сами разбежались по домам.

— Ты, Иваныч, предупредил бы, что за деньгами идешь, — подобрела мигом уборщица, — сам знаешь, сколько их, родимых, в руках не держали. Дождались бы хошь до ноченьки, а то виши какой суприз вышел...

Те, до кого удалось дозвониться, не откладывая, вернулись. Часть денег Семен выдал, но в дипломате сумма была еще внушительная. Оставлять ее в цехе он не решился. Выпили на пару с наладчиком бутылку и разошлись по домам.

Семен никогда особо не тяготел к спиртному. И о тайном пристрастии тещи узнал не сразу. Она с упорством археолога на раскопках находила праздники, отмечать которые, как и банные дни, считала святым делом. Незаметно это увлечение стало семейным. Но до тещиной выносливости зятю было далеко. Она с безошибочностью пограничной овчарки отыскивала все заначки спиртного не только дома, но и в сарае, поленнице дров. А карманы опустошала с виртуозностью фокусника, на вопрос о деньгах била себя в грудь: «Слыхом не слыхала, грех клеветать на старуху!»

В общем, хоть и отметил Семен счастливый день, но ясно осознавал, что нести в дом чужие деньги небезопасно. Долго выбирал он надежное место...

\* \* \*

Утром, впервые за последнее время, работницы цеха улыбались: зарплата 31 декабря куда как кстати. Уважительно поглядывали на Семена, выбившего у начальства финансы.

— Какие деньги?! — удивился он. — Я вчера вам все выдал.

Сначала женщины шутили, предполагая новогодний розыгрыш, но атмосфера быстро накалялась.

Зная свой похмельный синдром в виде амнезии, Семен бросился домой, схватил тещу за ворот: «Отдай, стерва, дипломат! Хуже будет!» Скандал не помог. Бледный зять осел на пол среди разбросанных вещей, а женщины робко уговаривали его: «Сень, подумай хорошенъко... Вспомни, куда обычно заначки прячешь...»

— От тебя, курвы, спрячешь... Из-под земли выроешь, коли выпить захочешь, — огрызался он.

Втроем облизали все уголки дома, включая подвал и чердак. В сарае и поленнице пропажи тоже не нашлось. Семена била нервная дрожь...

— Чертов снег, — ругнулась не на шутку струсившая теща. Она, по мнению зятя, была единственной виновницей приключившейся беды. — Эк сколько за ночь навалило, так бы хоть по следам посмотрели...

— Снег! — радостно воскликнул Семен. — Точно, я его в снег от тебя закопал!

— Вы что, с ума посходили?! — возмутилась у калитки горластая делегация цеха, обеспокоенная долгим отсутствием своего временного начальника. — Люди денег ждут не дождутся, а вы вилами снег перепахиваете.

Узнав истинную причину трудового энтузиазма семейства, ходоки не удержались от смеха. Хотели помочь, но не отошедший от стресса Семен двинулся на них с огородным трезубцем.

Четыре белоснежные сотки семья переворошила почти полностью, пока отыскала пропажу. Перед концом смены мокрый и уставший Семен плюхнул злосчастный дипломат на стол в цехе, кивнув работницам: «Разбирайте сами!»

г.Нея



*Владимир МАКСИМОВ*

## **ЖЕНЫ**

Женщины уходят от мужей  
На свою, на бабью, вечеринку,  
Распивают с горя четвертинку,  
Добавляют красненького к ней.  
И ругают питухов они,  
Говорят, что муж такой не нужен...  
Серые, нерадостные дни:  
Не приходится гордиться мужем.  
На гулянке плачут дотемна,  
Мол, не избежать в семье погрому,  
И вдруг вспомнят: мужняя жена,  
Надо поспешать к родному дому.  
На полу мужик в своем дому,  
А жена-то:  
— Отлежал, чай, спину,  
Дай-ка валенки с тебя сниму,  
И ложись, болезный, на перину.



Аркадий ПРЖИАЛКОВСКИЙ

## САМОЗАБЛУЖДЕНИЕ

С самим собой знакомлюсь —  
незнакомым.

Мне интересно встретиться с собой.

Владимир Максимов

Вся жизнь моя пошла каким-то комом,  
короче, получился странный сбой.  
Я в гости не хожу теперь к знакомым —  
мне интересно встретиться с собой.  
Я сам в себе души теперь не чаю —  
интеллигентен, благостен и тих.  
И сам себя я приглашаю к чаю —  
его не пьют, по счастью, на троих...  
А вот недавно,  
на проспекте Мира...  
(Нет, это надо же! Случай-то какой!)  
Смотрю, что я — иду! Но только мимо!  
И даже не здороваюсь с собой.  
Конечно, тут я побледнел, как стенка,  
прошиб меня вполне здоровый пот.  
Смотрю, как будто Женя Евтушенко,  
а может, сам Рождественский идет!  
Осанка поэтическая вроде...  
Догнал, не пожалев своих штиблет.  
С опаской сам себя спросил:  
— Володя?  
И сам себе сказал, конфузясь:  
— Нет.



## ВЕСЕЛЬЕ — НЕ БЕЗДЕЛЬЕ

Хорошо рядом присесть —  
Мило, симпатично,  
А когда и выпить есть,  
То совсем отлично!

На Руси обычай прост —  
Наливай по «малой»!..  
Ну а если нужен тост,  
Я скажу, пожалуй.

Ведь судьбу свою верша,  
Нам всего-то нужно,  
Чтобы тело и душа  
Жили тоже дружно.

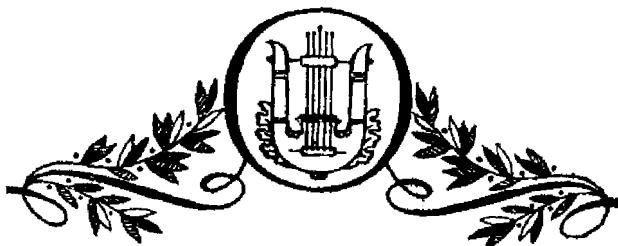
Значит, взять бы  
ключ в судьбе  
В собственные руки,  
Не позволивши себе  
Ни нытья, ни скуки.

Жить, таращиться, мечтать,  
Чтоб девизом было:  
Не страдать, а утверждать  
Собственное «рыло»!

Чтобы ближнему еще  
Не чинить подвоха:  
Делать только хорошо  
И не делать плохо!

Чтобы жизнь текла  
по дням  
Не пустопорожно!..  
Вот за это выпить нам  
Очень даже можно.

Так возьмем по «небольшой»  
И почнем со вздоха...  
Пусть нам будет хорошо  
И не будет плохо!



# **ДО НОВЫХ ВСТРЕЧ**

## **ИЗДАНИЯ 1998 ГОДА**

Альманах «КОСТРОМА», второй выпуск  
Антология костромской поэзии

### **КНИГИ ЧЛЕНОВ СОЮЗА ПИСАТЕЛЕЙ РОССИИ**

*Михаил Базанков «Самое дорогое», авторское издание  
Олег Каликин «Стук в окно», авторское издание (г.Галич)  
Олег Каликин «Альпрахтына», авторское издание (г.Галич)  
Владимир Корнилов «Идеалист»  
Виталий Пашин «Прощание с детством», авторское издание  
Павел Румянцев «Разговор по душам»  
Вячеслав Смирнов «Сонеты»  
Владимир Старателев «Родственная душа»*

### **ПОДГОТОВЛЕНЫ К ВЫПУСКУ В 1999 ГОДУ**

*Алексей Акишин «На цветущем лугу»  
Борис Бочкарев «За горизонтом — истина»  
Юрий Семенов «Окаянная любовь»  
Владимир Старателев «Танцы в клубе»  
Вячеслав Шапошников «День незабытый»  
Альманах «КОСТРОМА», третий выпуск*

### **КНИГИ ДРУГИХ АВТОРОВ, ВЫШЕДШИЕ В 1998 ГОДУ**

*Анна Антонова «Я деревенская сердцем» (г.Макарьев)  
Юрий Балакин «Избранное», авторское издание (г.Галич)  
Юрий Бекишев «Сны золотые»  
Борис Есипов «Сердечные струны», авторское издание (г.Галич)  
Алексей Зябликов «Искусство полета», «ЛК»  
Юрий Осетров «Волжские просторы»  
Евстолия Прокофьева «Колыбель моя», авторское издание (г.Галич)  
Владимир Рахматов «Полный отпад»  
Валерий Секованов «Кухта», авторское издание  
Александр Хлябинов «Колодец» (г.Мантурово)*

Коллективный сборник «Это наша с тобой сторона» (г.Буй)  
Коллективный сборник «За грустью радость находить» (г.Нея)  
Коллективный сборник «Откровение» (п.Парfenьево)





## СОДЕРЖАНИЕ

Михаил БАЗАНКОВ. Тайна простого звучания. ....	5
Н.Г.ЗИМИНА. Приветственный адрес .....	16
ПРИМЕТЫ. Романс на стихи А.С.Пушкина .....	17
Александр ПУШКИН. Стихи .....	18

### ПРОЗА

Виталий ПАШИН. Памятник .....	20
Константин АБАТУРОВ. После столбушки .....	24
Алексей АКИШИН. Именные часы .....	31
Борис ГУСЕВ. Гармонь русского строя .....	36
Михаил БАЗАНКОВ. Прощальная улыбка .....	41
Олег КАЛИКИН. Альпрахтына .....	56
Владимир КОРНИЛОВ. Две Анюты .....	66
Ольга ГУССАКОВСКАЯ. Сломанная роза .....	73
Василий ТРАВКИН. Строптивый тракторист .....	78
Александр ХЛЯБИНОВ. Свадебные дни .....	83
Олег ХОМЯКОВ. Одноклассники .....	87

### О ДЕТЯХ И ДЛЯ ДЕТЕЙ

Евстolia ПРОКОФЬЕВА. Рассказы .....	92
Борис БОЧКАРЕВ. Сказки .....	95
Фаина СОЛОМАТОВА. «А я не сержусь...» .....	100
Владимир СТАРАТЕЛЕВ. Ничья, равная победе .....	105

### ПОЭЗИЯ

Вячеслав ШАПОШНИКОВ .....	112
Виктор ЛАПШИН .....	117
Леонид ПОПОВ .....	120
Сергей ПОТЕХИН .....	124
Елена БАЛАШОВА .....	126
Евгений РАЗУМОВ .....	130
Нина СНЕГОВА .....	132
Анатолий БЕЛЯЕВ .....	135
Станислав МИХАЙЛОВ .....	138
Владимир МАКСИМОВ .....	142
Юрий БЕКИШЕВ .....	145
Ольга КОЛОВА .....	148

Борис ДРОЗДОВ .....	151
Татьяна ДМИТРИЕВА .....	154
Светлана ВИНОГРАДОВА .....	156
Алексей ЗЯБЛИКОВ .....	159
Аркадий ПРЖИАЛКОВСКИЙ .....	161

## СТАТЬИ, ОБЗОРЫ, РЕЦЕНЗИИ

Николай СКАТОВ. «Пал, оклеветанный моловой...» .....	163
Юрий ЛЕБЕДЕВ. Художественный мир Пушкина .....	169
Борис НЕГОРЮХИН. <i>Очерки</i> .....	177
В.Н.ФУРНЭ. Памятник А.С.Пушкину в Шарье .....	182
Евгений СТЕПАНЕНКО. «Я счастливо рос в Костроме...» ...	185
Юрий ОСЕТРОВ. Фарфоровая кружка .....	188
К. ПАВЛОВ. Книга ответов .....	189
Павел КОРНИЛОВ. <i>Рецензии</i> .....	191
Роман СЕМЕНОВ. Быт — это все или почти все? .....	196
Джуди ХОГАН. Творческие встречи .....	199

## ДЕБЮТЫ В АЛЬМАНАХЕ

Александр ЗАЙЦЕВ .....	201
Сергей БЕЛЫЙ .....	206
Дмитрий ТИШИНКОВ .....	210
Юрий РАЗГУЛЯЕВ .....	212
Татьяна РАСУЛОВА .....	216
Инна ШАТРОВА .....	217
Анна АНТОНОВА .....	218
Наталья МУСИНОВА .....	221
Владимир ИВАНОВ .....	222
Вячеслав ДРОБЫШЕВ .....	224
Татьяна ГОЛЯТИНА .....	226

## САТИРА И ЮМОР

Вячеслав СМИРНОВ. <i>Пародии</i> .....	227
Юрий СЕМЕНОВ. <i>Пародии</i> .....	230
Павел РУМЯНЦЕВ. <i>Рассказы</i> .....	234
Владимир РАХМАТОВ. <i>Стихи</i> .....	238
Татьяна ГОЛЯТИНА. Снегопад .....	240
Владимир МАКСИМОВ. Жены .....	242
Аркадий ПРЖИАЛКОВСКИЙ. Самозаблуждение .....	243
Юрий ОРЛОВ. Веселье — не безделье .....	244

## ДО НОВЫХ ВСТРЕЧ

Издания 1998-1999 гг. ....	245
----------------------------	-----

# **К О С Т Р О М А**

## **Литературно-художественный сборник**

Издания Костромской писательской организации осуществляются в связи с принятой региональной программой изучения русской литературы.

За справками обращаться по адресу:

156005, г.Кострома, пл. Конституции, 1.

Костромская писательская организация.

Телефоны: 57-21-91, 57-35-02.

Общее и художественное

редактирование — **М.Ф.Базанков**

Редакторы — **Е.А.Разумов, М.Ф.Базанков**

Художник — **А.А.Марiev**

Техническое редактирование, компьютерный

набор и оригинал-макет — **А.М.Базанков**

Корректура — **Е.А.Разумов, Н.Т.Перетягина**

*Некоторые произведения напечатаны в авторской редакции.*

Издание осуществлено при участии  
Костромской областной администрации.

Сдано в набор 10.12.98. Подписано в печать 6.03.99.

Формат 84x108/32. Бумага офсетная. Печать офсетная.

Уч.-изд.л. 18,4. Усл. п. листов 15,5. Заказ № 967.

Тираж 1000 экз.

Отпечатано в областной типографии им. М.Горького  
управления по делам печати и массовой информации  
администрации Костромской области,  
г. Кострома, ул.П.Щербины,2.